Великие биографии

Мой муж — Сергей Есенин

Айседора гладит поэта по льняным кудрям и нежно говорит одно из немногих знакомых ей русских слов: «Ангель». Потом, заглянув ему в глаза, добавляет: «Чиорт!»

Айседора Дункан

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Страстный, яркий и короткий брак американской танцовщицы Айседоры Дункан и русского поэта Сергея Есенина до сих пор вызывает немало вопросов. Почему двух таких разных людей тянуло друг другу? Как эта роковая любовь повлияла на творчество великого поэта и на его трагическую смерть?

Предлагаем читателю заглянуть ввоспоминания, написанные одной из самых смелых и талантливых женщин прошлого века, великой танцовщицы - основательницы свободного танца, женщины, счастье от которой, чуть появившись, тут же ускользало.

- Айседора Дункан
  - От автора
  - Моя жизнь
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27

        - 28
        - 29
        - 30
        - 31
    - Есенин и Дункан
    - Литература
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11

Айседора Дункан
Мой муж Сергей Есенин

От автора

Сознаюсь, меня охватил ужас, когда мне впервые предложили написать книгу.

Я пришла в ужас не потому, что жизнь моя менее интересна, чем любой роман, или в ней меньше приключений, чем в фильме, не потому, что моя книга, даже хорошо написанная, не явилась бы сенсацией эпохи, но просто потому, что предстояло ее написать!

Мне понадобились годы исканий, борьбы и тяжелого труда, чтобы научиться сделать один только жест, и я достаточно знаю искусство письма, чтобы понять, что мне потребуется столько же лет сосредоточенных усилий для создания одной простой, но красивой фразы. Сколько раз мне приходилось повторять, что можно проложить себе дорогу к экватору, проявить чудеса храбрости в схватках со львами и тиграми, пытаться написать об этом книгу и потерпеть неудачу и в тоже время можно, не покидая веранды, написать книгу об охоте на тигров в джунглях так увлекательно, что читатели поверят в правдивость автора, будут вместе с ним переживать его страдания и тревоги, чувствовать запах хищников и ощущать страх приближения гремучей змеи. Казалось, будто все существует только в воображении и что удивительные события, случившиеся со мной, потеряют свою остроту только потому, что я не обладаю пером Сервантеса или даже Казановы.

Далее. Как можем мы написать правду о самом себе? Да и знаем ли мы ее? Существует множество представлений о нас: наше собственное, мнение наших друзей, любовника и, наконец, врагов. У меня есть основательные причины это знать: вместе с кофе мне подавали по утрам газетные рецензии, из которых я узнавала, что я красива, как богиня, и гениальна; еще не перестав радостно улыбаться, я брала другой лист и узнавала, что я бесталанна, плохо сложена и настоящая ехидна.

Я скоро перестала читать критику своей работы. Я не могла требовать, чтобы мне доставляли только хорошие отзывы, а дурные слишком расстраивали и пробуждали скверные инстинкты. В Берлине один критик осыпал меня оскорблениями, утверждая, между прочим, что я совершенно немузыкальна. Я написала ему, умоляя посетить меня и выражая безусловную уверенность, что мне удастся убедить его в противном. Он пришел, и я, сидя по другую сторону стола, полтора часа толковала ему о своих теориях зрительного движения, созданного музыкой. Я заметила, что господин этот очень солиден и

прозаичен, но каково было мое удивление, когда он вытащил из кармана слуховую трубку и сообщил мне, что совершенно глух и даже через рожок почти не слышит оркестра, хотя и сидит в первом ряду кресел! Вот каким оказался человек, взгляды которого мучили меня в течение нескольких ночей…

Как же описать себя в книге, если посторонние с разных точек зрения видят в нас различных людей? Описать ли себя в виде целомудренной Мадонны, Мессалины, Магдалины или Синего Чулка? Где мне найти образ женщины, пережившей все мои приключения?

Женщина или мужчина, которые напишут правду о своей жизни, создадут величайшее произведение. Но истину о своей жизни никто не осмеливается написать. Жан-Жак Руссо принес человечеству эту величайшую жертву и сдернул завесу с тайников своей души, со своих самых сокровенных дум и мыслей, в результате чего и родилась великая книга. Уотт Уитман открыл правду Америке. Его книга была одно время запрещена как «безнравственная». Выражение это кажется нам теперь нелепым. Ни одна женщина никогда не сказала полной правды о своей жизни. Автобиографии знаменитых женщин являются чисто внешним отчетом, полным мелких деталей и анекдотов, которые не дают никакого понятия об истинной жизни. Они странно замалчивают великие минуты радости или страдания.

Мое искусство — попытка выразить в жесте и движении правду о моем Существе. На глазах у публики, толпившейся на моих спектаклях, я не смущалась. Я открывала ей самые сокровенные движения души. С самого начала жизни я танцевала. Ребенком я выражала в танце порывистую радость роста, подростком — радость, переходящую в страх при первом ощущении подводных течений, страх безжалостной жестокости и уничтожающего поступательного хода жизни.

В возрасте шестнадцати лет мне случилось танцевать перед публикой без музыки. В конце танца кто-то из зрителей крикнул: «Это — Девушка и Смерть!» — и с тех пор танец стал называться «Девушка и Смерть». Но я не это хотела изобразить, я только пыталась выразить пробуждающееся сознание того, что под каждым радостным явлением лежит трагическая подкладка. Танец этот, как я его понимала, должен был называться «Девушка и Жизнь». Позже я начала изображать свою борьбу с Жизнью, которую публика называла Смертью, и мои попытки вырвать у нее призрачные радости.

Что может быть дальше от действительной жизненной личности, чем герой или героиня заурядной кинематографической пьесы или романа? Обычно наделенные

всеми качествами, они не были бы способны совершить дурного поступка. Он наделяется благородством, храбростью, смелостью и т. д., и т. д. Она — непорочностью, добротой и т. д. Все худшие свойства и грехи созданы для злодея и «дурной женщины», в то время как в действительности, как нам известно, не бывает ни плохих, ни хороших людей. Не все преступают десять заповедей, но способны на это безусловно все. Внутри нас скрывается нарушитель законов, готовый проявиться при первом удобном случае. Добродетельные люди только те, кто не имел достаточно соблазнов, потому что живут растительной жизнью, или те, кто до такой степени устремляет свои помыслы в одном направлении, что не имеют времени взглянуть вокруг себя.

Я однажды смотрела удивительную фильму, названную «Рельсы», созданную на тему о том, что жизнь человеческих существ подобна паровозу, идущему по определенному пути. Если паровоз сходит с рельс или встречает непреодолимое препятствие, происходит катастрофа. Счастлив тот машинист, который, увидя перед собой крутой спуск, не чувствует дьявольского желания пренебречь тормозами и ринуться к гибели.

Меня иногда спрашивали, считаю ли я любовь выше искусства, и я отвечала, что не могу их разделять, так как художник — единственный настоящий любовник, у него одного чистый взгляд на красоту, а любовь — это взгляд души, когда ей дана возможность смотреть на бессмертную красоту.

Одной из самых замечательных личностей нашего времени является, может быть, Габриэль д`Аннунцио, хотя он невысок ростом и может быть назван красивым только тогда, когда его лицо освещается внутренним огнем. Но, обращаясь к той, кого любит, он становится настоящим Фебом-Аполлоном и добивается любви самых великих и прекрасных женщин наших дней. Когда д`Аннунцио любит женщину, он поднимает ее дух до божественных высот, где витает Беатриче. Он превращает каждую женщину в часть божественной сущности и уносит ее ввысь, пока она не проникается верой, что находится с Беатриче, о которой Данте спел свои бессмертные строфы. В Париже было время, когда культ д`Аннунцио достиг такой высоты, что он был любим самыми знаменитыми красавицами. Он облекал тогда каждую избранницу по очереди в блестящее покрывало. Она поднималась над головами простых смертных и шествовала, окруженная чудным сиянием. Но каприз поэта проходил, покрывало спадало, сияние меркло, и женщина снова превращалась в обыкновенное существо. Не отдавая себе отчета в том, что, собственно, случилось, она лишь сознавала, что внезапно вернулась на землю

и, оглядываясь на свой образ, перевоплощенный любовью д`Аннунцио, начинала понимать, что никогда в жизни не найдет больше гения любви. Оплакивая свою судьбу, она приходила все в большее и большее отчаяние, пока люди, глядя на нее, не начинали говорить: «Как мог д`Аннунцио любить такую заурядную заплаканную женщину?» Габриэль д`Аннунцио был таким великим любовником, что мог на мгновение придать облик небесного существа самой обыкновенной смертной.

Только одна женщина в жизни поэта могла выдержать такое испытание. Она сама была перевоплощением божественной Беатриче, и д`Аннунцио не надо было набрасывать на нее покрывала. Я всегда считала, что Элеонора Дузе — истинное перевоплощение дантовской Беатриче, и поэтому, преклоняясь перед ней, д`Аннунцио мог только пасть на колени. Во всех других женщинах он находил то, что давал сам; одна Элеонора парила над ним, вселяя в него божественное вдохновение…

Как мало знают люди о силе тонкой лести! Волшебная похвала д`Аннунцио, по-моему, то же для современной женщины, чем был для Евы голос змея в раю. Д`Аннунцио может каждую женщину заставить чувствовать себя центром Вселенной. Мне вспоминается одна замечательная прогулка с ним в Форэ. Мы остановились и замолчали. Вдруг д`Аннунцио вскричал: «О, Айседора, с одною вами можно вступать в общение с Природой! Рядом с другими женщинами Природа исчезает, вы одна становитесь частью Ее. — (Какая женщина могла бы устоять перед такой оценкой?) — Вы составляете часть зелени и неба, вы — верховная богиня Природы.» В этом заключался гений д`Аннунцио: он убеждал каждую женщину, что она богиня того или иного мира.

Лежа здесь, на кровати в «Негреско», я пытаюсь определить то, что называется памятью. Я чувствую, как печет южное солнце. Я слышу голоса детей, играющих в соседнем парке, я ощущаю теплоту собственного тела. Я гляжу на свои обнаженные ноги и вытягиваю их, на нежную грудь, на руки, которые никогда не бывают спокойны, а мягко и волнообразно движутся, и вдруг сознаю, что уже двенадцать лет я утомлена, в груди таится непрекращающаяся боль, на руках лежит печать грусти, и когда я одна, глаза редко бывают сухи. Слезы льются уже двенадцать лет, с того дня, когда меня, спящую на другом ложе, разбудил громкий крик. Я обернулась и увидела Л., который казался тяжело раненным: «Дети убиты.»

Помню, меня охватило странное болезненное состояние; в горле жгло, будто я проглотила раскаленный уголь. Я не могла понять; я нежно заговорила с ним, пыталась успокоить, сказала,

что это не может быть правдой. Затем вошли другие, но я не могла воспринять происшедшего. Появился человек с темной бородой, доктор, как мне сказали. «Это неправда, — сказал он, — я их спасу».

Я ему поверила, хотела пойти вместе с ним, но меня удержали. Впоследствии я узнала, что меня не пускали, так как не хотели, чтобы я знала, что надежды нет. Боялись, что удар лишит меня рассудка, но в то время я была в странно приподнятом состоянии. Все вокруг меня плакали, но мои глаза были сухи, и я испытывала огромное желание утешать других. Обращаясь к прошлому, мне трудно понять свое необыкновенное настроение. Была ли я действительно в состоянии ясновидения, сознавая, что смерти не существует, и что эти две маленькие холодные восковые фигурки — не мои дети, а только их сброшенные покровы? Что души моих детей живут в сиянии и будут вечно жить? Только два раза раздается крик матери, который она слышит будто со стороны: при рождении и при смерти ребенка. Когда я почувствовала в своих руках эти холодные ручки, которые никогда больше не пожмут моих, я услышала мой крик — тот же крик, который я слышала, при родах. Почему тот же — один раз крик высшей Радости, другой — Печали? Не знаю почему, но знаю, что тот же. Может быть, во всей Вселенной существует всего один Вопль, Вопль Печали, Радости, Упоения, Страдания, Вопль Космоса?

Моя жизнь

1

Характер ребенка определяется уже в утробе матери. Перед моим рождением моя мать, находясь в очень трагическом положении, испытывала сильнейшие душевные потрясения. Она не могла питаться ничем, кроме замороженных устриц и ледяного шампанского. На вопрос о том, когда я начала танцевать, я отвечаю: «Во чреве матери, вероятно, под влиянием пищи Афродиты — устриц и шампанского».

В то время моя мать переживала столько трагического, что часто говорила: «Ребенок, который родится, не может быть нормальным» — и ожидала рождения чудовища. И действительно, оказывается, что едва появившись на свет, я с таким бешенством начала двигать руками и ногами, что мать воскликнула: «Видите, я была совершенно права, ребенок безумен!» Но позже, когда меня ставили в детской распашонке на середину стола, я танцевала под всякую мелодию, которую мне играли, и служила забавой всей семье и друзьям.

Моим первым воспоминанием является пожар. Я помню, как меня выбросили из окна верхнего этажа на руки полицейскому. Мне должно было быть около двух или трех лет, но среди волнения, криков и пламени я ясно помню чувство успокоения и безопасности, охватившее меня, когда я обвила маленькими ручками шею полицейского. Он, вероятно, был ирландец. Я слышу отчаянные крики матери: «Мои мальчики, мои мальчики!» — и вижу, как толпа не позволяет ей броситься в горящее здание, в котором, как она думала, остались мои два брата. Затем вспоминаю двух мальчиков, сидящих на полу бара и надевающих чулки и башмаки, вспоминаю внутренность экипажа, вспоминаю себя сидящей на прилавке и пьющей горячий шоколад.

Я родилась у моря и заметила, что все выдающиеся события моей жизни происходили поблизости от него. Мои первые мысли о движениях и танце были безусловно навеяны ритмом волн. Я родилась под знаком Афродиты, вышедшей из морской пены; события всегда мне благоприятствуют, когда ее звезда восходит. В эти периоды жизнь моя течет легко, и я могу творить. Я заметила тоже, что исчезновение этой звезды обычно влечет за собой ряд несчастий. В наши дни астрология не имеет, может быть, того значения, которое имела во времена древних египтян и халдеев, но нет сомнения, что наша психическая жизнь находится под влиянием планет. Если бы родители это лучше сознавали, они бы изучали звезды, чтобы производить более красивых детей.

Кроме того я считаю, что жизнь ребенка складывается

различно в зависимости от того, родился ли он у моря или в горах. Море всегда манило меня к себе, тогда как в горах у меня появляется смутное чувство стеснения и желание бежать. Там я всегда испытываю ощущение, что я пленница земли. Глядя на их вершины, я не восхищаюсь, как остальные туристы, а только стремлюсь перелететь через них и освободиться. Моя жизнь и мое искусство рождены морем.

Я должна быть признательна матери за то, что она была бедна, когда мы были молоды. Она не была в состоянии нанимать прислуг и гувернанток, и этому обстоятельству я обязана непосредственностью в жизни, непосредственностью, которую я выражала еще ребенком и не утеряла никогда. Мать моя была музыкантша и преподавала музыку ради куска хлеба. Она целыми днями не бывала дома и иногда отсутствовала по вечерам, так как давала уроки на дому у учеников. Я бывала свободна, когда покидала школу, представлявшуюся мне тюрьмой. Я могла одна бродить у моря и отдаваться собственным фантазиям. Как мне жаль детей, которых я вижу постоянно в сопровождении нянек и бонн, постоянно опекаемых и нарядно одетых. Какие возможности представляются им в жизни? Мать была слишком занята, чтобы думать об опасностях, которым могли подвергаться дети. Вот почему оба мои брата и я могли свободно отдаваться своим бродяжническим наклонностям, завлекавшим нас иногда в приключения, которые привели бы мать в сильное беспокойство, если бы она о них узнала. К счастью, она оставалась в блаженном неведении. Я говорю, к счастью для меня, так как именно этой дикой и ничем не стесняемой жизнью моего детства я обязана вдохновению танца, который создала и который был лишь выражением свободы. Я никогда не слышала постоянного «нельзя», которое, как мне кажется, делает жизнь детей сплошным несчастьем.

Я очень рано стала ходить в школу, с пяти лет. Я думаю, что моя мать не совсем точно сообщила мой возраст. Необходимо было найти место, где бы меня оставлять. Я считаю, что в раннем детстве уже ясно определяется, что человеку суждено делать в последующей жизни. Уже тогда я была танцовщицей и революционеркой. Мать моя, крещенная и воспитанная в ирландской католической семье, была ревностной католичкой до тех пор, пока не убедилась, что отец вовсе не тот образец совершенства, каким он ей всегда представлялся. Она развелась и покинула его, уйдя с четырьмя детьми навстречу миру. С этого момента ее вера в католическую церковь резко повернула в сторону определенного атеизма.

Мать, между прочим, решила, что всякая сентиментальность

— бессмыслица, и раскрыла нам тайну Санта-Клаус, еще когда я была совсем крошкой. Результат был тот, что, когда учительница раздавала пирожные и конфеты на школьном рождественском празднике, говоря: «Смотрите, дети, что вам принес Санта-Клаус», я встала и торжественно заявила: «Я вам не верю, никакого Санта-Клауса не существует». Учительница очень взволновалась. «Конфеты только для девочек, которые верят в Санту», — сказала она. «Тогда мне не нужны ваши конфеты», — ответила я. Учительница неосторожно вспылила и велела мне выйти вперед и сесть на пол в назидание другим. «Я не верю обману! — крикнула я. — Мать мне сказала, что слишком бедна, чтобы быть Сантой; только богатые матери могут изображать Санта-Клауса и делать подарки».

Тут учительница схватила меня и пыталась усадить на пол, но я напрягла ноги и уцепилась за нее; таким образом, ей только удалось поколотить моими каблуками по паркету. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол, но и стоя там, я обернулась и продолжала кричать: «Санты нет!.. Санта-Клауса нет!», пока в конце концов она не была вынуждена отправить меня домой. Всю дорогу я кричала: «Санты нет!» У меня никогда не изгладилось из памяти чувство несправедливости от того, что со мной так поступили, лишив конфет и наказав за сказанную правду. Когда я рассказала это матери, говоря: «Ведь я была права? Санты не существует?», она ответила: «Санта-Клауса нет, и Бога тоже, только собственный дух может тебе помочь».

Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, совершенно бесполезно. Я вспоминаю, что в школе меня считали или самой сообразительной и первой ученицей, или безнадежно глупой и последней в классе. Все зависело от ухищрений памяти и от того, брала ли я на себя труд запомнить заданное на уроке. В действительности же я не имела понятия, о чем идет речь. Классные занятия, независимо от того, была ли я первой или последней, были для меня утомительными часами, в продолжение которых я следила за часовой стрелкой, пока она не доходила до трех и мы не становились свободными. Настоящее образование я получала по вечерам, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта или Шопена и читала вслух Шекспира, Шелли, Китса и Бернса. Эти часы были полны очарования. Большую часть стихов мать читала наизусть, и я, подражая ей, привела в восторг своих слушателей, прочитав на школьном празднике в возрасте шести лет «Призыв Антония к Клеопатре» Уильяма Литля.

В другой раз, когда учительница потребовала, чтобы каждый ученик написал историю своей жизни, мой рассказ имел

приблизительно такой вид: «Когда мне было пять лет, у нас был домик на 23-й улице. Мы не могли там оставаться, так как не заплатили за квартиру, и переехали на 17-ю улицу. У нас было мало денег, и вскоре хозяин запротестовал, поэтому мы переехали на 22-ю улицу, где нам не позволили мирно жить, и мы переехали на 10-ю улицу». Рассказ продолжался в том же духе с бесконечным количеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она подумала, что это злая шутка с моей стороны, и послала меня к начальнице, которая вызвала мою мать. Когда бедная мать прочла сочинение, она расплакалась и поклялась, что в нем одна лишь правда. Таково было наше кочевое существование.

Я не могу припомнить, чтобы я страдала от бедности у нас дома, где все принималось как должное; я страдала только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественных школ, какой она мне припоминается, была так же унизительна, как исправительное заведение. Я всегда возмущалась ею.

Когда мне было около шести лет, мать, вернувшись как-то домой, увидела, что я собрала с десяток соседских малюток, еще не умевших ходить, и, усадив их перед собой на пол, учила двигать руками. Когда она попросила объяснений, я ей объявила, что это моя школа танцев. Это ее позабавило, и, усевшись за рояль, она стала мне играть. Моя школа продолжала существовать и сделалась очень популярной. Немного спустя окрестные девочки начали приходить ко мне, и их родители стали платить небольшую сумму за учение. Так было положено начало тому занятию, которое впоследствии оказалось очень выгодным.

Когда мне исполнилось десять лет, класс сильно увеличился и я заявила матери, что дальше ходить в школу бесполезно. Это пустая трата времени, раз я могу зарабатывать деньги, что я считала значительно более важным. Я подняла волосы и стала причесываться наверх, говоря, что мне шестнадцать лет. Все мне поверили, так как я была очень большого роста для своих лет. Сестра Элизабет, которая воспитывалась у бабушки, позже поселилась с нами и тоже стала преподавать в этих классах. Наша школа была в большом ходу, и мы давали уроки в самых богатых домах Сан-Франциско.

2

Я никогда не видела отца, так как мать с ним развелась, когда я была еще грудным ребенком. Однажды, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-либо отец, она мне ответила: «Твой отец был чертом, погубившим жизнь твоей матери». С тех пор я стала себе рисовать отца в виде черта с рогами и хвостом, точно из книги с картинками, и всегда молчала, если дети в школе говорили об отцах.

Когда мне было семь лет и мы жили в двух пустых комнатах на третьем этаже, я как-то услышала звонок у парадной двери и, выйдя в переднюю, чтобы открыть, увидела очень красивого господина в цилиндре. Он спросил:

— Не можете ли вы мне указать квартиру г-жи Дункан?

— Я дочь г-жи Дункан, — сказала я в ответ.

— Неужели это моя принцесса Мопсик? — спросил незнакомец. (Так он называл меня, когда я была еще крошкой.)

И он внезапно обнял меня и стал покрывать поцелуями и слезами. Я была поражена таким поведением и спросила его, кто он такой? Со слезами на глазах он мне ответил: «Я твой отец».

Я пришла в восторг от такой новости и побежала рассказать семье.

— Пришел человек, который говорит, что он мой отец.

Мать встала, бледная и взволнованная, и, пройдя в другую комнату, заперлась в ней на ключ. Один из братьев спрятался под кровать, а другой в шкаф, в то время как у сестры сделалась истерика.

— Скажи ему, чтобы он уходил, скажи, чтобы уходил! — кричали они.

Мое удивление было очень велико, но, как вежливая девочка, я вышла в переднюю и заявила:

— У нас дома неважно себя чувствуют и сегодня никого не могут принять.

Тогда незнакомец взял меня за руку и предложил пойти с ним пройтись. Мы спустились по лестнице на улицу. Я шла рядом с ним вприпрыжку, растерянная и восторженная, при мысли, что этот красивый господин — мой отец и что у него нет ни хвоста, ни рогов, каким я себе всегда его представляла. Он меня повел кондитерскую, напичкал мороженым и пирожными. Я вернулась домой в состоянии дикого волнения, но нашла домашних в мрачном и угнетенном настроении.

— Он просто очаровательный человек и завтра снова собирается за мной зайти, чтобы угостить мороженым, —

рассказывала я.

Но домашние отказались его видеть, и он немного погодя вернулся к другой своей семье в Лос-Анджелес. Я несколько лет не видела отца после этого случая, как вдруг он появился снова. Мать теперь смягчилась настолько, что согласилась ним встретиться, и он нам подарил прекрасный дом с большими залами для танцев, с площадкой для тенниса, с амбаром и ветряной мельницей. Подарок объяснялся тем, что отец разбогател в четвертый раз. В своей жизни он три раза богател и три раза все терял. С течением времени и четвертое богатство пошло прахом, и с ним пропали дом и все остальное. Но на несколько лет, пока мы там жили, дом этот послужил нам убежищем между двумя бурными этапами жизни.

Перед его разорением я, время от времени встречаясь с отцом, узнала, что он поэт, и научилась его ценить. Среди его произведений находилось одно стихотворение, которое заключало в себе как бы предсказание всей моей карьеры.

Я передаю отрывки из биографии моего отца, потому что эти впечатления ранней молодости оказали огромное влияние на мою последующую жизнь. С одной стороны, я насыщала ум чтением сентиментальных романов, тогда как с другой у меня перед глазами был живой пример брака на практике. Над всем моим детством, казалось, витала мрачная тень загадочного отца, о котором никто не желал говорить, и страшное слово «развод» глубоко запечатлелось на чувствительной пластинке моего разума. Я пыталась сама найти объяснения всему этому, так как никого не могла расспросить. Большинство романов, которые я читала, кончались свадьбой и блаженным счастьем, о котором не имело больше смысла писать. Но в некоторых книгах, вроде «Адама Вида» Джорджа Элиота, встречалась не выходящая замуж девушка, нежеланный ребенок и страшный позор, ложащийся на несчастную мать. На меня сильно подействовала несправедливость по отношению к женщине при таком положении вещей, и я тут же решила, согласовав это с рассказом о своих родителях, что буду жить, чтобы бороться против брака, за эмансипацию женщин и за право каждой женщины иметь одного или нескольких детей по своему желанию и воевать за свои права и добродетель. Для двенадцатилетней девочки приходить к таким выводам кажется очень странным, но жизненные условия рано сделали меня взрослой. Я стала изучать законы о браке и была возмущена, узнав о том состоянии рабства, в котором находились женщины. Я стала вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и на каждом почувствовала печать ревности и клеймо рабы. И тогда я дала

обет, что никогда не паду до состояния такого унижения, обет, который я всегда хранила, несмотря на то, что он повлек за собой отчужденность матери и был неправильно понят миром. Уничтожение брака — одна из положительных мер, принятых советским правительством. Двое лиц расписываются в книге, а под их подписями значится: «Данная подпись не влечет за собой никакой ответственности для участвующих и может быть признана недействительной по желанию любой из сторон». Подобный брак является единственным договором, на который могла бы согласиться свободомыслящая женщина, и брачное условие в такой форме — единственное, мною когда-либо подписанное.

В настоящее время, насколько мне известно, эти взгляды более или менее разделяются всеми свободомыслящими женщинами, но двадцать лет тому назад мой отказ выйти замуж и лично поданный пример права женщины рождать детей вне брака порождали крупные раздоры.

* * *

Только благодаря матери наша жизнь в детстве была насыщена музыкой и поэзией. По вечерам она сидела за роялем и часами играла, так как не было определенного времени, чтобы ложиться спать или вставать, как и вообще не было дисциплины. Больше того, уходя целиком в музыку и чтение стихов, мать как будто совершенно о нас забывала и безразлично относилась ко всему, происходившему вокруг. Наша тетка Августа, одна из сестер матери, была также удивительно даровита. Она часто гостила у нас и устраивала любительские спектакли. Была она очень красива: с черными глазами и черными, как смоль, волосами; и я вспоминаю ее, одетую Гамлетом в черных бархатных штанишках. У нее был прекрасный голос, и перед ней открывалась блестящая будущность певицы, но ее родители считали, что театр и все, к нему относящееся, от дьявола. Я только теперь отдаю себе отчет, насколько ее жизнь была погублена тем, что теперь даже трудно объяснить — пуританским духом Америки. Ранние американские поселенцы привезли с собой моральные представления, которые никогда вполне не утерялись. И их сила характера наложила отпечаток на первобытную страну, поразительно укрощая дикарей, индейцев и диких животных. Но поселенцы всегда старались укрощать и самих себя, что артистические дарования приводило к гибельным последствиям!

С раннего детства тетя Августа была пропитана этим пуританским духом. Ее красота, дивный голос, порывы — все пошло насмарку, что побуждало людей того времени восклицать: «Я бы охотнее увидел дочь мертвой, чем на сцене!» Почти невозможно понять это чувство в наши дни, когда великие артисты и артистки принимаются в самых замкнутых кругах. Вероятно, нашей ирландской крови мы обязаны тем, что детьми всегда восставали против этой пуританской тирании.

Одним из первых последствий переезда в большой дом, подаренный нам отцом, явилось открытие братом Августином театра в амбаре. Я помню, как он вырезал кусок меха из ковра в гостиной и употребил его на бороду для Рип Ван Уинкля, которого он изображал так реально, что я расплакалась, глядя на него из публики. Маленький театр рос и даже приобрел славу в окрестностях. Позже нам пришла в голову мысль совершить турне по побережью. Я танцевала, Августин читал стихи, а затем шла комедия, в которой тоже принимали участие Элизабет с Раймондом. Хотя в то время мне было только двенадцать лет, а остальным немного больше, эти поездки по побережью в Санта-Клару, Санта-Розу, Санта-Барбару и т. д. были очень удачны.

Отличительной чертой моего детства был постоянный дух протеста против узости общества, в котором мы жили, против житейских ограничений, и растущее желание умчаться на восток к чему-то, что казалось мне простором. Так часто я припоминаю себя, произносящей речи семье и родным, речи, которые всегда заканчивались словами: «Мы должны покинуть эту местность, мы здесь никогда ничего не достигнем».

* * *

Из всей семьи я была самая храбрая и, когда в доме абсолютно нечего было есть, вызывалась пойти к мяснику и своими чарами заставить его дать нам бесплатно бараньих котлет. Именно меня посылали к булочнику, чтобы убедить его не прекращать отпуска в долг. Эти экскурсии мне представлялись веселыми приключениями, особенно когда мне везло, что случалось почти всегда. Домой я шла приплясывая и, неся добычу, чувствовала себя разбойником с большой дороги. Это было хорошим воспитанием, так как, научившись умасливать свирепых мясников, я приобрела навык, который мне впоследствии помогал сопротивляться свирепым антрепренерам.

Помню, однажды, когда я была совсем крошкой, я застала мать плачущей над связанными для продажи вещами, которые

магазин отказался принять. Я взяла у нее корзинку, надела на голову вязаную шапочку, а на руки митенки и пошла из дома в дом торговать вразнос. Я все распродала и принесла домой вдвое больше, чем мать получила бы в магазине.

Когда я слышу, как отцы семейств говорят, что работают для того, чтобы оставить детям побольше денег, мне приходит в голову мысль: сознают ли они, что удаляют из жизни детей всякое стремление к приключениям? Ведь каждый оставляемый ими доллар ослабляет их ровно настолько же. Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать себе путь. Преподавание ввело сестру (и меня) в самые богатые дома Сан-Франциско. Богатым детям я не завидовала, наоборот, жалела их. Я была поражена мелочностью и бессмысленностью их жизни, и мне казалось, что по сравнению с этими детьми миллионеров я в тысячу раз богаче всем, ради чего стоит жить.

Наша слава как преподавательниц возрастала. Мы называли наше преподавание новой системой танцев, но в действительности никакой системы не было. Я отдавалась своей фантазии и импровизировала, обучая всему красивому, что приходило мне в голову. Одним из моих первых танцев была поэма Лонгфелло «Я выпустил стрелу в пространство». Я читала стихотворение детям и учила их следовать за смыслом жестами и движениями. По вечерам мать нам играла, а я придумывала танцы. Наш друг, милая старушка, часто посещавшая нас по вечерам и когда-то жившая в Вене, говорила, что я ей напоминаю Фанни Эльслер, и рассказывала нам об ее триумфах. «Айседора будет второй Фанни Эльслер», — говорила она, и это вызывало во мне честолюбивые мечты. Она посоветовала матери свести меня к знаменитому балетмейстеру в Сан-Франциско, но его уроки мне не понравились. Когда учитель приказал мне подняться на цыпочки, я спросила его, зачем, и, выслушав ответ («Потому что это красиво»), возразила, что это безобразно и неестественно, и после третьего урока покинула класс, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Напряженная и вульгарная гимнастика, которую он называл танцем, только смущала мои грезы. Я мечтала о другом танце. Я не представляла себе его ясно, но ощупью шла к невидимому миру, угадывая, что могу в него войти, стоит только отыскать ключ. Уже в детстве мое искусство таилось во мне и не было задушено благодаря духу матери, героическому и склонному к приключениям. Мне кажется, что ребенком надо начинать делать то, что человеку предстоит делать впоследствии. Интересно было бы знать, многие ли родители отдают себе отчет в том, что так называемым образованием, которое они дают

детям, они только толкают их в повседневность и лишают всякой возможности создать что-либо прекрасное или оригинальное. Но, вероятно, так оно и должно быть, иначе кто бы давал нам те тысячи служащих для банков, магазинов ит. д., которые как будто необходимы для цивилизованной и организованной жизни.

У матери было четверо детей. Возможно, что принудительной системой образования она могла бы нас превратить в приспособленных к жизни граждан.

Часто она горевала: «Почему все четверо — артисты и нет ни одного практически полезного деятеля?» Но артистами мы стали благодаря ее собственной прекрасной и мятущейся душе. Мать относилась совершенно безразлично ко всякого рода материальным благам и научила и нас взирать с великолепным пренебрежением ко всякой собственности в виде домов, мебели и имущества вообще. Только следуя ее примеру, я никогда в жизни не носила драгоценностей. Она учила нас, что все это лишь обременяет человека.

Покинув школу, я стала увлекаться чтением. В Окланде, где мы жили, была публичная библиотека, и я бегала туда, прыгая и танцуя всю дорогу, как бы далеко мы ни жили. Библиотекой заведовала удивительная и редкой красоты женщина, Айна Кулбрит, поэтесса из Калифорнии. Она поощряла мое чтение, и мне всегда казалось, что она радуется, когда я спрашиваю хорошие книги. Ее прекрасные глаза светились пламенем и страстью. Позже я узнала, что одно время отец сильно увлекался ею. Должно быть, она была его сильнейшая любовь, и, вероятно, прошлое невидимо притягивало меня к ней.

В ту пору я прочла произведения Диккенса, Теккерея и Шекспира, тысячи хороших и плохих романов, пожирая все подряд — и бессмыслицу, и книги, полные вдохновения. Мне случалось просиживать ночь напролет за книгой, читая до зари при свете огарков, которые я собирала в течение дня. Я также начала писать роман, а кроме того издавала газету, для которой сама же давала весь материал, и передовицы, и местную хронику, и короткие рассказы. Мало того, я еще вела дневник, для которого изобрела шифр, так как в то время я скрывала от других большую тайну. Я была влюблена.

Помимо руководства детскими классами, мы с сестрой взяли еще несколько взрослых учеников, которым она преподавала то, что тогда называлось «светскими танцами», т. е. вальс, мазурку, польку и т. д. Среди этих учеников было двое молодых людей: один — начинающий доктор, а другой — аптекарь. Аптекарь отличался поразительной красотой и назывался чудным именем — Верной. Мне тогда было одиннадцать лет, но выглядела я

старше, так как носила высокую прическу и длинное платье. Как героиня Риты, я написала в своем дневнике, что безумно, страстно влюблена, и, вероятно, так оно и было. Я не знаю, догадывался ли об этом Верной или нет, потому что в те годы я была слишком застенчива, чтобы открыть свою страсть. Мы ездили на балы и вечера, на которых он танцевал почти исключительно со мной. Затем, вернувшись домой, я до раннего утра просиживала над своим дневником, поверяя ему, как сильно я трепетала, когда, по моему выражению, «неслась в его объятиях».

Днем он работал в аптеке на главной улице, и я бежала за несколько миль только для того, чтобы один раз пройти мимо. Иногда я набиралась храбрости и входила, чтобы сказать: «Здравствуйте». Я узнала, где он живет, и по вечерам уходила из дому, чтобы стоять и смотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, и мне казалось, что я глубоко страдаю. В конце концов он объявил о своей предстоящей свадьбе с молодой светской девушкой из Окланда. Свое отчаянное горе я излила на страницах дневника и до сих пор помню день свадьбы и все, что я перечувствовала, когда увидела его идущим по церкви рядом с бесцветной девушкой под белой вуалью. После этого я перестала с ним встречаться.

Во время моего последнего выступления в Сан-Франциско ко мне в уборную вошел господин с белоснежными волосами, который, однако, выглядел молодо и поражал красотой. Я его сразу узнала. Это был Верной. Мне показалось, что после стольких лет я могу признаться ему в страсти своей юности. Я думала, что это его позабавит, но он ужасно испугался и начал говорить о жене, той бесцветной девушке, которая, как оказалось, была еще жива и продолжала сохранять любовь мужа. Как несложна бывает жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена, и мне кажется, что с той поры не перестаю быть влюбленной. В настоящее время я выздоравливаю от последнего припадка, бурного и губительного. Я, если можно так выразиться, поправляюсь, пользуясь антрактом перед последним действием своей жизни, или, может быть, пьеса уже закончена?

3

Под влиянием прочитанных книг я задумала покинуть Сан-Франциско и уехать за границу. Мне пришла в голову мысль присоединиться к какой-нибудь большой театральной труппе. Однажды я пошла повидать антрепренера гастролирующей труппы, остановившейся на неделю в Сан-Франциско, и попросила, чтобы он разрешил протанцевать перед ним. Проба состоялась утром на большой, темной, пустой сцене. Мать мне аккомпанировала. Я танцевала некоторые «Песни без слов» Мендельсона в короткой белой тунике. Когда музыка умолкла, антрепренер некоторое время молчал, а затем, обернувшись к матери, сказал:

— Для театра это никуда не годится. Это, скорее, для церкви. Советую вам отвести вашу девочку домой.

Разочарованная, не отказавшаяся от своего намерения, я начала составлять другие планы и, созвав семейный совет, говорила целый час, выясняя, почему жизнь в Сан-Франциско невозможна. Мать была немного сбита с толку, но согласилась следовать за мной повсюду, и мы уехали первыми, взяв два билета для туристов до Чикаго. Сестра и два брата остались в Сан-Франциско, с тем чтобы присоединиться к нам, когда я заработаю деньги на содержание семьи.

В жаркий июньский день мы приехали в Чикаго с небольшим сундуком, кое-какими старинными, доставшимися от бабушки драгоценностями и двадцатью пятью долларами в кармане. Я была уверена, что сразу получу ангажемент и что все наладится приятно и без затруднений. Но вышло не так. Имея при себе свою маленькую греческую тунику, я переходила от одного антрепренера к другому и танцевала перед каждым. Но все они сходились во мнении с первым: «Это прелестно, но не для театра».

Недели проходили, деньги наши растаяли, а заклад бабушкиных драгоценностей дал не очень много. Случилось неизбежное. У нас не было денег заплатить за квартиру, вещи наши были задержаны за долг, и в один прекрасный день мы очутились на улице без единого пенни в кармане.

На моем платье сохранился воротник из настоящих кружев, и в тот день я часами ходила по палящему солнцу, стараясь продать кружева. В конце концов к вечеру мне это удалось. (Насколько помню, воротник был продан за десять долларов.) Чудный кусок ирландских кружев дал мне столько, что хватило заплатить за комнату. Мне пришла в голову мысль купить на оставшиеся

деньги ящик помидоров, и ими — без хлеба и соли — мы питались в течение недели. Несчастная мать так ослабела, что не могла сидеть. Ранним утром я отправлялась к антрепренерам, но наконец решила взять первую попавшуюся работу и обратилась в контору по приисканию мест.

— Что вы умеете делать? — спросила женщина, сидевшая за конторкой.

— Все! — отвечала я.

— Похоже на то, что абсолютно ничего!

В отчаянии я однажды пошла к управляющему кафе на крыше «Масонского дворца». С сигарой в зубах и в шляпе, надвинутой на один глаз, он пренебрежительно следил за мной, пока я порхала под звуки мендельсоновской «Весенней песни».

— Ну, вы, конечно, хорошенькая и грациозная, — сказал он, — и я возьму вас, если вы все это измените и будете танцевать, подбавив немного перцу.

Я вспомнила бедную мать, теряющую сознание на последних помидорах, и спросила его, что он называет «подбавить перцу».

— Не то, что вы делаете, — сказал он, — а что-нибудь с юбками, оборками и дрыганьем ног. Вы могли бы сперва пустить греческое и потом перейти на оборки и дрыганье. Это был бы интересный номер.

Но где мне было достать оборки? Я сообразила, что просить в долг или вперед невыгодно, и только обещала вернуться на другой день с оборками, дрыганьем и перцем. Я вышла. День был жаркий — настоящая чикагская погода. Усталая и слабая от голода, я бродила по улицам, пока не очутилась перед одним из больших магазинов Маршаля Фильда. Войдя, я спросила управляющего, и меня провели в контору, где за письменным столом сидел молодой человек. У него было доброе лицо, и я объяснила ему, что мне к завтрашнему утру необходимо иметь юбку с оборками и что если он мне даст ее в долг, я ему легко заплачу по получении ангажемента. Я не знаю, что побудило молодого человека согласиться на мою просьбу, но только он согласился. Много лет спустя я его встретила, когда он сделался архимиллионером Гордоном Сельфриджем. Я взяла белой и красной материи для юбок и кружев для оборок и отправилась с пакетом домой, где нашла мать при последнем издыхании. Однако она храбро приподнялась, села на кровати и стала шить мне костюм для выступления. Она проработала всю ночь, и к утру последние оборки были на месте. С этим костюмом я вновь явилась к управляющему садом на крыше и нашла оркестр готовым для пробы.

— Под какую музыку вы танцуете? — спросил управляющий.

Я об этом раньше не подумала, но ответила: «Под «Вашингтонскую почту», в то время очень популярную. Музыка заиграла, я приложила все усилия, чтобы показать управляющему танец с перцем, импровизируя по мере того, как танцевала. Он пришел в восторг и заявил:

— Это прекрасно! Я выпущу специальные афиши, и вы можете прийти завтра вечером.

Он назначил пятьдесят долларов в неделю и был так добр, что выдал их вперед.

В этом саду на крыше под вымышленной фамилией я пользовалась большим успехом, но выступления там были мне так противны, что я отказалась, когда в конце недели он предложил мне продолжить контракт или даже отправиться в турне. Мы были спасены от голода, но с меня было достаточно забавлять публику тем, что противоречило моим идеалам. И я это сделала в первый и последний раз.

Мне кажется, что переживания этого лета были самыми тяжелыми в моей жизни, и каждый раз, когда я впоследствии появлялась в Чикаго, вид улиц вызывал во мне тошнотворное чувство голода.

Но среди самых тяжелых испытаний храбрая мать ни разу даже не намекнула на возможность вернуться домой.

Как-то мне дали рекомендательную карточку к помощнице редактора одной из крупных чикагских газет, журналистке Эмбер. Это была высокая сухопарая женщина лет пятидесяти пяти, с рыжими волосами. Я изложила свои взгляды на танцы, и она, выслушав меня ласково, пригласила нас с матерью в «Богемию», где, по ее словам, нас ждала встреча с артистами и литераторами. В тот же вечер мы пошли в этот клуб. Он находился в верхнем этаже высокого здания и представлял собой несколько комнат с незатейливой обстановкой, состоявшей из стульев и столов. Самые необыкновенные люди, мною когда-либо встреченные, наполняли помещение, и среди них выделялась Эмбер, кричавшая мужским голосом:

— Объединяйтесь, добрые богемцы! Добрые богемцы, объединяйтесь!

И в ответ на ее призыв богемцы поднимали кружки с пивом и отвечали криками и песнями.

В такой обстановке я выступила со своей священной пляской. Богемцы стали в тупик. Они не знали, как меня понять, но все же решили, что я милая девочка, и приглашали заходить каждый вечер. Они были самым причудливым людским сочетанием: тут были поэты, художники и артисты всех национальностей, и связывало их лишь одно — полное отсутствие денег. Я

подозреваю, что, как и мы, многие богемцы не питались бы ничем, не будь в клубе бутербродов и пива, которые большей частью поставлялись щедрой Эмбер.

Среди богемцев был поляк по фамилии Мироский, лет сорока пяти, с копной рыжих курчавых волос на голове, рыжей бородой и проницательными голубыми глазами. Обычно он сидел в углу, курил трубку и с иронической улыбкой следил затем, что «представляли» богемцы. Но он был единственный из толпы, перед которой я в те дни танцевала, понимавший мои идеалы и мою работу. Он был тоже очень беден, но все же часто приглашал мать и меня обедать в какой-нибудь ресторанчик или за город, где угощал завтраком в лесу. Он страстно любил золотень и, приходя ко мне, всегда приносил эти цветы охапками. С тех пор эти красно-золотые цветы связываются в моем представлении с рыжими волосами и бородой Мироского… Странный он был человек. Поэт и художник, он пытался зарабатывать себе пропитание коммерческими делами в Чикаго, но безуспешно и чуть не умирая с голоду. Тогда я была еще совсем маленькой девочкой и не могла понять ни его трагедии, ни его любви. Мне кажется, что в наше время, полное софизмов, никто не может себе представить, насколько невежественны и наивны были американцы тех дней. Мои жизненные понятия отличались тогда исключительной лиричностью и романтизмом. Я была еще совершенно чужда физическим проявлениям любви, и прошло много времени, прежде чем я отчетливо поняла, какую дикую страсть я возбуждала в Мироском. Этот сорокапятилетний или близкий к этому возрасту человек влюбился с той безумной страстью, на которую способен только поляк, в наивную, невинную девочку, какой я тогда была. У матери, очевидно, не было никаких подозрений, и она позволяла нам подолгу оставаться одним. Частое пребывание вдвоем и продолжительные прогулки в лесу произвели в конце концов должное психологическое действие. Когда он наконец не удержался от искушения поцеловать меня и попросил стать его женой, я решила, что это будет самая большая и единственная любовь моей жизни.

Но лето приходило к концу, а мы сидели совершенно без денег. Я убедилась, что мы не можем надеяться достичь чего-нибудь в Чикаго и что надо уехать в Нью-Йорк. Но каким образом? Как-то я прочла в газетах, что великий Августин Дейли вместе со своей труппой, во главе которой блистала Ада Реган, находится в городе. Я пришла к заключению, что должна повидать великого человека, который среди американских антрепренеров пользовался репутацией самого большого эстета и

любителя искусства. Я провела много полуденных и вечерних часов у дверей театра и бесконечное число раз просила доложить о себе Августину Дейли. Мне неизменно отвечали, что он слишком занят и что я должна обратиться к его помощнику. От этого я уклонилась, говоря, что мне необходимо лично переговорить с Дейли по важному делу. Наконец как-то вечером, в сумерки, я была допущена к всесильному. Августин Дейли был человек редко благородной наружности, но с посторонними умел казаться свирепым. Несмотря на испуг, я собралась с духом и произнесла длинную и необыкновенную речь:

— Я должна вам открыть великую мысль, г-н Дейли, и вы, вероятно, единственный человек в стране, который способен ее понять. Я возродила танец. Я открыла искусство, потерянное в течение двух тысяч лет. Вы великий художник театра, но театру вашему недостает одного, недостает того, что возвысило древний греческий театр, недостает искусства танца — трагического хора. Без него театр является головой и туловищем без ног. Я вам приношу танец, даю идеи, которые революционизируют всю нашу эпоху. Где я его нашла? У берегов Тихого океана, среди шумящих хвойных лесов Сьерры-Невады. Мне открылась на вершинах гор Роки безупречная фигура танцующей молодой Америки. Самый великий поэт нашей страны — Уолт Уитман. Я открыла танец, достойный его стихов, как его настоящая духовная дочь. Я создам новый танец для детей Америки, танец, воплощающий Америку. Я приношу вашему театру душу, которой ему недостает, душу танцора. Так как вы знаете, — продолжала я, стараясь не обращать внимания на попытки великого антрепренера меня прервать («Этого достаточно! Этого вполне достаточно!»), — так как вы знаете, — продолжала я, возвышая голос, — что родиной театра был танец и что первым актером был танцор. Он плясал и пел. Тогда родилась трагедия, и ваш театр не обретет своего истинного лица, пока танцор не возвратится в него во всем порыве своего великого искусства!

Августин Дейли не знал, как отнестись к странному худому ребенку, у которого хватило дерзости так с ним разговаривать, и ограничился тем, что сказал:

— У меня свободна небольшая роль в пантомиме, которую я ставлю в Нью-Йорке. Первого октября вы можете явиться на репетицию и будете ангажированы, если подойдете. Как вас зовут?

— Меня зовут Айседорой, — ответила я.

— Айседора. Красивое имя, — заметил он. — Итак, Айседора, я с вами увижусь в Нью-Йорке первого октября.

Не помня себя от восторга, я бросилась домой к матери.

— Мама, наконец-то кто-то меня оценил! — воскликнула я. — Меня принял в свою труппу великий Августин Дейли. Мы должны быть в Нью-Йорке к первому октября.

— Это хорошо, — сказала мать, — но как мы раздобудем билеты?

Это был действительно вопрос. Мне пришла в голову блестящая мысль. Я послала следующую телеграмму друзьям в Сан-Франциско: «Блестящий ангажемент. Августин Дейли. Должна быть в Нью-Йорке первого октября. Телеграфно переведите сто долларов на дорогу».

Случилось чудо. Деньги пришли. Деньги появились, а вслед за ними сестра Элизабет и брат Августин, которые воодушевились телеграммой и решили, что наше будущее обеспечено. Безумно взволнованные и полные радужных надежд, мы все-таки умудрились сесть в нью-йоркский поезд. Наконец-то, мечтала я, мир меня признает! Я, наверное, упала бы духом, если бы знала, сколько времени должно пройти до того, как это признание совершится.

Иван Мироский был вне себя от отчаяния при мысли, что должен расстаться со мной, но мы поклялись друг другу в вечной любви, и я ему объяснила, как легко нам будет пожениться, когда я разбогатею в Нью-Йорке. В то время я, чтобы доставить удовольствие матери, готова была согласиться на брак, хотя в него не верила. Я еще не подняла меч за свободную любовь, за которую впоследствии так много боролась.

4

Нью-Йорк сразу же произвел на меня впечатление города, более близкого к искусству, чем Чикаго. Кроме того, я была счастлива снова находиться около моря. Города, удаленные от моря, меня всегда душат. Мы остановились в пансионе на одной из боковых улиц, прилегающих к Шестой авеню. В нем собралась странная коллекция людей. Их, как и членов «Богемы», объединяла одна общая черта: все они жили в непосредственной близости к выселению, потому что не были в состоянии платить по счетам.

В одно прекрасное утро я появилась у дверей, ведущих на сцену театра Дейли, и была снова допущена к великому человеку. Я хотела, как и в прошлый раз, сообщить ему свои взгляды, но он казался очень взволнованным и занятым.

— Мы привезли из Парижа Джен Мэй, светило пантомимы, — сказал он. — Для вас тоже есть роль, если вы сумеете выступить в пантомиме.

Пантомима мне никогда не представлялась искусством. Движение является выражением лирики и эмоции, которое не имеет ничего общего со словами, в пантомиме же слова заменяются жестами, и она, таким образом, не представляет собой ни хореографического, ни драматического искусства, а находится между ними и поэтому ничего не дает. Но другого выхода не было, и приходилось брать роль. Я взяла ее домой для ознакомления и нашла, что все вместе взятое очень глупо и совершенно недостойно моих стремлений и идеалов.

Первая репетиция была страшным разочарованием. Джен Мэй была маленькая, крайне вспыльчивая женщина, пользовавшаяся всяким удобным случаем, чтобы выйти из себя. Мне показалось верхом нелепости, когда пришлось указывать на нее пальцем, чтобы сказать «вы», прикладывать руку к сердцу, чтобы сказать «любите», и сильно ударять себя в грудь, чтобы сказать «меня». Во все это я вкладывала так мало души, что Джен Мэй пришла в негодование.

Повернувшись к г. Дейли, она объявила, что у меня нет ни капли таланта и что роль мне совершенно не по силам. Я сообразила, что мы можем оказаться на мели в пансионе во власти бессердечной хозяйки. Перед моими глазами встал образ маленькой хористки, накануне выброшенной на улицу без вещей, и я вспомнила все, что выстрадала мать в Чикаго. От этих мыслей слезы выступили у меня на глазах и потекли по щекам. Я выглядела, вероятно, очень жалкой и несчастной, так как лицо г-

на Дейли смягчилось. Он потрепал меня по плечу и сказал, обращаясь к Джен Мэй:

— Посмотрите, как она выразительно плачет. Она научится.

Репетиции были для меня настоящим мытарством. Мне приказывали делать движения, которые я находила вульгарными и глупыми и которые не стояли ни в какой связи с музыкой, под которую исполнялись. Но юность быстро приспосабливается, ияв конце концов освоилась с ролью.

Джен Мэй играла Пьеро, и был момент, когда я должна была ему признаваться в любви. Трижды, под различные мелодии, мне приходилось подходить к Пьеро и целовать его в щеку. На генеральной репетиции я это проделала так энергично, что на белой щеке Пьеро остались следы моих красных губ. Пьеро немедленно превратился в полную ярости Джен Мэй и стал меня награждать оплеухами. Прекрасное начало театральной карьеры!

И все же, по мере того как шли репетиции, я не могла не восторгаться необыкновенной и живой выразительностью этой мимической артистки. Она могла бы стать великой танцовщицей, не будь она заключена в ложные и пошлые рамки пантомимы. Но рамки были слишком тесны. Мне всегда хотелось сказать участникам пантомимы:

— Если вы хотите говорить, то почему же вы не говорите? Зачем тратить столько усилий на жесты, словно в училище для глухонемых?

Настал вечер первого представления. Я была одета в голубой шелковый костюм Директории, имела на голове светлый парик и большую соломенную шляпу. Горе тебе, революция искусства, которую я хотела произвести в мире! Я потеряла свой облик и совершенно преобразилась. Милая мама сидела в первом ряду и была сильно смущена, но и тут не предложила вернуться в Сан-Франциско, хотя я видела, насколько она огорчена. Столько борьбы — и такой жалкий результат!

У нас совершенно не было денег, пока шли репетиции этой пантомимы. Нас выселили из пансиона, и пришлось нанять две комнаты без всякой меблировки на 180-й улице. Денег на разъезды не хватало, и я часто бывала принуждена идти пешком к Августину Дейли на 29-ю улицу. Чтобы путь казался короче, я придумала целый ряд способов передвижения: бежала по грязи, ходила по деревянным тротуарам и прыгала по каменным. У меня не было средств на завтрак, и пока все уходили подкрепиться, я забиралась в литерную ложу и в изнеможении засыпала, а потом на голодный желудок снова принималась за репетицию. До начала спектаклей я таким образом репетировала в течение шести недель, а затем целую неделю выступала раньше, чем

получила жалованье.

После трех недель в Нью-Йорке труппа отправилась странствовать, выступая всюду по одному разу. На все мои расходы я получала пятнадцать долларов в неделю, причем половину посылала домой матери, чтобы дать ей возможность как-нибудь существовать. Когда мы выгружались на вокзале, я не ехала в гостиницу, а брала свой чемодан и пешком отправлялась разыскивать пансион подешевле. Я не могла тратить на себя больше пятидесяти центов в день, и иногда мне приходилось плестись бесконечно долго, прежде чем я находила то, что искала. Порой я попадала в очень странные закоулки. Как-то мне отвели комнату без ключа, и мужское население квартиры, почти поголовно пьяное, все время пыталось проникнуть ко мне. В ужасе я протащила тяжелый шкаф через всю комнату и забаррикадировала им дверь, но и после того не решалась заснуть и всю ночь была настороже. Я не могу себе представить более позабытого Богом существования, чем то, которое называется «путешествием» с театральной труппой.

Со мной было несколько книг, и я читала без устали. Я каждый день писала длинные письма Ивану Мироскому, но не думаю, чтобы из них он мог составить себе ясное представление, насколько я несчастна.

После двухмесячного турне наша труппа возвратилась в Нью-Йорк. Все предприятие закончилось для г. Дейли большими убытками, и Джен Мэй вернулась в Париж.

Что ожидало меня? Я снова явилась к г. Дейли и опять сделала попытку заинтересовать его своим искусством, но он казался совершенно глухим и безразличным ко всему, что я могла ему предложить.

— Моя труппа уезжает и берет с собой «Сон в летнюю ночь», — сказал он, — если хотите, вы можете танцевать в феерии.

Я считала, что танец должен выражать чувства и стремления человека. Феи меня не интересовали, но я согласилась и предложила протанцевать в лесной сцене, перед появлением Титании и Оберона, под скерцо Мендельсона.

Когда взвился занавес и начался «Сон в летнюю ночь», я была одета в длинную прямую тунику из белого и золотого газа с двумя крыльями, покрытыми блестками. Я категорически отказывалась от крыльев, считая их смешными, и пыталась убедить г. Дейли в том, что могу изобразить крылья, не прибегая к картону, но он настоял на своем. В первый спектакль я вышла танцевать одна. Я была в восторге — наконец-то я могла танцевать одна на большой сцене перед большой публикой. И я

танцевала так хорошо, что публика разразилась неожиданными аплодисментами. Я произвела так называемую сенсацию. Вернувшись, я ожидала увидеть радостного г. Дейли и принять его поздравления. Но он встретил меня с бешеной яростью. «Здесь не кафешантан!» — загремел он. В самом деле, являлось совершенно неслыханным, чтобы публика аплодировала этому танцу. В следующий вечер, выбежав на сцену, я увидела, что все огни потушены. И каждый раз, как я выступала в «Сне в летнюю ночь», мне приходилось танцевать в темноте. На сцене ничего не было видно, кроме белого порхающего существа.

После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке «Сон в летнюю ночь» тоже отправился в турне, и опять начались унылые переезды и поиски пансионов, с той только разницей, что теперь мое жалованье было повышено до двадцати пяти долларов в неделю.

Так прошел год.

Я была крайне несчастна. Мои мечты, идеалы, стремления — все казалось напрасным.

В труппе меня считали странной, и я сошлась с очень немногими. За кулисами я прогуливалась с томиком Марка Аврелия в руках и старалась придерживаться стоической философии, чтобы заглушить постоянное чувство отчаяния.

Звездой труппы Августина Дейли считалась Ада Реган — выдающаяся артистка, но крайне несимпатичный человек, в особенности в отношениях с младшими артистами, и единственной моей радостью было следить за ее игрой. Она редко гастролировала со странствующей труппой, к которой я принадлежала, но по возвращении в Нью-Йорк я часто любовалась ею в ролях Розалинды, Беатрисы и Порции. Женщина эта была одной из величайших артисток мира, но в повседневной жизни ничем не старалась заслужить расположение других членов труппы. Очень гордая и замкнутая, она, казалось, считала за труд даже поздороваться с нами, так как за кулисами было однажды расклеено такое объявление: «Просят принять к сведению, что труппа может не здороваться с г-жой Реган».

За те два года, что я работала у Августина Дейли, я ни разу не имела удовольствия беседовать с г-жой Реган. Она, очевидно, считала всю меньшую братию недостойной своего внимания. Помню, как однажды ее задержал Дейли, занимавшийся с нами групповыми сценами, и она, указав на нас рукой, воскликнула: «Послушайте, батенька, как вам не стыдно заставлять меня ждать из-за этих ничтожеств!» (Принадлежа к ничтожествам, я, естественно, не была в восторге от ее замечания!) Я не могу понять, как такая великая артистка и очаровательная женщина,

как Ада Реган, могла быть столь мелочной, и могу это объяснить только тем, что ей в то время было уже почти пятьдесят лет. Долгое время она была кумиром Августина Дейли, и ее, должно быть, возмущало, когда впоследствии он выбирал из труппы какую-нибудь хорошенькую девушку и на две-три недели, а иногда на два или три месяца, без всякой видимой причины, но, вероятно, по соображениям, неприятным г-же Реган, выдвигал избранницу на первые роли. Я глубоко восхищалась Адой Реган как артисткой, ивте времена услышать от нее ласковое слово ободрения было бы очень важно для всей моей последующей жизни. Но за все два года она даже ни разу не взглянула на меня. Мало того, когда я танцевала в «Буре», в сцене бракосочетания Миранды и Фердинанда, она умышленно отворачивалась в течение всего танца, чем привела меня в такое смущение, что я с трудом могла продолжать.

Во время нашего турне со «Сном в летнюю ночь» мы попали в Чикаго. Я была вне себя от радости при встрече с моим предполагаемым женихом. Снова стояло лето, и в дни, свободные от репетиций, мы подолгу гуляли в лесу. Я все больше и больше ценила ум Ивана Мироского. Через несколько недель я уехала в Нью-Йорк, условившись, что он вскоре последует за мной и там на мне женится. Узнав об этом, мой брат навел справки и выяснил, что у Мироского уже есть жена в Лондоне. Мать в ужасе настояла на полном разрыве.

5

Вся наша семья была теперь в Нью-Йорке. Мы умудрились нанять мастерскую художника с ванной и купили пять пружинных матрацев, так как я хотела иметь достаточно места для танцев. Мы завесили стены драпировками, а матрацы на день ставили стоймя. Кроватей у нас не было, мы спали на матрацах и укрывались перинами. Как и в Сан-Франциско, Элизабет открыла школу, помещавшуюся тут же. Августин вступил в театральную труппу и дома бывал редко. Он большей частью проводил время на гастролях. Раймонд пробовал свои силы в журналистике. Для покрытия расходов мы сдавали мастерскую по часам преподавателям пения, музыки, декламации и т. д. Комната была только одна, и всей семье приходилось уходить гулять. Я вспоминаю, как бродила в снегу по Центральному парку, стараясь не замерзнуть. Вернувшись домой, мы подслушивали у двери. Один из учителей декламации всегда давал заучивать стихотворение «Мэбель, маленькая Мэбель стоит, прижавшись лицом к стеклу» и сам повторял его с утрированным пафосом. Ученик же читал монотонным голосом и без всякого выражения, что неизменно вызывало восклицание преподавателя:

— Но неужели вы не чувствуете всего пафоса? Неужели вы его не чувствуете?

Августину Дейли пришла в это время в голову мысль поставить «Гейшу». Мне было назначено петь в квартете… Мне, которая в своей жизни не могла пропеть ни одной ноты! Мои три компаньона жаловались, что я их постоянно сбиваю с тона, и поэтому я стояла паинькой рядом и открывала рот, не издавая ни звука. Мать удивлялась, что я сохраняю очаровательное выражение лица, в то время как остальные, когда поют, строят ужасные гримасы.

Глупость «Гейши» была последней каплей, переполнившей чашу в моих отношениях с Августином Дейли. Однажды, проходя по темному театру, он увидел меня плачущей на полу ложи.

Наклонившись, он спросил, что случилось, и я ответила, что не могу больше выносить бессмысленности того, что творится в его театре. Он возразил, что «Гейша» ему нравится не больше, чем мне, но что необходимо заботиться о финансовой стороне дела. Затем, чтобы утешить, Дейли погладил меня по спине, но это меня только рассердило.

— Какой смысл держать меня с моим талантом здесь, — сказала я, — раз мне все равно не находят применения?

Дейли взглянул на меня с испуганным удивлением,

промычал «г-м!» и удалился.

Это была моя последняя встреча с Августином Дейли, так как несколько дней спустя я, набравшись храбрости, подала заявление о выходе из состава труппы. Я научилась питать отвращение к театру: постоянное повторение одних и тех же слов и движений, интриги, своеобразные взгляды на жизнь и вообще вся театральная обстановка меня отталкивали.

Я покинула Дейли и водворилась в студии в Карнеги-холл. Денег было очень мало, но зато я снова могла носить свою маленькую белую тунику и танцевать под музыку матери. Несчастной матери приходилось часто играть мне целые ночи напролет, так как днем мы имели очень мало возможности пользоваться мастерской.

В те дни меня увлекала музыка Этельберта Невина, и я сочиняла танцы для его «Нарцисса», «Офелии», «Водяных нимф» и т. п. Как-то во время моих упражнений в мастерскую вбежал молодой человек с дикими глазами и волосами, стоявшими дыбом. Несмотря на его молодость, им, казалось, уже владела та страшная болезнь, которая впоследствии свела его в могилу. Он с криками бросился ко мне:

— Я слышал, что вы танцуете под мою музыку! Я вам это запрещаю, запрещаю! Моя музыка не для танцев. Никто не должен под нее танцевать.

Взяв его за руку, я усадила его на стул.

— Посидите здесь, — сказала я, — и я потанцую под вашу музыку. Если вам не понравится, клянусь, что больше никогда не повторю этого.

И я стала танцевать «Нарцисса». В мелодии я уловила грезы юноши Нарцисса, стоявшего у ручья, пленившегося собственным отражением, и в конце концов превратившегося в цветок. Еще не замерла последняя нота, как композитор сорвался со стула, ринулся ко мне и заключил меня в свои объятия. Он глядел на меня глазами, полными слез.

— Вы — ангел, — произнес он. — Вы — волшебница. Я видел эти самые движения, когда творил.

Затем я протанцевала «Офелию» и наконец «Водяных нимф». Он приходил все в больший и больший восторг. В конце концов он сам уселся за рояль и стал тут же творить для меня дивный танец, который назвал «Весна». Впоследствии меня всегда огорчало, что этот танец никем не был записан, хотя композитор и играл его много раз. Невин был в таком упоении, что предложил мне устроить несколько совместных выступлений в Малом зале Карнеги-холла под его собственный аккомпанемент.

Первый вечер прошел с большим успехом; ряд последующих

вызвал в Нью-Йорке большую сенсацию, и возможно, что если бы мы были достаточно практичны и нашли хорошего импресарио, моей артистической карьере уже тогда было бы положено блестящее начало. Но мы отличались замечательной наивностью.

Многие дамы общества присутствовали на вечерах, и мой успех вызвал ряд приглашений в частные дома Нью-Йорка. В те времена я иллюстрировала танцами стихи Омара Хайяма в переводе Фицджеральда, которые мне читались вслух, пока я танцевала, братом Августином или сестрой Элизабет.

Приближалось лето. Я была приглашена г-жой Астор танцевать на ее вилле, в Ньюпорте. Мы с матерью и Элизабет отправились в Ньюпорт, представлявший собою в то время самый модный курорт. Г-жа Астор была для Америки тем же, чем королева была для Англии. В ее присутствии люди пугались и благоговели больше, чем в присутствии коронованной особы. Но со мной она была очень ласкова. Она устраивала представления на лужайке перед домом, и самое избранное общество Ньюпорта смотрело на мои танцы. У меня есть снимок, сделанный во время одного такого представления, и на нем изображена г-жа Астор, сидящая рядом с Гарри Лэером и окруженная Вандербильтами, Бельмонтами, Фишами и т. д. Затем я стала танцевать и в других виллах Ньюпорта, но дамы общества оказались такими экономными, что нам еле-еле хватало на покрытие расходов по путешествию и на жизнь. Кроме того, хотя все они считали мои танцы очаровательными, но ни одна не понимала, что я, собственно, делаю, и в общем наше пребывание в Ньюпорте нас разочаровало. Эти люди так поглощены снобизмом и блеском богатства, что совершенно не чувствовали искусства. В те времена артисты считались чем-то низшим — каким-то подобием старшей прислуги. Но с тех пор многое изменилось. Особенно когда Падеревский стал президентом Республики.

Как прежде меня не удовлетворяла жизнь в Калифорнии, так и теперь у меня явилось желание попасть в среду более свойственную моему сердцу, чем нью-йоркская. И я принялась мечтать о Лондоне, о писателях и художниках, которых там можно встретить, о Джордже Мередите, Генрихе Джеймсе, Ватсе, Свинбурне, Бэрн-Джонсе, Уистлере… Это были магические имена, а ведь в Нью-Йорке, говоря по правде, я ни разу не нашла интеллектуального сочувствия и поддержки своих идей.

Тем временем школа Элизабет развивалась, и мы переехали из мастерской в Карнеги-холл в две большие комнаты в нижнем этаже гостиницы «Виндзор». Комнаты эти стоили 90 долларов в неделю, и мы скоро поняли невозможность тратить на квартиру такие деньги. И в самом деле, хотя внешне наши дела шли

успешно, наша бухгалтерия показывала дефицит. «Виндзор» был мрачной гостиницей, и жить там, да еще платить крупные деньги не доставляло никакого удовольствия. Однажды ночью мы грелись с сестрой у огня и придумывали способ достать денег, чтобы оплатить счета. Наконец я воскликнула: «Единственное, что нас может спасти, это пожар гостиницы!» В третьем этаже, в комнатах, переполненных старинными вещами и картинами, жила очень богатая старая дама; она имела обыкновение спускаться по утрам ровно в 8 часов в столовую, чтобы позавтракать. Мы решили, что завтра я попадусь ей навстречу и попрошу в долг, что я и сделала. Старуха оказалась в плохом настроении, отказала в деньгах и стала жаловаться на кофе.

— Я прожила в этой гостинице много лет, — сказала она, — но уеду, если мне не станут подавать лучшего кофе.

И действительно, она покинула гостиницу в тот же день, сгорев в объятом пламенем здании! Элизабет с необыкновенным присутствием духа спасла свою школу, приказав ученикам взяться за руки и выведя всю цепь из горящего дома. Но спасти ничего не удалось, и все наше имущество, включая дорогие нам семейные портреты, погибло в огне. Мы приютились в одной комнате в гостинице «Букингэм» и через несколько дней оказались в том же состоянии, в каком приехали в Нью-Йорк, т. е. без единого пенни. «Это судьба, — заявила я. — Мы должны ехать в Лондон».

6

Из-за всех этих несчастий мы очутились в Нью-Йорке к концу сезона на мели, и тогда-то мне пришла в голову мысль ехать в Лондон. Пожар в гостинице «Виндзор» лишил нас всех вещей, даже необходимой смены белья. Моя работа у Августина Дейли и выступления перед высшим обществом Ньюпорта и Нью-Йорка, так называемыми «Четыреста», повергло меня в состояние горького разочарования. Я чувствовала, что бессмысленно дольше стучаться в наглухо запертую дверь Америки, раз публика так холодна, и главным моим желанием стала поездка в Лондон.

Семья наша теперь состояла из четырех человек. Августин, разъезжая со странствующей труппой, влюбился, исполняя роль Ромео, в шестнадцатилетнее дитя — Джульетту и в один прекрасный день вернулся домой с известием о своем браке. Нам это показалось изменой. По причине, которую я так и не поняла, мать пришла в бешенство. Она поступила так же, как при первом посещении семьи отцом, о котором я уже писала: вышла в соседнюю комнату и захлопнула за собой дверь. Элизабет молчаливо замкнулась в себе, а с Раймондом сделалась истерика. Я единственная выразила ему сочувствие и предложила побледневшему от волнения брату пойти к его жене. Пройдя по боковой улице, я поднялась на пятый этаж и в убогой комнатке нашла Джульетту. Хорошенькая и хрупкая, она выглядела больной и поведала мне, что ждет ребенка.

Таким образом, Августина приходилось исключить из наших лондонских планов. Семья начала на него смотреть как на павшего и недостойного великой будущности, к которой мы стремились.

И вот в начале лета мы снова оказались в пустой мастерской без гроша денег. Мне пришла в голову блестящая мысль просить богатых дам, у которых я танцевала, снабдить нас суммой, достаточной для поездки в Лондон. Прежде всего я посетила даму, жившую в роскошном доме, напоминавшем дворец, расположенном на 59-й улице и выходившем окнами в Центральный парк. Я ей рассказала о пожаре в гостинице «Виндзор», о гибели всего нашего имущества, о том, что не нахожу в Нью-Йорке надлежащей себе оценки, но уверена, что в Лондоне меня признают.

В конце концов она написала чек и вручила его мне. Я ушла от нее со слезами на глазах и приплясывая, но, дойдя до Пятой авеню, увидела, что чек, увы, только на пятьдесят долларов, сумму, совершенно недостаточную для переезда всей семьи в

Лондон.

Тогда я решила обратиться к жене другого миллионера, жившей при въезде на Пятую авеню, и прошла пешком все пятьдесят кварталов между 59-й улицей и его дворцом. Здесь меня приняли еще более неприветливо, и пожилая дама сделала мне выговор за неосуществимость моих планов, причем прибавила, что отнеслась бы ко мне иначе, если бы я изучала настоящее балетное искусство, так как знала когда-то балерину, составившую себе состояние. Я пылко отстаивала свои взгляды, почувствовала себя дурно и покачнулась. Было четыре часа дня, а я еще не завтракала. Тут хозяйка немного расстроилась и позвонила великолепному лакею, который принес мне чашку шоколада и сухарей. Орошая шоколад и сухари слезами, я все-таки продолжала убеждать даму в безусловной необходимости нашей поездки в Лондон.

— Я когда-нибудь сделаюсь знаменитостью, — сказала я ей, — и вы не пожалеете, что признали американский талант.

Наконец владелица почти шестидесятимиллионного состояния вручила мне чек — и тоже на пятьдесят долларов! Но прибавила:

— Вы мне их вернете, когда разбогатеете.

Я их не вернула, т. к. предпочла раздать бедным.

Таким образом, я обошла большинство нью-йоркских миллионерш, и в один прекрасный день мы оказались обладателями чудовищной суммы в триста долларов, на которую мы должны были доехать до Лондона. Этой суммы не могло хватить на билеты второго класса на пассажирском пароходе, если мы хотели приехать в Лондон хоть с какими-нибудь деньгами.

Раймонду пришла в голову удачная мысль — поискать в порту, и он нашел маленький пароход, отправляющийся в Гулль с грузом скота. Капитан был так растроган рассказом Раймонда, что согласился принять нас на борт в качестве пассажиров, хотя это и запрещалось правилами, и в одно прекрасное утро мы погрузились, имея при себе всего-навсего несколько чемоданов, так как все сундуки погибли при пожаре «Виндзора». Мне кажется, что именно под влиянием этой поездки Раймонд сделался вегетарианцем, так как вид нескольких сотен несчастных животных, отправляемых в Лондон с далекого Запада, скученных в трюме, наносящих друг другу раны рогами и жалобно стонущих, произвел на нас очень сильное впечатление.

Впоследствии, путешествуя в роскошной каюте на больших океанских пароходах, я не раз вспоминала о нашем плавании на грузовом судне и о нашем тогдашнем радостном и веселом

настроении и задумывалась над тем, не содействует ли атмосфера постоянной роскоши развитию неврастении? Мы питались исключительно солониной и чаем, отдававшим соломой, койки были твердые, каюты маленькие и стол плохой, и тем не менее мы были очень счастливы в течение двухнедельного переезда в Гулль. Нам было стыдно открывать на подобном пароходе нашу настоящую фамилию, и поэтому мы назвались фамилией нашей бабушки с материнской стороны — О'Торман. Я сделалась Магги О'Торман.

Помощник капитана был ирландец. Мы вместе проводили на палубе лунные ночи, и он часто мне говорил: «Право, Магги О'Торман, я был бы вам хорошим мужем, если бы вы позволили». Иногда вечером любезный капитан доставал бутылку виски и угощал нас горячим грогом. Вообще это было чудное время, несмотря на многие трудности, и только мычание и рев скота в трюме несколько нас удручали. Интересно, перевозят ли и до сих пор скот таким варварским способом?

Майским утром О'Торманы высадились в Гулле и отправились на вокзал, а несколько часов спустя Дунканы приехали в Лондон. Насколько помню, мы нашли квартиру около Мраморной арки по объявлению в газете «Таймс». Первые дни пребывания в Лондоне прошли в бесконечных поездках по городу в омнибусах за пенни, поездках, сопровождавшихся восторгами и удивлением, граничившим с экстазом. Мы совершенно забыли, насколько ограничены наши средства. Мы часами осматривали достопримечательности столицы, бродили по Вестминстерскому аббатству, Британскому музею, музею в Южном Кенсингтоне, Лондонской башне, садам Кью, Ричмондскому парку, Хемптон-корту и, возвращаясь домой усталые и взволнованные, вели себя точно туристы, у которых остался в Америке отец, присылающий им деньги. Только по прошествии нескольких недель раздраженная хозяйка вывела нас из блаженного сна требованием квартирной платы.

Однажды, вернувшись из Национальной галереи, где мы прослушали очень интересную лекцию о Венере и Адонисе Корреджио, мы увидели захлопнувшуюся перед нашим носом дверь и остались стоять на улице, вспоминая наши жалкие пожитки, запертые в квартире. При осмотре карманов выяснилось, что на всех имеется около шести шиллингов. Мы отправились к Мраморной арке и, войдя в Кенсингтонский парк, сели на скамью, чтобы обдумать наш следующий шаг.

7

Просмотрев психологическую фильму наших жизней, мы, конечно, были бы поражены и воскликнули бы: «Не может быть, чтобы все это произошло с нами!» Разумеется, те четверо людей, которых я вспоминаю идущими по улицам Лондона, могли с таким же основанием существовать в воображении Чарльза Диккенса, по крайней мере, и теперь я с трудом верю в их реальность. Неудивительно, что мы, молодые и жизнерадостные, сохраняли бодрость среди всех этих бед, но мне представляется невероятным, когда я вспоминаю те дни, как несчастная мать, женщина уже пожилого возраста, испытавшая в жизни столько невзгод и лишений, могла смотреть на происходившее, как на обычный ход событий.

Мы шли по улицам Лондона без денег, без друзей, не имея средств, чтобы найти приют на ночь. Мы пытались устроиться в двух или трех гостиницах, но всюду требовали деньги вперед, ссылаясь на отсутствие вещей. Хозяйки меблированных квартир, куда мы обращались, оказались столь же бессердечными. Нам ничего больше не оставалось, как расположиться на скамейке Зеленого парка, но оттуда нас прогнал полицейский.

Так продолжалось три дня и три ночи. Мы питались булочками за пенни, но проводили дни в Британском музее. Такова уж была наша поразительная жизнеспособность! Помню, как я читала английский перевод «Путешествия в Афины» Винкельмана и горько рыдала над его трагической смертью по возвращении из дальнего пути, совершенно позабыв о наших собственных несчастьях.

Но на заре четвертого дня я решила, что необходимо что-то предпринять. Приказав матери, Раймонду и Элизабет следовать за мной, не говоря ни слова, я прямо вошла в одну из самых роскошных гостиниц Лондона. Я сообщила полусонному ночному швейцару, что мы сейчас приехали ночным поездом, что вещи наши идут багажом из Ливерпуля, приказала отвести нам комнаты и подать кофе и завтрак, состоящий из гречневых пирожков и других тонких американских блюд.

Целый день мы провели, наслаждаясь сном в роскошных кроватях. Я несколько раз телефонировала вниз швейцару и горько жаловалась на то, что багаж еще не прибыл.

— Мы не можем выйти из комнат, пока не переоденемся, — говорила я. И обед был нам подан в номер.

На следующее утро, считая, что хитрость не должна переходить пределов, мы вышли из гостиницы так же, как вошли,

с той только разницей, что не будили ночного швейцара!

Мы очутились на улице с новым приливом сил, вполне готовые вступить в борьбу с миром. Отправившись в Челси, мы прошли на кладбище старой церкви; тут я заметила на дорожке брошенную газету. Развернув лист, я прочла заметку о том, что одна дама, в доме которой я танцевала в Нью-Йорке, наняла здесь особняк и устраивает роскошные приемы. На меня снизошло вдохновение.

— Подождите меня здесь!.. — сказала я своим.

Я побежала в Гроувенор-сквер как раз перед завтраком и застала знакомую даму дома. Она меня приняла очень любезно, и я рассказала ей, что приехала в Лондон и выступаю в салонах.

— Как раз то, что мне нужно для обеда, который я даю в пятницу вечером, — заявила она. — Могли ли бы вы показать что-нибудь из вашей программы сразу же после обеда?

Я согласилась и осторожно намекнула, что для выполнения обязательства потребуется небольшой аванс. Она охотно пошла мне навстречу и выписала чек на 10 долларов, с которым я поскакала обратно на кладбище Челси, где застала Раймонда произносящим речь на тему о взгляде Платона на человеческую душу.

— В пятницу вечером я танцую у г-жи Х. в Гроувенор-сквере; вероятно, будет принц Уэльский; наша карьера обеспечена! — И я показала им чек.

Тогда Раймонд сказал: «Мы должны взять эти деньги, нанять ателье и заплатить за месяц вперед, чтобы никогда больше не подвергаться оскорблениям этих грубых, низких квартирных хозяек».

Мы принялись за поиски и вскоре нашли маленькое ателье у самой Королевской дороги в Челси и эту ночь уже провели в нем. За неимением кроватей мы спали на полу, но были счастливы, что опять живем, как артисты, и мы согласились с мнением Раймонда, что нам не следует жить по-мещански, в меблированных комнатах.

На деньги, оставшиеся после найма ателье, мы купили консервов в виде запаса и, кроме того, несколько аршин легкой материи у Либерти, необходимой для вечера у г-жи Х. Я танцевала «Нарцисса» Невина, изображая его стройным юношей (я была очень худа), влюбленным в собственное отражение в воде. Затем я танцевала «Офелию» того же композитора и слышала шепот в публике: «Откуда у этого ребенка столько трагизма?» В конце вечера я протанцевала «Весеннюю песнь» Мендельсона.

Мать мне аккомпанировала; Элизабет прочла несколько стихотворений Теокрита в переводе Эндрю Ланга, а Раймонд

короткую лекцию о танцах и их влиянии на психологию будущего человечества. Это было слишком возвышенно для хорошо упитанной аудитории, но все-таки успех был большой и хозяйка пришла в восторг.

Никто из англичан не обратил внимания на мои сандалии, голые ноги и прозрачные драпировки, которые несколько лет спустя вызвали klatch в Германии. Но англичане настолько вежливы, что никто не подумал отметить оригинальность моего наряда и, увы, моих танцев. Все говорили «Прелестно», «Очаровательно», «Мы вам очень благодарны» или что-нибудь в этом духе. И больше ничего.

Но с этого вечера я стала получать приглашения во многие известные дома. Один день я танцевала перед коронованными особами у леди Лоутер, а на другой нам нечего было есть, так как мне не всегда платили. Хозяйка дома говорила: «Вы будете танцевать перед герцогиней такой-то и графиней такой-то, на вас будет смотреть такое изысканное общество, что вы сразу завоюете себе признание в Лондоне».

Помню, как на одном благотворительном вечере, на котором я танцевала в продолжении четырех часов, титулованная устроительница в виде награды собственноручно налила мне чаю и положила клубники, но я так плохо себя чувствовала после нескольких дней голодовки, что ягоды с жирными сливками привели меня в очень плачевное состояние. А другая дама подняла целый мешок, наполненный золотом, показала его мне и сказала: «Посмотрите, какую уйму денег вы помогли собрать для нашего убежища для слепых девушек!»

Мать и я были слишком чувствительны, чтобы говорить этим людям, как жестоко они поступают. Больше того, мы отказывали себе в пище, чтобы быть прилично одетыми и казаться преуспевающими людьми.

Мы взяли напрокат рояль и купили несколько складных кроватей для ателье, но большую часть времени проводили в Британском музее, где Раймонд делал наброски с греческих ваз и барельефов, а я пыталась воплощать их под ту музыку, которая, как мне казалось, гармонировала с ритмом ног, посадкой головы Диониса и метанием диска. Кроме того, мы проводили несколько часов ежедневно в Библиотеке Британского музея, а завтракали в столовой, довольствуясь копеечной булкой и кофе с молоком.

Красота Лондона сводила нас с ума. В Америке мне недоставало культурных и архитектурных красот, зато теперь я упивалась ими всласть.

В момент нашего отъезда из Нью-Йорка исполнился год с тех пор, как я в последний раз виделась с Иваном Мироским. Теперь я

вдруг получила письмо от друзей из Чикаго, которые сообщали, что он вступил волонтером в ряды войск во время испанской войны, добрался до лагеря во Флориде и там умер от брюшного тифа. Письмо было для меня страшным ударом. Я не могла поверить, что это правда. Как-то после обеда я зашла в Институт Купера, долго рылась в старых газетах и наконец нашла его фамилию, напечатанную мелким шрифтом в списке погибших. В письме, между прочим, был указан адрес его жены в Лондоне, и я однажды взяла экипаж и поехала искать г-жу Мироскую. Ехать пришлось очень далеко, куда-то в Гаммерсмит. Я все еще отчасти находилась под пуританским влиянием Америки и считала ужасным, что Иван Мироский оставил в Лондоне жену, о которой мне никогда не говорил. Поэтому я никому не сказала о своих намерениях. Я дала кучеру адрес, и мы отправились на окраину города, за несколько миль от центра. Длинными рядами теснились серые невзрачные домики, похожие друг на друга, с унылыми и грязными воротами и названиями, одно параднее другого. Тут были «Коттедж в Шервуде», «Домик в долине», «Эллесмир», «Энисмур» и множество других неподходящих названий, и в конце концов мы добрались до «Звездного домика», у дверей которого я позвонила. Лондонская горничная, более мрачная, чем они бывают обыкновенно, мне открыла. Я спросила г-жу Мироскую, и меня провели в душную гостиную. На мне было белое муслиновое платье «директуар» с голубым поясом, большая соломенная шляпа на голове, из-под которой падали на плечи локоны.

Через потолок доносились шаги и чей-то резкий звонкий голос командовал: «Порядок, дети, порядок!» В «Звездном домике» помещалась школа для девочек. Мною овладело странное чувство, смесь боязни и ревности, несмотря на трагическую смерть Ивана, как вдруг в комнату вошло самое странное существо, которое я когда-либо видела в жизни, ростом не выше четырех футов, худое до прозрачности, с сияющими серыми глазами, редкими седыми волосами и маленьким бледным лицом с поджатыми тонкими бескровными губами.

Мироская приняла меня не очень любезно. Я пыталась объяснить, кто я такая.

— Знаю, — сказала она, — вы Айседора; Иван много раз мне о вас писал.

— Мне очень жаль, — пробормотала я, — он мне никогда о вас не говорил.

— Нет, — ответила она, — он бы не стал говорить обо мне, но я должна была к нему поехать, а вот теперь — он умер.

Она произнесла это таким тоном, что я расплакалась. Из ее

глаз тоже покатились слезы; они нас сразу сблизили, и нам показалось, что мы давно знаем друг друга.

Она меня повела в свою комнату, где все стены были покрыты фотографиями Ивана Мироского. Вот его лицо в молодости, мужественное лицо редкой красоты, вот он в солдатском мундире в рамке, окруженной крепом. Она мне рассказала всю их жизнь, как он отправился искать счастья в Америке и как не хватило денег на путешествие вдвоем.

— Я должна была к нему присоединиться, — говорила она. — Он все писал: у меня скоро будут деньги, и ты тогда приедешь.

Проходили годы, а жена Мироского все продолжала преподавать в школе для девочек; ее волосы успели поседеть, а Иван все не высылал денег на переезд в Америку.

Я сидела в ее комнате, окруженная фотографиями Ивана, а она крепко держала меня за руки и говорила, говорила о нем без конца, пока я не сообразила, что становится темно. Она взяла с меня слово, что я еще зайду к ней, а я в свою очередь пригласила ее к нам, но она возразила, что никогда не имеет свободной минуты, так как должна заниматься с детьми с утра и до позднего вечера.

Ко времени окончания срока найма нашего ателье в Чельси установилась очень жаркая погода, и мы наняли меблированное ателье в Кенсингтоне. Тут места было больше и у меня был рояль. Но в конце июля лондонский сезон закончился, и мы неожиданно оказались с очень малым количеством денег, а нам предстояло прожить весь август. Весь этот месяц мы провели между музеем в Кенсингтоне и Библиотекой Британского музея, откуда, часто после закрытия, возвращались домой пешком.

Как-то вечером, к моему удивлению, у нас появилась маленькая г-жа Мироская и пригласила меня обедать. Она была очень взволнована, потому что для нее выезд в город представлял великое событие. К обеду была даже заказана бутылка бургундского. Она просила подробно описать ей, как выглядел Иван в Чикаго и что он говорил, и я рассказала про золотень, который он любил собирать в лесу, про то, как я раз увидела его с рыжими кудрями, освещенными солнцем, и с руками, полными цветов золотая, про то, что в моих мыслях он связан с этим цветком. Она принялась плакать, и я также. Мы распили еще бутылку бургундского и предались воспоминаниям.

Наступил сентябрь, и Элизабет, состоявшая в переписке с матерями своих прежних учеников в Нью-Йорке, получила от одной из них чек на возвращение в Америку и решила, что поедет туда делать деньги.

— Таким образом, — заявила она, — зарабатывая деньги, я

буду делиться с вами, а когда ты сделаешься богатой и знаменитой, я снова соединюсь с вами.

Мне вспоминается, как на Главной улице Кенсингтона мы купили ей теплое пальто, посадили в поезд и, осиротевшие, втроем, вернулись в ателье, где в большом унынии провели несколько дней.

Наступил октябрь, холодный и мрачный. Впервые мы познакомились с лондонскими туманами, а питание дешевыми супами сделало нас малокровными. Даже Британский музей потерял свое очарование. Потекли долгие дни. У нас даже не хватило энергии, чтобы выходить из дому, и мы целыми днями сидели в ателье и играли в шашки кусками картона на самодельной шашечной доске.

С удивлением вспоминая нашу необыкновенную жизнеспособность, ясне меньшим удивлением вспоминаю этот период полного упадка наших сил. Бывали случаи, когда у нас не хватало решимости встать утром с постели, и мы лежали целый день.

Наконец от Елизаветы пришло письмо с денежным переводом. Приехав в Нью-Йорк, она остановилась в гостинице «Букингем» на Пятой авеню, открыла школу и преуспевала. Это придало нам бодрости. Так как срок найма нашего ателье пришел к концу, мы сняли маленький меблированный домик в сквере Кенсингтон.

Как-то теплой ночью бабьего лета мы с Раймондом танцевали в саду, когда показалась редко красивая женщина в большой черной шляпе, которая подошла, к нам и спросила:

— С какого места земного шара вас сюда занесло, мои милые?

— С Луны, а не с земного шара, — ответила я.

— С Луны, так с Луны… Во всяком случае — вы прелестны, — заявила она. — Не зайдете ли вы ко мне?

Мы последовали за ней в ее чудный дом у сквера Кенсингтон. Тамс дивных полотен Берн-Джонса, Россетти и Вильяма Морриса на нас смотрело ее прелестное лицо.

Это была г-жа Патрик Кэмпбелл. Сев за рояль, она заиграла и запела старинные английские песни, потом читала нам стихи, а в заключение просила меня протанцевать. Она отличалась царственной красотой: роскошными черными волосами, огромными черными глазами, молочным цветом кожи и шеей богини.

Мы все поголовно в нее влюбились, и эта встреча нас окончательно спасла от мрачного настроения, в которое мы впали. Начался перелом в нашей судьбе. Г-жа Патрик Кэмпбелл

выразила такой восторг перед моими танцами, что снабдила меня рекомендательным письмом к г-же Джордж Виндгэм. Мы узнали от нее, что молодой девушкой она дебютировала в доме этой дамы в роли Джульетты. Г-жа Виндгэм приняла меня очень мило, и мне впервые пришлось пить английский пятичасовой чай перед камином.

В камине, в бутербродах, в крепком чае, в желтоватом уличном тумане и в английской манере растягивать слова есть что-то невыразимо привлекательное, и если до сих пор я была очарована Лондоном, то с этой минуты я его горячо полюбила. В доме царила волшебная атмосфера уюта и комфорта, культуры и удобства, и я должна признаться, что чувствовала себя так же привольно, как рыба, вернувшаяся в родную стихию. Меня сильно прельщала также прекрасная библиотека.

Г-жа Виндгэм устроила у себя в гостиной вечер с моим участием в присутствии всех артистических и литературных сил Лондона. Тут я встретила того, кто должен был оставить глубокий след в моей жизни. У него, пятидесятилетнего человека, была одна из самых красивых голов, которые я видела. Глубоко запавшие глаза под высоким лбом, классический нос и тонко очерченный рот, высокая, тонкая, слегка сутулая фигура, седые волосы с пробором посередине, вьющиеся около ушей, и на редкость приветливое выражение лица — таков был Чарльз Галлэ, сын знаменитого пианиста. Странно, что ни один из многочисленных молодых людей, готовых за мной ухаживать, и существования которых я даже не замечала, не привлекал меня совершенно. Но к этому пятидесятилетнему человеку я с первого взгляда страстно привязалась.

Он был большим другом Мэри Андерсон в ее молодости и, пригласив меня пить чай в свое ателье, показал тунику, которая была на ней во время выступления в «Кориолане» в роли Виргилии и которую он хранил как священную память. После этого первого посещения наша дружба сильно окрепла, и не проходило дня, чтобы я не заходила к нему в ателье. Он мне много рассказывал о своем близком друге Бэрн-Джонсе, о Россетти, Вильяме Моррисе и всей школе прерафаэлитов, о Уистлере и Теннисоне, которых он хорошо знал. В его ателье я, как зачарованная, проводила целые часы, и дружбе этого выдающегося художника я отчасти обязана тем, что мне открылось искусство старых мастеров.

В те времена Чарльз Галлэ состоял директором Новой галереи, где выставлялись все современные художники. Это была прелестная маленькая галерея с двориком и фонтаном посередине, и Чарльзу Галлэ пришла в голову мысль, чтобы я там

выступала. Он познакомил меня со своими друзьями-художниками: сэром Вильямом Ричмондом, Эндрю Лангом и композитором сэром Губертом Парри. Все они согласились прочесть лекцию: сэр Вильям Ричмонд об отношении танца к живописи, Эндрю Ланг об отношении танца к греческой мифологии и сэр Губерт Парри об отношении танца к музыке. Я танцевала во дворе, вокруг фонтана, окруженного редкостными растениями, цветами и пальмами. Выступления мои имели большой успех: газеты печатали восторженные статьи, а Чарльз Галлэ был вне себя от радости; все видные люди Лондона приглашали меня на обед или чашку чая, и наступил краткий период, когда счастье нам улыбалось.

Однажды днем на многолюдном приеме в маленьком особняке г-жи Рональд я была представлена принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду. Он заявил, что у меня тип красавицы Гейнсборо, и это мнение еще увеличило восторги лондонского общества.

Наше положение улучшилось, и мы наняли большое ателье у сквера Варвик; там я проводила целые дни, культивируя вдохновение, навеянное итальянской живописью, которую я изучала в Национальной галерее, хотя мне кажется, что тогда я находилась и под сильным влиянием Бэрн-Джонса и Россетти.

Как раз тогда в жизнь мою вошел юный поэт, только что покинувший университетскую скамью Оксфорда. Обладатель нежного голоса и мечтательных глаз, он происходил от Стюартов и звался Дуглас Эйнсли. Ежедневно в сумерки он приносил в ателье три или четыре томика и читал мне стихи Свинбурна, Китса, Браунинга, Россетти и Оскара Уайльда. Он любил читать вслух, а я обожала его слушать. Бедная мать, считавшая совершенно необходимым присутствовать при визитах молодого человека, хотя знала и любила эти стихи, но не могла понять оксфордской манеры их читать и часто засыпала, особенно под стихи Вильяма Морриса. Тогда юный поэт наклонялся ко мне и нежно целовал меня в щеку.

Эта дружба давала мне большое счастье, и, имея таких друзей, как Эйнсли и Чарльз Галлэ, я не искала других. Чарльз Галлэ жил с очаровательной незамужней сестрой в маленьком старом доме на улице Кадеган. Мисс Галлэ была со мной тоже очень любезна и часто приглашала на интимные обеды втроем, и с нею я впервые побывала у Генри Ирвинг и Эллен Терри. Я впервые увидела Ирвинга в «Колоколах», и его великий талант так меня взволновал и привел в состояние такого восторженного энтузиазма, что я несколько недель жила под его впечатлением и ночами не могла уснуть. Что же касается Эллен Терри, то она

сделалась тогда и навсегда осталась идеалом моей жизни. Тот, кто никогда не видел Ирвинга, не в состоянии понять грандиозного размаха и трепетной красоты его передачи. Нельзя описать очарования его интеллектуальной силы и глубины его драматизма. Гений этого артиста был так велик, что даже недостатки его становились качествами, перед которыми можно было только преклоняться. В нем таилось что-то от гениальности и величия Данте.

Однажды летом Чарльз Галлэ повел меня к Уотсу, знаменитому художнику, и я танцевала ему в саду. В доме художника я увидела чудесное лицо Эллен Терри, изображенное на множестве его картин. Мы гуляли с Уотсом по саду, и он мне рассказал много прекрасного об искусстве и своей жизни.

Эллен Терри была тогда в полном расцвете своей обаятельной женственности. Она уже не была высокой, стройной девушкой, которая пленила воображение Уотса, а женщиной величавой, с высокой грудью и широкими бедрами, совсем непохожей на излюбленный тип наших дней. Если бы современная публика могла видеть Эллен Терри во времена ее славы, она, конечно, досаждала бы артистке советами, как похудеть при помощи диеты, массажа и прочего, но я позволю себе заметить, что величавое выражение Эллен пострадало бы, если бы она, подобно теперешним артисткам, тратила свои силы на то, чтобы казаться молодой и худой. Она не была ни тонкой, ни стройной, но безусловно являлась прекрасной представительницей своего пола.

Таким образом, я в Лондоне вошла в соприкосновение с самыми выдающимися личностями интеллектуального и артистического мира того времени. По мере того как проходила зима, количество приемов уменьшалось, и я даже одно время вступила в труппу Бенсона, хотя дальше роли первой феи в «Сне в летнюю ночь» и не пошла. Казалось, что антрепренеры театров не были в состоянии понимать мое искусство и почувствовать, насколько мое новаторство может оказаться полезным их постановкам. Кажется странным, когда думаешь, сколько слабых подражаний моей школе появилось впоследствии в постановках Рейнгардта, Жемье и других режиссеров, принадлежащих к театральному авангарду.

Однажды я получила рекомендательное письмо к леди (тогда еще г-же) Три. Я поднялась во время репетиции в ее уборную и нашла, что эта дама очень любезна. Следуя ее указаниям, я надела тунику и спустилась на сцену, чтобы танцевать перед Бирбомом Три. Но пока я танцевала «Весеннюю песнь» Мендельсона, он на меня почти не смотрел, а следил с

рассеянным видом за полетом мух. Много лет спустя в Москве я напомнила ему этот случай на банкете, на котором он произносил тост в честь меня как одной из величайших артисток мира.

— Как! — воскликнул он. — Я видел ваши танцы, вашу молодость и красоту и не оценил их? Вот дурак! А теперь, — добавил он, — поздно, слишком поздно!

— Поздно никогда не бывает, — возразила я.

С тех пор он меня особенно ценил, но этого я коснусь позже.

Я целый день проводила за работой в ателье, а к вечеру заходил поэт и читал мне вслух. Иногда же по вечерам я танцевала художнику или отправлялась куда-нибудь вместе с ним. Они сильно невзлюбили друг друга и старались не появляться одновременно. Поэт не понимал, как можно проводить столько времени со стариком, а художник удивлялся: что развитая девушка находит привлекательного в обществе молокососов? Но я была счастлива дружбой с ними обоими и, право, не могла сказать, в кого больше влюблена. Воскресенья же принадлежали Галлэ, и мы завтракали в его ателье и пили кофе, который он сам варил.

Однажды он мне разрешил надеть знаменитую тунику Мэри Андерсон, и в ней я позировала ему для множества набросков.

Так прошла зима.

8

Наши траты все еще превышали заработок, но все-таки это был период относительного покоя. Но мирная атмосфера не удовлетворяла исканий Раймонда. Он уехал в Париж и оттуда весной стал нас бомбардировать телеграммами, умоляя соединиться с ним. И вот в один прекрасный день мы с матерью упаковали вещи и сели на пароход, идущий через канал.

После лондонских туманов мы ясным весенним утром приехали в Шербург. Франция нам показалась садом, и всю дорогу от Шербурга до Парижа мы высовывались из окна вагона третьего класса. Раймонд нас встретил на вокзале. На нем был отложной воротник и большой галстук бабочкой, а волосы свисали на уши. Мы были несколько поражены метаморфозой, но он объяснил, что это мода Латинского квартала, в котором он живет. Он повел нас в свою квартиру, причем на лестнице мы встретили быстро сбегавшую вниз мидинетку, и угостил бутылкой красного вина, которая стоила, по его словам, тридцать сантимов. Выпив вино, мы отправились искать ателье. Раймонд знал только два французских слова, и мы шли по улице, повторяя: «Chercher atelier», не зная, что слово «ателье» по-французски значит не только «мастерская художника», но и вообще всякая мастерская. Наконец к вечеру мы нашли меблированное ателье во дворе за необыкновенную цену в пятьдесят франков в месяц. Мы пришли в восторг и заплатили за месяц вперед. Мы не могли догадаться, почему оно сдавалось так дешево, но в первую же ночь нам все стало ясно. Не успели мы улечься, как ателье задрожало, словно от землетрясения, подпрыгнуло и снова стало на место. Это повторялось непрерывно. Раймонд сбежал вниз и узнал, что мы нашли приют над ночной типографией, чем и объяснялась дешевая цена. Наше настроение несколько упало, но в те дни пятьдесят франков значили для нас очень много, и я предложила вообразить себя на берегу моря и думать, что это прибой.

Раймонд бросил свою мидинетку и посвятил себя мне. От волнения, что находимся в Париже, мы вставали в пять часов утра и начинали наш день танцами в Люксембургских садах, затем бродили по Парижу и подолгу осматривали Лувр. У Раймонда была уже целая папка с зарисовками греческих ваз, и мы столько времени проводили в зале с греческими вазами, что сторож начал к нам подозрительно присматриваться, а когда я жестами объяснила, что я прихожу сюда только чтобы танцевать, счел нас за безвредных помешанных и оставил в покое. Помню, что мы

часами просиживали на натертом паркете, скользя, чтобы увидеть нижние полки, или поднимались на цыпочки, говоря: «Смотри, вот Дионис» или «Иди сюда, вот Медея, убивающая своих детей».

Мы ходили в Лувр каждый день, и нас с трудом могли заставить его покинуть после закрытия. Кроме Лувра, мы посещали собор Парижской Богоматери, музеи Клюни, Карнавала и ряд других парижских музеев. Я была особенно восхищена группой Карпо перед зданием Оперы и фигурой на Триумфальной арке. Не было статуи, перед которой мы не стояли бы с немым благоговением; наши юные американские души стремились ввысь от радости, что мы наконец вкушали ту культуру, в поисках которой так долго боролись.

Весна сменилась летом. Открылась Всемирная выставка 1900 года, и к моей великой радости, но к неудовольствию Раймонда в одно прекрасное утро в нашем ателье на улице Тэте появился Чарльз Галлэ. Он приехал на выставку, и с этих пор я стала его постоянной спутницей. Не могло быть спутника умнее и очаровательнее его, и мы целыми днями бродили по выставочным павильонам, обедали по вечерам в ресторане на Эйфелевой башне. Он был воплощением доброты и, когда я уставала, возил меня в кресле на колесиках, а уставала я часто, так как искусство на выставке не было в моих глазах равно искусству Лувра, но я была очень счастлива, так как обожала Париж и обожала Чарльза Галлэ.

По воскресеньям мы садились в поезд и уезжали за город, чтобы гулять по садам в Версале или в лесу Сен-Жермен. Я танцевала в лесу, и он делал с меня эскизы. Так прошло лето. Оно, конечно, не было таким счастливым для бедной матери и Раймонда.

У меня осталось одно яркое впечатление от выставки 1900 года — выступления Сади Якка, знаменитой трагической танцовщицы Японии. Каждый вечер мы с Чарльзом Галлэ бывали потрясены удивительным искусством великой трагической артистки. Еще более сильное впечатление, оставшееся у меня на всю жизнь, произвел на меня павильон Родена, в котором было впервые показано публике полное собрание творений выдающегося скульптора.

Приближалась осень — ис ней конец выставки. Чарльз Галлэ должен был уехать в Лондон; перед отъездом он познакомил меня со своим племянником, Шарлем Нуфларом. «Оставляю Айседору на ваше попечение», — сказал он, уезжая. Нуфлар был немного пресыщенный молодой человек, лет двадцати пяти. Тем не менее он совершенно пленился наивностью доверенной ему маленькой американки. Он принялся завершать мое образование в области

французского искусства, много рассказывал о готике и приучил ценить Людовиков XIII, XIV, XV и XVI.

Мы покинули ателье на улице Тэте и на остатки наших маленьких сбережений наняли большое помещение на Авеню Вилье. Раймонд очень оригинально украсил ателье и сильно увеличил наши расходы на газ. Он взял листы оловянной бумаги, свернул их в виде трубок и надел на газовые рожки, отчего рожки стали бросать снопы света, наподобие римских факелов.

Здесь мать опять вернулась к своей музыке и часами, как в дни нашего детства, играла Шопена, Шумана и Бетховена. При ателье не было ни спальни, ни ванной комнаты. Раймонд нарисовал на стенах греческие колонны, а матрацы, на которых мы спали, днем прятались в резные шкафы. Приблизительно в это время Раймонд придумал свои знаменитые сандалии, сделав открытие, что носить башмаки вредно. Он вообще отличался изобретательным складом ума и три четверти ночи проводил, стуча молотком, над своими изобретениями, пока бедная мать и я пытались заснуть на своих матрацах.

Шарль Нуфлар был нашим постоянным гостем и однажды привел к нам в ателье двух своих приятелей: хорошенького юношу Жака Воньи и молодого литератора Андрэ Бонье. Шарль Нуфлар очень мною гордился, и ему доставляло большую радость демонстрировать меня своим друзьям в качестве необыкновенного продукта Америки. Конечно, я им тоже танцевала. Я тогда как раз изучала шопеновские прелюдии, вальсы и мазурки. Мать аккомпанировала мне часами; она играла поразительно хорошо, обладая сильным, чисто мужским ударом, большим чувством и пониманием. Жаку Боньи пришла мысль попросить свою мать, г-жу де Сен-Марсо, жену скульптора, пригласить меня как-нибудь вечером потанцевать в кругу ее друзей.

У г-жи де Сен-Марсо был один из самых блестящих артистических салонов Парижа, и репетиция состоялась в ателье ее мужа. У рояля сидел необыкновенный человек с пальцами кудесника. Я сейчас же почувствовала к нему симпатию.

— Какой восторг! — вскричал он. — Какое очарование! Что за прелестное дитя! — И, заключив в объятия, расцеловал меня в обе щеки по французскому обычаю. Это был великий композитор Мессаже.

Наступил вечер дебюта. Я танцевала перед такими милыми и восторженными людьми, что была совершенно вне себя от радости. Они с трудом дождались окончания танца, чтобы воскликнуть: «Браво, браво, как она прелестна! Какой ребенок!» Ив конце первого номера высокий человек с проницательными

глазами встал с места, чтобы меня обнять.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил он.

— Айседора, — отвечала я.

— А как твое уменьшительное имя?

— Когда я была маленькой, меня звали Доритой.

— О, Дорита, ты обворожительна! — воскликнул он и стал целовать мне глаза, щеки и рот. Затем меня взяла за руку г-жа де Сен-Марсо и объяснила:

— Это сам великий Сарду.

В этой комнате были собраны все, с кем считались в Париже, и когда я ушла, осыпанная цветами и комплиментами, мои три поклонника — Нуфлар, Жак Боньи и Андрэ Бонье — проводили меня домой, сияя гордостью и счастьем от того, что их маленький феномен пользовался таким успехом.

Из этих трех молодых людей одному было суждено стать моим большим другом, но не высокому и любезному Шарлю Нуфлару, не красивому Жаку Боньи, а низкорослому, бледнолицему Андрэ Бонье. Он был бледен, круглолиц и носил очки, но что за ум! Я всегда была cere brale, и хотя этому не верят, но мои «мозговые» увлечения, которых у меня было множество, меня так же интересовали, как и увлечения сердечные. Андрэ, который в те времена писал свои первые книги, «Петрарка» и «Симонда», навещал меня ежедневно, и я через него познакомилась с лучшими образцами французской литературы.

К тому времени я научилась довольно свободно читать и говорить по-французски, и Андрэ Бонье читал мне вслух в нашем ателье после обеда и долгими вечерами. В его голосе звучала ритмичность и проникновенная нежность. Он мне читал произведения Мольера, Флобера, Теофиля Готье и Мопассана, и он же первый мне прочел «Пелеаса и Мелисанду» Метерлинка и всех современных французских авторов. Он поверял мне все свои впечатления и рассказывал о том, что он мечтает создать. Эти произведения, конечно, не принадлежали бы к типу наиболее ходких, но я убеждена, что имя Андрэ Бонье еще много веков будет известно как имя одного из самых очаровательных писателей своего времени. Два раза я видела Андрэ Бонье сильно взволнованным. Один раз по случаю смерти Оскара Уайльда. Андрэ пришел ко мне бледный и дрожащий, в состоянии страшного угнетения. Я читала и смутно слышала, об Уайльде, но знала о нем очень мало. Мне были знакомы некоторые из его поэм, и я любила их. Андрэ мне рассказал кое-что из его биографии, но когда я спросила, почему Оскар Уайльд был посажен в тюрьму, Бонье покраснел до корней волос и отказался отвечать.

Он только дрожал, крепко сжимая мои руки, и очень поздно засиделся у меня, то и дело повторяя: «Вы моя единственная поверенная». После его ухода у меня осталось впечатление, что сверхъестественное несчастье посетило мир. Некоторое время спустя он снова появился с бледным и трагическим лицом. Он не хотел мне открыть причину своего волнения, но молча сидел с окаменевшим лицом и глазами, устремленными в точку. Уходя, он меня поцеловал в лоб с таким значительным выражением, что у меня явилось предчувствие угрожающей ему близкой смерти. Меня мучил болезненный страх, пока, три дня спустя, он не вернулся в превосходном настроении духа и не признался, что дрался на дуэли и ранил своего противника. Причины дуэли я так и не узнала, как, впрочем, ничего не знала о его личной жизни. Обычно он появлялся каждый день около пяти или шести часов вечера, и тогда мы читали вслух или шли гулять в зависимости от погоды и настроения. Как-то мы сидели в Медонском лесу на открытом месте, где пересекаются четыре дороги. Дорогу направо он назвал Богатством, дорогу налево — Миром, а дорогу прямо перед нами Бессмертием. «Где же находимся мы сами?» — спросила я. «В царстве Любви», — тихо ответил он. «Тогда я здесь останусь!» — вскричала я в восторге. Но он только ответил: «Здесь оставаться мы не можем», — встал и быстро пошел по дороге Бессмертия.

Разочарованная и недоумевающая, я побежала за ним, крича: «Почему, почему, почему вы меня покидаете?» Но всю дорогу домой он не говорил ни слова и неожиданно попрощался со мной у дверей ателье.

Эта странная и страстная дружба продолжалась уже больше года, когда я, в невинности своего сердца, решила придать ей другой характер. Однажды вечером я устроила так, чтобы отправить мать и Раймонда в оперу и остаться одной. Я купила бутылку шампанского, поставила ее с двумя бокалами на столик, убранный цветами, надела прозрачный хитон и, украсив волосы розами, стала поджидать Андрэ, чувствуя себя, точно Тайс. Он пришел, казался удивленным и растерянным и почти не притронулся к шампанскому. Я ему танцевала, но он выглядел рассеянным и вдруг ушел, говоря, что ему предстоит много писать в этот вечер. Оставшись одна с розами и шампанским, я горько заплакала.

Если вспомнить, что тогда я была молодая и замечательно хорошенькая, трудно дать объяснение этому случаю, и действительно, я так его и не разгадала. Тогда же могла лишь в отчаянии думать: «Он меня не любит». И из чувства уязвленного самолюбия и самой себе назло я стала сильно кокетничать с

другим поклонником из моего трио, высоким, светловолосым и красивым и настолько же предприимчивым в области поцелуев и объятий, насколько Андрэ был сдержан. Но и этот опыт окончился неудачей. В один прекрасный вечер после обеда с шампанским в отдельном кабинете он повез меня в гостиницу и записал под именем супругов Х. Я дрожала, но была счастлива. Наконец-то я узнаю, что такое любовь. Я оказалась в его объятиях, унесенная вихрем страстных ласк, с бьющимся сердцем, с каждым нервом, отвечающим на призыв любви, со всем своим существом, тонущим в безумном счастии, я пробуждалась к жизни, я ликовала — как вдруг он резким движением поднялся и, падая на колени перед кроватью, воскликнул в невыразимом волнении: «О, но почему же вы мне не сказали? Ведь я был близок к преступлению. Нет- нет, вы должны оставаться невинной. Одевайтесь, одевайтесь скорей!»

И, не внимая моим протестам, он накинул на меня пальто и, выйдя из гостиницы, поспешил усадить в экипаж. Всю дорогу домой он вслух проклинал себя.

«К какому преступлению был он близок?» — не раз спрашивала я себя. Голова у меня кружилась, я чувствовала себя больной и несчастной и была очень подавлена, когда меня вновь покинули у дверей ателье. Мой молодой светловолосый друг больше не возвращался, вскоре после этого уехал в колонии, но когда я встретила его несколько лет спустя, он меня спросил: «Простили ли вы меня?» — «Но за что же?» — спросила я…

Таковы были первые приключения моей юности у границ той неведомой страны, которая называется Любовью, в которую я мечтала войти, но которая долгие годы оставалась для меня закрытой благодаря тому религиозному страху, который я внушала своим поклонникам. Но последняя встряска сильно повлияла на мою восприимчивую натуру и направила все ее способности в сторону искусства, дававшего радости, в которых мне отказывала любовь.

* * *

Много дней и ночей проводила я в ателье в поисках танца, способного воплотить в движениях тела божественность человеческого духа. Я целыми часами простаивала совершенно спокойно. Мать часто пугалась, видя меня подолгу стоящей неподвижно и как бы в трансе, но я искала и в конце концов нашла основной источник всякого движения, исходную точку любой силы, единство жеста, поле зрения для создаваемого

танца, открытие, на котором и покоилась созданная мною школа. Балетная школа учила, что источник этот находится посередине спины, у основания позвоночника. «От этой оси, — говорит балетмейстер, — должны свободно двигаться руки, ноги и туловище, наподобие марионетки. В результате этого метода мы имеем механические движения, недостойные души». Я, напротив, пыталась добиться, чтобы источник духовного выражения проник во все излучины тела, наполняя его вибрирующим светом — центробежная сила, отражающая духовный взор. После долгих месяцев, когда я научилась собирать всю свою силу в этот единый центр, оказалось, что лучи и колебания слушаемой мною музыки устремлялись к этому единому ключу света внутри меня — там они отражались не в мозговых восприятиях, а в духовных, и эти духовные восприятия я могла выражать в танце. Я часто пыталась объяснить артистам эту первую главную теорию моего искусства, и Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» упоминает об этом.

Казалось бы, что словами объяснить это трудно, но когда я стояла перед классом даже самых маленьких и бедных детей и говорила: «Слушайте музыку душой! Вы слушаете? Чувствуете теперь, как глубоко внутри вас пробуждается ваше «я», что силой музыки поднимается ваша голова, движутся руки и вы медленно идете к свету?» — они понимали меня. Такое пробуждение — первый шаг в танце, как я его понимаю.

Даже самые маленькие дети отзываются на это; у них даже появляются в походке и во всех движениях духовная сила и грация, которые не могут быть ни в одном жесте, рожденном человеческим телом или созданном разумом. Вот почему совсем маленькие дети моей школы, выступая перед огромной аудиторией в «Трокадеро» или в опере «Метрополитэн», могли влиять на публику тем магнетизмом, который обычно присущ только великим артистам. Но когда дети становились старше, материализм нашей цивилизации оказывал на них противодействие — и они теряли свое вдохновение.

Особые условия моего детства и юности в большой степени развили во мне эту силу, и в разные эпохи моей жизни я могла отрешаться от внешних влияний и жить одной этой силой. И поэтому после моих трогательных попыток добиться земной любви наступила реакция, и я вернулась к этой силе.

С тех пор когда Андрэ робко и как бы извиняясь появлялся у нас, я его целыми часами угощала лекциями об искусстве танца и новой школе человеческих движений и должна сказать, что он никогда не выглядел скучающим или усталым, а слушал с милым терпением и сочувствием, пока я ему объясняла всякое вновь

открытое движение. Я тогда мечтала найти такое первое движение, от которого бы родилась серия движений, не зависящих от моей воли, но являющихся бессознательной реакцией после первого движения. Я развила это движение в целом ряде различных вариаций на несколько тем, например, за первым движением страха следовали естественные реакции, порожденные первичным душевным движением, а за грустью следовал танец жалобы и любви, из развития которого индивидуальность танцора вытекала, как струится аромат из раскрывшихся лепестков цветка.

Эти танцы, собственно говоря, не сопровождались музыкой, но словно создавались под ритм музыки беззвучной. Исходя из этих опытов я впервые пыталась изобразить прелюдии Шопена. Мне также открылась музыка Глюка. Мать никогда не уставала мне играть и бесконечное число раз повторяла «Орфея», пока заря не начинала освещать окно ателье.

В то время царицей общества была графиня Грефюль. Я получила приглашение танцевать в ее салоне, где собралась разодетая толпа, включавшая всех знаменитостей парижского общества. Графиня приветствовала меня как возрождение греческого искусства, но сама находилась под некоторым влиянием «Афродиты» Пьера Луиса и его «Песни Билитис», в то время как у меня было выражение Дорической колонны и Парфенона, когда их видишь при холодном свете Британского музея.

В своей гостиной графиня устроила маленькую сцену, фоном для которой служил трельяж, весь утыканный красными розами. Эта стена из красных роз совершенно не подходила к простоте моего хитона и религиозной выразительности танца, так как в ту эпоху, хотя я и прочла Пьера Луиса и «Песнь Билитис», «Метаморфозы» Овидия и песни Сафо, чувственное значение этих произведений от меня совершенно ускользнуло, что доказывает возможность не подвергать цензуре книги, попадающие в руки юношества. В книге всегда останется непонятным то, что не было пережито в жизни.

Я все еще была детищем американского пуританизма. Говорила ли во мне кровь бабушки и дедушки пионеров, которые в 49-м году в крытой повозке проехали через равнины, прорубая себе дорогу в девственных лесах гор Роки, и сдерживали натиск враждебных толп индейцев, сказывалась ли шотландская кровь с отцовской стороны или влияло что-нибудь другое, но Америка сформировала меня, как и большинство своей молодежи, сделав из меня пуританку, мистика и человека, стремящегося скорее к героизму, чем к чувственности. Мне кажется, что все

американские артисты сделаны из того же теста. Уолт Уитман, несмотря на то обстоятельство, что его произведения были когда-то запрещены и считались нежелательной литературой, и несмотря на частую проповедь телесных наслаждений, был в душе пуританином, как и большинство наших писателей, скульпторов и художников.

Что является виной нашего пуританства, если сравнить его с французским чувственным искусством: великая ли и суровая американская страна, широкие ли открытые пространства, по которым гуляют ветры, или просто над нами витает тень Авраама Линкольна? Можно сказать, что системой американского воспитания является сведение чувственности почти к нулю. Настоящий американец не есть искатель золота и любитель денег, как о нем говорят, но идеалист и мистик. Но я совсем не хочу сказать, что американец абсолютно лишен чувств. Наоборот, англосаксы вообще и в том числе американцы с некоторой примесью кельтской крови в решительный момент гораздо более горячи, чем итальянцы, более чувственны, чем французы, более способны на безумные излишества, чем русские. Но привычка к раннему воздержанию заключила его темперамент в железные стены, покрытые льдом, и все это прорывается в нем только когда какое-нибудь из ряда вон выходящее событие в его жизни пробивает эту непроницаемую оболочку. Можно также утверждать, что англосакс и кельт являются самыми страстными любовниками. Я знала субъектов, которые шли спать, надев на себя две пары пижам, одну шелковую для приятного ощущения, другую шерстяную для теплоты, с газетой «Таймс» и с трубкой из тернового дерева в зубах, вдруг превращались в сатиров, далеко оставляющих за собой греческих, и проявляли такие вулканические порывы страсти, которые могли бы напугать итальянца на целую неделю!

В тот вечер в доме графини Грефюль, в гостиной, переполненной роскошно одетыми женщинами, увешанными драгоценностями, я задыхалась от запаха тысячи алых роз и, чувствуя на себе взгляды золотой молодежи, сидевшей в первом ряду, так близко к сцене, что носы их почти терлись о мои ноги, была очень несчастна. Я поняла, что это провал, но на следующее утро получила любезное письмецо от графини, в котором меня благодарили и просили зайти в швейцарскую за деньгами. Мне было очень неприятно это делать, так как я была чувствительна в отношении денег, но суммой этой окупался наем ателье.

В дополнение к двум нашим главным радостям — Лувру и Национальной библиотеке — я теперь открыла третью — прелестную библиотеку при Опере. Библиотекарь ласково

заинтересовался моими розысками и предоставил в мое распоряжение все труды о танце, когда-либо написанные, так же как книги о греческой музыке и театральном искусстве. Я поставила себе целью прочесть все книги, посвященные искусству танца, с древних египтян и до наших дней. Я делала краткие заметки о прочитанном в особую тетрадь, но, закончив этот колоссальный опыт, поняла, что единственными моими учителями танцев могут быть Жан-Жак Руссо («Эмиль»), Уолт Уитман и Ницше.

В один сумрачный полдень в дверь ателье постучали. На пороге стояла женщина. Осанка ее была так величава, в ней виднелась такая могучая индивидуальность, что ее появление, казалось, было возвещено вагнеровским лейтмотивом, глубоким и сильным, роковым предвозвестником грядущего. И действительно, прозвучавший тогда мотив красной нитью прошел через всю мою жизнь, неся в своих колебаниях бурные и трагические происшествия.

— Я княгиня де Полиньяк, — объявила она, — друг графини Грефюль. Увидев ваши танцы, я заинтересовалась вашим искусством, а в особенности им заинтересовался мой муж, композитор.

У нее было красивое лицо, немного испорченное слитком массивной и выступающей нижней челюстью и мужественным подбородком. Ее лицо смело могло быть лицом римского императора, если бы выражение холодной надменности не прикрывало сладострастности глаз и черт. Когда она говорила, голос ее звучал жестко и металлически, и это удивляло, потому что по внешнему виду от нее можно было ожидать более глубоких грудных нот. Позже я догадалась, что ее холодность и тембр голоса были лишь маской, чтобы скрыть сильнейшую, несмотря на княжеское достоинство, и легко уязвимую застенчивость. Я поведала ей о своем искусстве и надеждах, и княгиня тотчас же предложила устроить в своем ателье концерт для меня. Она была художницей и, кроме того, прекрасной музыкантшей, играя и на рояле, и на органе. Княгиня, казалось, заметила бедность нашего пустого и холодного жилища и наш вид, далеко не цветущий, потому что перед своим уходом она застенчиво положила на стол конверт, в котором мы нашли две тысячи франков.

На следующий день я пошла к ней на дом, где познакомилась с князем де Полиньяк, прекрасным, талантливым музыкантом и обворожительным худощавым джентльменом, всегда носившим черную бархатную шапочку, красиво оттенявшую его нежное, словно выточенное лицо. Я надела свою тунику и танцевала ему в его концертном зале; он пришел в восхищение. Он приветствовал

меня, как видение, как сон, которого давно дожидался. Моя теория об отношении движений к звукам глубоко его заинтересовала, так же как и мои надежды на возрождение танца, как искусства, так же как и мои идеалы. Он чудесно играл на прелестных старинных клавикордах, которые любил и ласкал тонкими пальцами. Я сразу горячо оценила его, и в ответ на его восклицание «Какое очаровательное дитя! Айседора, как ты мила» я застенчиво сказала: «Я тоже вас обожаю. Я всегда хотела бы вам танцевать и создавать религиозные танцы, вдохновленные вашей чудной музыкой».

Затем мы стали обсуждать вопрос о совместной работе. Увы, как бренно все на нашей земле! Мечты о сотрудничестве с ним, которое было бы для меня так драгоценно, скоро разрушились вследствие его кончины.

Концерт у княгини был очень успешен, и вслед за ним интерес к моей работе расширился, так как г-жа де Полиньяк великодушно открыла двери своего ателье публике, не ограничиваясь одними личными друзьями. Немного погодя мы устроили в нашем ателье, которое могло вместить от двадцати до тридцати человек, ряд вечеров по записи. Князь и княгиня де Полиньяк были на всех этих вечерах, и однажды в знак одобрения князь сорвал с головы свою маленькую бархатную шапочку и, размахивая ею, закричал: «Да здравствует Айседора!»

9

Хотя мои танцы были известны многим видным лицам и ценились многими, мое финансовое положение оставалось непрочным, и нас часто мучил вопрос, чем заплатить за помещение и где достать уголь для печки, чтобы не мерзнуть. Но все же среди бедности и нужды я часами простаивала в нашем холодном неприветливом ателье, ожидая вдохновения, чтобы движением выразить свои чувства. Наконец мой дух уносился ввысь, и я отдавалась душевному порыву.

Однажды, когда я так стояла, нас посетил краснощекий господин в пальто с дорогим меховым воротником и с бриллиантовым кольцом на пальце. Он заявил:

— Я из Берлина. Мы слышали о ваших босоногих выступлениях. (Такой отзыв о моем искусстве меня, конечно, сильно задел.) Я приехал от имени крупнейшего театра-варьете, чтобы немедленно заключить с вами контракт.

Он потирал руки и сиял, будто привез мне величайшее счастье, но я спряталась в свою скорлупу, как улитка, которой сделали больно, и холодно ответила: «Благодарю вас. Я никогда не соглашусь вынести свое искусство на кафешантанные подмостки».

— Но вы не понимаете, — вскричал он, — величайшие артисты выступают у нас и получают огромные деньги! Я уже сейчас вам предлагаю пятьсот марок в месяц. Впоследствии вы будете получать больше. Вы будете рекламированы как «Первая босоножка в мире». Вы, конечно, согласны?

— Нет, конечно, нет, — отвечала я, начиная сердиться. — Не согласна ни на каких условиях.

— Но это невозможно. Я не могу считать ответом ваше «нет». У меня уже и контракт заготовлен.

— Нет, — повторила я, — мое искусство не для кафешантана. Когда-нибудь я приеду в Берлин и надеюсь танцевать под ваш оркестр Филармонии, но в Храме музыки, анев кафешантане наряду с акробатами и дрессированными животными. Какой ужас! Боже мой! Нет, ни под каким видом. Всего хорошего. До свидания.

Немецкий импресарио не верил своим ушам, глядя на нашу обстановку и обтрепанную одежду. Он вернулся в ближайший день и в последующий и наконец предложил мне ангажемент на месяц по тысяче марок в вечер. Получив отказ, он очень рассердился и назвал меня «глупой девчонкой», после чего я на него накричала и сказала, что я приехала в Европу, чтобы

возродить религию через танец, чтобы научить познанию Красоты и Святости человеческого тела при помощи движений, а не танцевать ради послеобеденного развлечения объевшихся мещан.

— Уходите, пожалуйста! Уходите!

— Вы отказываетесь от тысячи марок в вечер? — захлебнулся он.

— Безусловно! — строго возразила я. — И отказалась бы от десяти тысяч, от ста тысяч. Я ищу того, что вы не можете понять.

Когда он уходил, я добавила:

— Когда-нибудь я приеду в Берлин и буду танцевать соотечественникам Гете и Вагнера, но в театре, достойном их, и, вероятно, за сумму, большую, чем тысяча марок.

Мое предсказание сбылось, так как три года спустя этот же самый импресарио любезно принес мне в уборную цветы, когда я танцевала в опере Крола под аккомпанемент берлинского оркестра Филармонии и места были распроданы за сумму, превышающую двадцать пять тысяч марок. Он признал, что был неправ, и дружески прибавил: «Вы были правы, сударыня. Разрешите поцеловать вам ручку».

Но тем временем мы испытывали сильный недостаток в средствах. Ни лестные отзывы принцев, ни моя растущая слава не были способны нас кормить. Наше ателье часто посещала маленькая дама, похожая на египетскую принцессу, хотя и родившаяся где-то на западе от гор Роки. Через всю свою длинную и славную деятельность она пронесла имя родного штата. Пела она, как чаровница. Я стала замечать, что под дверью по утрам появлялись маленькие, надушенные фиалками записки, после чего Раймонд незаметно исчезал. Он не имел привычки гулять перед завтраком, и я, сопоставив эти два факта, вывела соответствующие заключения. И вдруг в один прекрасный день Раймонд заявил, что приглашен участвовать в концертном турне по Америке.

Мать и я остались одни в Париже. Она чувствовала себя нехорошо, и мы переехали в маленькую гостиницу на улице Маргерит, где она, по крайней мере, могла спать на кровати, не подвергаясь опасности простудиться от холодного пола, и питаться регулярно, так как комната была с пансионом.

Здесь я заметила пару, которая всюду привлекла бы общее внимание. Она — тридцатилетняя женщина необыкновенной наружности, с огромными глазами, самыми странными, которые я когда-либо видела, глазами нежными, глубокими, притягательными, магнетическими, пылающими страстью ивто же время покорными, как у ньюфаундлендской собаки. У нее были каштановые волосы с рыжеватым отливом, пламенем

обрамлявшие ее лицо, и в каждом движении сквозил призыв любви. Мне еще пришло в голову, что смотреть в ее глаза — то же, что заглянуть в кратер вулкана. Он был строен, с благородным лбом и лицом, немного усталым для такого молодого человека. С ними всюду показывался еще один господин, и это трио всегда бывало поглощено таким оживлением, значительным разговором, что, казалось, они ни на минуту не были способны чувствовать скуку или усталость обыкновенных людей. Их как будто беспрестанно пожирал внутренний огонь: его — огонь разума и чистой красоты, ее же — огонь страстной женщины, всегда готовой в нем погибнуть. Только у их спутника проскальзывало что-то более томное, что-то от постоянного чувственного наслаждения жизнью.

Однажды утром молодая женщина подошла к моему столику и сказала: «Это мой друг, Анри Батайль, а это Жан Лоррен, который писал о вашем искусстве, я же Берта Бади. Если вы согласитесь нам потанцевать, мы бы зашли как-нибудь вечером к вам».

Конечно, я затрепетала от восторга. Ни до того, ни впоследствии мне не приходилось слышать голоса такой магической теплоты, дрожащего от страсти и жажды жизни, как голос Берты Бади. Как я преклонялась перед ее красотой! В те времена, когда женские моды были так некрасивы, она всегда появлялась одетая в чудесные платья нежных полутонов, удивительно облегающие тело.

Раз я ее видела в таком платье, с короной из алых цветов на голове. Она ехала на какой-то раут, где должна была читать поэмы Батайля. Я подумала тогда, что ни у одного поэта не было музы более прекрасной.

Они часто стали заходить к нам, и раз Батайль даже читал свои произведения. Так случилось, что я, маленькая необразованная американская девушка, каким-то таинственным образом нашла ключ, открывший мне сердца и разум избранного интеллектуального и артистического Парижа, того Парижа, который в наши дни и в нашем мире является тем, чем были Афины в эпоху расцвета Древней Греции.

У Раймонда и у меня вошло в привычку совершать длинные прогулки по Парижу. Странствуя, мы как-то забрели в «Трокадеро». Наш взор упал на афишу, объявляющую о выступлении Муне-Сюлли, игравшего вечером в «Эдипе-царе» Софокла. Имя Муне-Сюлли было еще нам неизвестно, но трагедию посмотреть хотелось. Взглянув на цены, указанные в конце афиши, мы проверили содержимое кошельков. У нас было ровно три франка, а самые дешевые места, в райке, стоили

семьдесят пять сантимов. Идти — значило оставаться без обеда, но мы все-таки поднялись наверх и вошли в места для стояния.

Занавес не был спущен, и постановка была слабым подражанием тому, что некоторые наши современники считают греческим искусством. Появился хор, убого одетый в костюмы, заимствованные из некоторых книг о греческих одеждах. Посредственная музыка, слащавая, бессодержательная мелодия, доносилась из оркестра. Раймонд и я переглянулись. Мы почувствовали, что потеря обеда была бесполезной жертвой, когда вдруг из галереи, изображавшей дворец, появилась фигура.

Как описать волнение, охватившее нас при первых звуках этого голоса? Сомневаюсь, чтобы в лучшие дни величия Греции, театра Диониса, времени Софокла, в Риме или в любой иной стране когда-либо существовал такой голос. И с этого мгновения фигура и голос Муне-Сюлли все росли и охватывали все больше слов, движений и искусства, достигая такой величины и полноты, что «Трокадеро» со всей его шириной и высотой оказался слишком мал, чтобы вместить этого исполина искусства. У нас с Раймондом в нашем райке занялось дыхание. Мы побледнели. Нам становилось дурно. Слезы лились из глаз, и после окончания первого действия мы могли только обнимать друг друга в каком-то восторженном бреду. Наступил антракт, во время которого мы решили, что это апофеоз наших странствий, то, ради чего мы приехали за границу.

Началось второе действие, и великая трагедия развернулась перед нами. Муне-Сюлли стал танцевать. Наконец-то я увидела то, о чем мечтала — великую греческую фигуру, двигающуюся в танце. Снова антракт. Я взглянула на Раймонда. Он был бледен, и глаза его горели. Мы с трудом держались на ногах. Третье действие. Описать его невозможно. Только те, кто его видел, кто видел великого Мунэ-Сюлли, могут нас понять.

Раймонд и я так медленно и неохотно спускались по длинной лестнице, что сторожа в конце концов должны были нас попросить уйти. Я понимала, что сегодня мне открылось истинное искусство. Путь мой стал мне ясен. Мы шли домой пьяные от вдохновения и несколько недель жили под впечатлением виденного. Как далека я была тогда от мысли, что когда-нибудь буду стоять на этой самой сцене рядом с великим Муне-Сюлли!

* * *

С тех пор как я посмотрела на выставке скульптуры Родена,

мысль о гениальности Родена меня преследовала. Однажды я отправилась в его мастерскую на улице Юниверсити. Мое паломничество к Родену напоминало посещение бога Пана Психеей, с той только разницей, что я хотела узнать дорогу к Аполлону, анек Эросу.

Роден был человек невысокого роста, коренастый, с коротко подстриженными волосами на голове и густой бородой. Он показал мне свои произведения с простотой, присущей истинно великим. Иногда он тихо произносил название той или иной статуи, но чувствовалось, что имена для него не имеют значения. Скульптор проводил руками по своим творениям, словно лаская их, и мне подумалось, что под резцом мастера мрамор льется подобно жидкому олову. Наконец он взял кусок глины и стал мять его в руках, порывисто дыша. От него излучалось тепло, точно от раскаленного горна. В несколько секунд он создал грудь женщины, которая, казалось, трепетала под его пальцами.

Он взял меня за руку, вывел на улицу, усадил в экипаж и повез ко мне в ателье. Тамя быстро переоделась в свой хитон и протанцевала ему идиллию Феокрита. Затем я стала ему излагать свои теории нового танца, но скоро заметила, что он не слушает. Он смотрел на меня горячим взором из-под опущенных век и подошел ко мне с тем же выражением лица, с каким приближался к своим творениям. Он стал гладить мои плечи и водить руками по шее, груди, бедрам и обнаженным ногам. Он начал мять все мое тело, точно глину, опаляя меня жаром, от которого я словно таяла. Единственным моим желанием было отдать ему все свое существо, и я бы это сделала, если бы не мое нелепое воспитание, которое заставило меня отстраниться, накинуть платье на хитон и оставить его в недоумении. Какая досада! Как часто я впоследствии жалела, что мои детские заблуждения помешали мне отдать детство самому великому богу Пану, могучему Родену. Безусловно, и Искусство, и вся Жизнь обогатились бы от этого!

Я встретилась вновь с Роденом два года спустя, когда вернулась из Берлина в Париж. Много лет затем он был моим другом и учителем.

Совсем иной, но не менее приятной была встреча с другим великим артистом Эженом Карьером. Меня повела к нему в ателье жена писателя Кейзера, которая часто жалела наше одиночество и приглашала нас к своему семейному столу, где так хорошо подходили друг к другу сидевшие при уютном свете лампы ее маленькая дочь, учившаяся играть на скрипке, и талантливый сын Луи, теперь известный молодой композитор. На стене я заметила обворожительную, странную и печальную

картину. Г-жа Кейзер сказала: «Это мой портрет, написанный Карьером».

В один прекрасный день она меня повела в его дом, на улице Эжезипп Моро. Мы поднялись в верхний этаж, где Карьер жил, окруженный книгами, семьей и друзьями. В нем был заложен могучий дух, сильнее которого я не встречала: Разум и Свет. Он излучал величайшую нежность ко всему живущему. Вся чудесная красота и сила его картин была просто прямым отражением совершеннейшей души художника. В его присутствии я чувствовала себя так, как, должно быть, чувствовала бы себя в присутствии Христа. Я была полна таким благоговением, что хотела опуститься на колени и опустилась бы, не будь я так робка и сдержанна по натуре.

Годы спустя г-жа Порска, описывая эту встречу, вспоминает: «Айседора стояла между славным Мастером и его другом, скромным Мечниковым из института Пастера. Она казалась еще скромнее, чем они, за исключением разве Лилиан Гиш; я никогда не видела американской девушки, которая бы выглядела такой застенчивой, как она в тот день. Взяв меня за руку, как берут ребенка, когда хотят подвести его к чему-нибудь достойному поклонения, Эжен Карьер сказал, в то время как я не спускала с нее глаз: «Это Айседора Дункан». И замолчал, чтобы все могли осознать это имя».

Внезапно Карьер, который всегда говорил очень тихо, возгласил сильным, громким голосом: «Эта юная американка революционизирует мир!»

Я никогда не могу пройти в Люксембурге мимо картины Карьера, изображающей его семью, без того, чтобы не заплакать, вспомнив ателье, где я вскоре стала частым гостем. Одним из самых приятных воспоминаний моей юности является то, что семья эта приняла меня в свою среду как друга и открыла мне свои сердца. Часто впоследствии, когда я начинала в себе сомневаться, я думала о том, как меня у них приласкали, и уверенность возвращалась ко мне. Всю мою жизнь осеняет, как бы благословляя, гений Эжена Карьера, побуждая меня держаться высших идеалов и призывая к чистому исканию в святых тайниках Искусства. Поразительно то, что когда горе почти привело меня в дом умалишенных, работа Карьера бок о бок со мной вдохнула в меня новую веру в жизнь.

10

Однажды вечером ко мне пришла Лои Фуллер. Конечно, я ей протанцевала и изложила свои взгляды, как делала перед каждым и, мне кажется, сделала бы даже перед водопроводчиком, если бы он ко мне зашел. Лои Фуллер выразила свое восхищение и, сообщив, что завтра уезжает в Берлин, предложила мне туда за ней последовать. Она была не только сама замечательной артисткой, но и импресарио Сада Якко, перед искусством которой я так благоговела. Она предложила мне выступать вместе с Сада Якко в Германии, на что я с радостью согласилась. Таким образом, было решено, что я присоединюсь к Лои Фуллер в Берлине.

В день моего отъезда Андрэ Бонье зашел со мной проститься. Мы в последний раз совершили паломничество к собору Парижской Богоматери, а потом он меня проводил на вокзал. На прощание он меня поцеловал со своей обычной сдержанностью, но мне показалось, что под стеклами его очков мелькнуло выражение тоски.

В Берлине я поехала в гостиницу «Бристоль», где в великолепном помещении нашла Лои Фуллер, окруженную своей свитой. Около десятка красивых молодых девушек толпились вокруг артистки и попеременно целовали ее и гладили ей руки. В нашем простом быту мать редко ласкала нас, хотя, конечно, горячо любила, и поэтому я была поражена при виде такого преувеличенного выражения привязанности. Тут царствовала теплота, которой я еще нигде не встречала.

Доброта Лои Фуллер не имела пределов. Она позвонила и заказала такой роскошный обед, что я даже не представляла себе, сколько он может стоить. Ей предстояло в тот же вечер выступать в «Винтергартене», но, глядя на нее, я недоумевала, как она появится перед публикой, до того сильные страдания причиняли ей боли в спине. Ее очаровательная свита время от времени приносила мешки со льдом, которые клались между спиной артистки и спинкой стула. «Еще один мешочек, душечка, — говорила она, — это действительно успокаивает боль».

Вечером мы все сидели в ложе и смотрели, как танцует Лои Фуллер. Неужели порхавшее перед нами ослепительное видение было той бедной больной, которую мы видели несколькими минутами раньше? Я вернулась в гостиницу, ослепленная и захваченная этой удивительной артисткой.

На следующее утро я в первый раз отправилась осматривать Берлин. Вначале на меня, уже мечтавшую о Греции и греческом

искусстве, архитектура Берлина произвела минутное впечатление.

— Ведь это Греция! — воскликнула я.

Но, присмотревшись поближе, я поняла, что Берлин на Грецию не похож. Это был северный оттиск Греции. Эти колонны не были дорическими колоннами, возносящимися к небесам олимпийской синевы. Нет, эти колонны созданы германским педантическим, научно-археологическим пониманием Греции. И когда я увидела императорско-королевскую гвардию, выходящую гусиным шагом из-под дорических колонн Потсдамской площади, я вернулась домой в «Бристоль» и сказала: «Принесите мне стакан пива. Я устала».

Мы провели несколько дней в Берлине, а затем покинули гостиницу «Бристоль», чтобы последовать в Лейпциг за труппой Лои Фуллер. Мы должны были уехать без багажа, и далее скромный сундук, привезенный мною из Парижа, был брошен вместе с остальными. В те времена я не могла понять, как это случилось с артисткой варьете, пользовавшейся таким успехом. После роскошной жизни, обедов с шампанским и великолепных апартаментов в гостинице для меня оставалось неясно, почему нас заставили уехать без багажа. Позже я узнала, что всему виной была Сада Якко, антрепренершей которой являлась Лои Фуллер. Сада Якко не делала сборов, и заработок Лои Фуллер шел на покрытие дефицита.

В Лейпциге, как и в Берлине, я каждый вечер из ложи восхищалась Лои Фуллер и все больше и больше поражалась ее удивительному таланту, который казался не от мира сего. Поразительное создание! Она иногда словно становилась прозрачной, светлой, разноцветной и яркой, как огонь, а порой растворялась в спирали пламени, уносившейся в бесконечность.

Из Мюнхена мы решили перебраться в Вену, но средств на переезд снова не было, и так как казалось совершенно невозможным их достать, я предложила пойти к американскому консулу и попросить у него помощи. Я ему сказала, что он должен нам достать билеты в Вену, и только благодаря моим уговорам удалось их получить. Приехав туда, мы остановились в гостинице «Бристоль», где нам отвели роскошное помещение, несмотря на то, что вещей с нами почти не было. К этому времени я, все еще продолжая восторгаться искусством Лои Фуллер, начала задаваться вопросом, почему я, собственно говоря, покинула мать одну в Париже и какую играю роль в этой толпе красивых, но взбалмошных женщин, так как я, в сущности, была лишь беспомощным зрителем драматических событий, разыгрывающихся по пути.

В Вене, в гостинице «Бристоль», меня поместили в одной комнате с рыжеволосой девушкой, называемой Нянюшкой, за ее всегдашнюю готовность приласкать и полечить всякого, у кого болела голова. Как-то около четырех часов утра Нянюшка встала, зажгла свечу и, подойдя к моей кровати, объявила: «Бог мне приказал тебя задушить!»

Мне приходилось слышать, что никогда не следует перечить помешанному, если его охватит внезапный припадок сумасшествия. Несмотря на испытываемый страх, мне удалось взять себя в руки настолько, чтобы ответить: «Хорошо. Только сперва дай мне помолиться!»

— Молись, — согласилась она и поставила подсвечник на столик около моей кровати.

Я соскочила с кровати, распахнула дверь и, словно преследуемая самим сатаной, как была в ночной рубашке и с волосами, рассыпавшимися по плечам, бросилась бежать вдоль длинных коридоров, вниз по широкой лестнице, прямо в контору гостиницы, где стала громко кричать: «Там помешалась дама!»

Нянюшка мчалась следом за мной, но шесть человек из гостиничной прислуги набросились на нее и держали, пока не появились доктора. Осмотр ими рыжеволосой девушки дал очень неприятные для меня результаты, и я решила телеграфировать матери в Париж с просьбой немедленно приехать, что она и исполнила. После того как я ей рассказала о своих переживаниях, мы решили уехать из Вены.

Как-то, пока я еще была в Вене с Лои Фуллер, мне случилось танцевать в Кишйегйаш на вечере для артистов. Многие подходили ко мне с букетами красных роз, и, танцуя Вакханалию, я была совершенно покрыта цветами. Там, между прочим, присутствовал венгерский импресарио Александр Гросс. Он ко мне обратился, говоря: «Если хотите составить себе блестящую будущность, приходите ко мне в Будапеште».

И вот, смертельно запутанная средой, в которую попала, и охваченная одним желанием бежать из Вены с матерью, я, естественно, вспомнила предложение г. Гросса и поехала в Будапешт в надежде найти лучшее будущее. Он представил мне контракт на тридцать самостоятельных вечерних выступлений в театре «Урания».

Это был мой первый контракт, по которому мне приходилось танцевать перед публикой в театре, и я заколебалась. «Мои танцы для избранных, — сказала я, — для артистов, скульпторов, художников и музыкантов, но не для толпы». Александр Гросс протестовал, говоря, что артисты являются самыми взыскательными критиками и что если мои танцы нравятся им то,

безусловно, понравятся и широкой публике.

Меня уговорили подписать контракт, и пророчество Александра Гросса исполнилось. Первое выступление в «Урании» прошло с неописуемым успехом. Я танцевала в Будапеште тридцать вечеров при полных сборах.

Ах, Будапешт! Стоял апрель месяц, была весна. Как-то вечером, вскоре после первого выступления, Александр Гросс пригласил нас ужинать в ресторан, где играла цыганская музыка. Ах, цыганская музыка! Тут впервые пробудилась моя юная чувственность. Что удивительного в том, что под эту музыку мои дремавшие чувства раскрылись, как цветы. Есть ли что-либо подобное ей, этой цыганской музыке, рожденной землей Венгрии?

11

Дивный город Будапешт был весь в цвету. На холмах по ту сторону реки в каждом саду цвела сирень. Каждый вечер темпераментная венгерская публика бешено меня приветствовала, бросая на сцену шапки с громкими криками: «Eljen!»

Однажды вечером, под впечатлением виденной утром картины блещущей и переливающейся на солнце реки, я послала предупредить дирижера и в конце спектакля импровизировала «Голубой Дунай» Штрауса. Эффект получился подобный электрическому разряду. Вся публика в неистовом восторге вскочила с мест, и я должна была много раз повторить вальс, прежде чем театр перестал походить на дом умалишенных.

В тот вечер в бесновавшейся толпе находился молодой венгр с божественными чертами лица и стройной фигурой, которому было суждено превратить целомудренную нимфу, какой я была, в пылкую и беспечную вакханку. Все способствовало перемене: весна, мягкие лунные ночи, воздух, насыщенный сладким запахом сирени. Дикий восторг публики, мои ужины в обществе совершенно беззаботных, чувственных людей, цыганская музыка, венгерский гуляш, приправленный паприкой, тяжелые венгерские вина, то, что впервые за мою жизнь я ела обильную, возбуждающую пищу, — все пробуждало сознание, что мое тело не только инструмент, выражающий священную гармонию музыки. Мои маленькие груди стали незаметно наливаться, смущая меня приятными и удивительными ощущениями. Бедра, напоминавшие еще недавно бедра мальчика, начали округляться, и по всему моему существу разлилось одно огромное, волнующее, настойчивое желание, в смысле которого нельзя было ошибиться. По ночам меня мучила бессонница, и я металась в постели в горячечном, мучительном томлении.

Как-то за дружеской беседой над стаканом золотого токайского вина мои глаза встретились с парой больших темных глаз, сиявших таким пылким обожанием и горевших такой чисто венгерской страстью, что в одном их взгляде открывалось все значение будапештской весны. Они принадлежали высокому, великолепно сложенному венгру, голова которого была покрыта густыми, роскошными, черными кудрями с золотым отливом. С него смело мог бы быть вылеплен «Давид» Микеланджело. Когда он улыбался, между красными чувственными губами блестел ряд крепких белых зубов. С первого взгляда нас охватило безумное влечение друг к другу. Одного этого взгляда оказалось

достаточно, чтобы нас бросить в объятия, и казалось, что никакая земная сила не могла бы помешать нашему соединению.

— Ваше лицо — цветок Вы — мой цветок, — говорил он и снова без конца повторял: — Мой цветок, мой цветок, — что по-венгерски означает ангел.

Он дал мне небольшой квадратик бумаги, на котором было написано: «Ложа в Королевском национальном театре», и в тот же вечер мы вдвоем с матерью отправились посмотреть на него в роли Ромео. Прекрасный артист, он впоследствии стал венгерской знаменитостью. Его передача юношеской пылкости Ромео меня окончательно покорила. Я прошла к нему в уборную и обратила внимание на странные улыбки, с которыми на меня глядели другие артисты. Они, казалось, уже были посвящены в мои тайны, и все радовались моему счастью, за исключением одной артистки, не выражавшей ни малейшего удовольствия. Артисты никогда не обедают перед представлением, и поэтому, проводив нас в гостиницу, он поужинал вместе со мной и с моей матерью.

Немного позже, убедившись, что мать считает меня спящей, я вышла и встретилась с Ромео в нашей гостиной, которую длинный коридор отделял от спальни. Здесь он мне рассказал, что сегодня изменил мнение о том, как следует играть Ромео. «С той минуты, как встретил вас, я знаю, насколько любовь должна была изменить голос Ромео. Я узнал это только теперь, Айседора, вы первая меня научили тому, что должен был испытывать Ромео. Теперь я все буду играть иначе». И, поднявшись с места, он стал мне читать всю роль, сцену за сценой, часто приостанавливаясь, чтобы сказать: «Да! Я прозрел. Я понимаю, что если Ромео искренно любил, он произносил эти слова таким образом, совсем иначе, чем я себе представлял, когда взялся за роль. Теперь я наконец знаю. О… обожаемая девушка, похожая на прекрасный цветок, вы меня вдохновили. Благодаря любви я стану действительно великим артистом». И он мне декламировал роль Ромео, пока заря не занялась за окном.

С замиранием сердца я следила за ним и слушала, изредка даже решаясь подавать реплики или указать подходящий жест. В сцене же перед монахом мы оба стали на колени и поклялись в верности до гроба. Ах, молодость и весна! Будапешт и Ромео! Когда я все это вспоминаю, мне оно не кажется таким далеким, а словно случившимся вчера.

Однажды вечером после наших выступлений я пошла с ним в гостиную, скрыв это от матери, уверенной, что я сплю. Сначала Ромео казался счастливым и вполне удовлетворенным чтением своих ролей и замечаниями об искусстве и театре, а я радовалась,

прислушиваясь к его словам, но постепенно я увидела, что он чем-то взволнован и, точно страдая, временами вдруг замолкает. Он сжимал кулаки и казался больным настолько, что иногда его прекрасное лицо подергивалось судорогой, глаза казались воспаленными, а губы, которые он кусал до крови, сильно вспухшими.

Я также чувствовала себя больной, у меня кружилась голова, и во мне поднималось желание, которому трудно было противиться, желание все ближе и ближе прижиматься к нему. Наконец, потеряв всякое самообладание и словно охваченный безумием, он поднял меня и понес в спальню. Когда мне стало ясно, что со мной происходит, меня охватил испуг, смешанный с восторгом. Сознаюсь, что первым впечатлением моим был отчаянный страх, но затем страшная жалость к его страданиям помешала мне бежать от того, что сперва было сплошным мучением.

Ранним утром мы вдвоем покинули гостиницу и, наняв одну из редких парных колясок, которую можно было найти на улице в такое время, уехали за несколько миль от города. Мы остановились в крестьянской избе, где жена хозяина нам предоставила комнату со старинной двуспальной кроватью. Целый день мы провели в деревне, причем Ромео не раз пришлось успокаивать мои крики и осушать мои слезы.

Боюсь, что в этот вечер мое выступление было очень неудачным, так как чувствовала я себя глубоко несчастной, но когда после него я встретила Ромео в нашей гостиной, он оказался в таком блаженном состоянии радости, что я была вполне вознаграждена за свои страдания и только желала начать все сначала. Он постарался меня убедить, что в конце концов я узнаю рай на земле, и действительно, его предсказание скоро исполнилось.

У Ромео был чудный голос; он пел мне цыганские песни и песни своей страны и учил их словам и значению. Александр Гросс устроил мне парадный спектакль в Будапештской опере.

Этим спектаклем закончился будапештский сезон, и на следующий день Ромео и я скрылись на несколько дней в деревню, где жили в крестьянской избе. Мы впервые узнали счастье провести целую ночь в объятиях друг у друга, а утром, проснувшись на заре, я испытала невыразимую радость видеть свои волосы, спутавшимися с его черными душистыми кудрями, и чувствовать его руки вокруг своего тела. Мы вернулись в Будапешт, и первым облаком на нашем небе было горе моей матери и возвращение из Нью-Йорка Елизаветы, которая, казалось, считала, что я совершила преступление. Обе так

невыносимо волновались, что я их убедила отправиться в маленькое путешествие по Тиролю.

Тогда, как и позже, я убедилась, что как бы ни были сильны ощущение или страсть, мой рассудок всегда работал с молниеносной и изощренной быстротой. Поэтому я никогда не теряла голову, наоборот, чем острее было чувственное наслаждение, тем ярче работала мысль, и когда она достигала такого напряжения, что разум начинал непосредственно критиковать чувства, заставляя разочаровываться в удовольствиях, которых требовала жажда жизни, и даже оскорбляя их, столкновение становилось настолько резким, что вызывало стремление воли усыпить себя, чтобы притупить бесконечные нежелательные вмешательства рассудка. Как я завидую тем натурам, которые способны целиком отдаваться сладострастию минуты, не боясь сидящего наверху критика, который стремится к разъединению и настойчиво навязывает свою точку зрения, когда его не просят, чувствам, которые бушуют внизу.

И все же наступает мгновение, когда рассудок кричит, сдаваясь: «Да! Я признаю, что все в жизни, включая и твое искусство, призрачно и глупо по сравнению с сиянием этой минуты, и ради нее я охотно отдаюсь разврату, уничтожению, смерти». Это поражение рассудка является последней конвульсией и опусканием в ничто, ведущее разум и дух к серьезнейшим бедствиям.

Итак, познав желание, постепенное приближение высшей точки безумия этих часов, безумный и окончательный порыв последней минуты, я уже не беспокоилась о возможной гибели моего искусства, об отчаянии матери и о крушении мира вообще. Пусть судит меня тот, кто может, но скорей пусть винит Природу или Бога за то, что Он сотворил эту минуту более ценной и более желанной, чем все остальное во Вселенной, что мы с нашими познаниями можем пережить. И понятно, что чем выше взлет, тем сильнее падение при пробуждении.

Александр Гросс устроил мне турне по Венгрии. Я давала спектакли во многих городах, в том числе в Зибенкирхен, где произвел на меня сильное впечатление рассказ о семи повешенных революционных генералах. На большой открытой поляне за чертой города я создала «Марш» в честь этих генералов под героическую и мрачную музыку Листа.

В течение всей поездки по этим маленьким венгерским городам публика устраивала мне восторженные овации. В каждом городе по распоряжению Александра Гросса меня ожидала коляска, запряженная белыми лошадьми и полная белых цветов.

Я садилась в нее и ехала по всему городу под крики и приветствия толпы, словно молодая богиня, спустившаяся из другого мира. Несмотря на блаженство, которое давало мне искусство, несмотря на поклонение толпы, я постоянно страдала от желания увидеть моего Ромео, особенно по ночам, когда оставалась одна. Я чувствовала себя готовой отдать весь свой успех и даже свое искусство ради того, чтобы на одну минуту быть снова в его объятиях, и я страдала, ожидая дня возвращения в Будапешт. Этот день наступил. Ромео встретил меня на вокзале. Его пылкая радость была несомненна, но я заметила в нем странную перемену. Он мне сообщил, что собирается выступить в роли Марка Антония и уже приступил к репетициям. Неужели перемена роли могла так повлиять на этот сильный артистический темперамент? Не знаю, но только знаю, что первая наивная страсть и любовь моего Ромео изменилась. Он говорил о нашей свадьбе как о чем-то окончательно решенном и даже повел меня смотреть квартиры, чтобы решить, где нам поселиться. Осматривая квартиры с кухнями, но без ванн, и поднимаясь по бесконечным лестницам, я была охвачена холодом и почувствовала какую-то тяжесть.

— Что мы будем делать, живя в Будапеште? — спросила я.

— У тебя каждый вечер будет ложа, — ответил он, — и ты будешь ходить смотреть мою игру. Ты научишься подавать мне реплики и поможешь работать.

Он читал мне роль Марка Антония, но теперь весь его интерес сосредоточился на римском народе, а я, его Джульетта, отошла на второй план.

Однажды во время длинной загородной прогулки, сидя возле стога с сеном, он спросил меня, не думаю ли я, что лучше было бы продолжать мою карьеру и предоставить ему заниматься своей. Это не были его буквальные слова, но смысл был таков. Как сейчас помню стог сена, луг, расстилавшийся перед нами, и холодную тоску, сжавшую сердце. В тот же день я подписала контракт с Александром Гроссом в Вену, Берлин и другие города Германии.

Я присутствовала на дебюте Ромео в роли Марка Антония. У меня живо остался в памяти безумный восторг зрительного зала, в то время как я сидела в ложе, глотая слезы и чувствуя себя, будто я проглотила толченое стекло. На следующий день я покинула Вену. Ромео исчез. Я простилась с Марком Антонием, который казался таким строгим и занятым другим, что дорога из Будапешта в Вену принадлежит к самым горьким и грустным моим воспоминаниям. Всякая радость, казалось, покинула Вселенную. В Вене я заболела, и Александр Гросс меня поместил

в клинику.

Я провела несколько недель в полном упадке сил и ужасных мучениях. Ромео приехал из Будапешта и даже поместился в моей комнате. Он был нежен и внимателен, но как-то утром, проснувшись на заре, я увидела лицо сестры, католической монахини, одетой в черное, заслонявшее от меня Ромео, который лежал на кровати в другом конце комнаты, и мне послышался погребальный колокол на похоронах Любви.

Я поправлялась очень медленно, и Александр Гросс повез меня в Франценсбад, чтобы ускорить мое выздоровление. Я была вялая и грустная и не интересовалась ни красивой местностью, ни добрыми друзьями, собравшимися вокруг меня. Приехала жена Гросса и нежно за мной ухаживала, когда я страдала бессонницей. Вероятно, на мое счастье, дорого стоящие доктора и сиделки истощили наш текущий счет, и Гросс устроил мне выступления в Франценсбаде, Мариенбаде и Карлсбаде. Таким образом, в один прекрасный день я снова открыла сундук и вынула танцевальные наряды. Помню, что я расплакалась, целуя свою маленькую красную тунику, в которой танцевала революционные танцы, и поклялась не покидать больше искусства ради любви. К этому времени мое имя приобрело в стране магическое значение, и однажды вечером, когда я обедала в обществе своего импресарио и его жены, собравшаяся толпа так напирала на большое зеркальное стекло в окне ресторана, что к великому огорчению хозяина гостиницы разбила его.

Печаль, страдания и разочарования, доставляемые любовью, я воплощала в искусстве. Я создала рассказ об Ифигении, об ее прощании с жизнью на алтаре смерти. Наконец Александр Гросс устроил мне выступление в Мюнхене, где я съехалась с матерью и Элизабет, которые радовались, видя меня в одиночестве, хотя и нашли, что я изменилась и стала грустна.

Перед моим спектаклем в Мюнхене Элизабет и я съездили в Аббацию, где долго катались по улицам, стараясь найти пристанище в гостинице. Мы так и не нашли его, но привлекли к себе внимание всего мирного городка, и, между прочим, нас заметил проезжавший мимо эрцгерцог Фердинанд. Он заинтересовался нами и любезно приветствовал. В конце концов он пригласил нас остановиться у него в вилле в саду гостиницы «Стефани». Весь эпизод носил совершенно невинный характер, но вызвал громадный скандал в придворных кругах. Знатные дамы, которые вскоре начали нас навещать, вовсе не интересовались моим искусством, как я тогда наивно предполагала, а просто хотели выяснить нашу истинную роль в доме эрцгерцога. Те же дамы по вечерам низко приседали перед обедавшим эрцгерцогом

в столовой гостиницы, и я, следуя обычаю, приседала еще ниже, чем они могли это делать.

Именно тогда я ввела купальный костюм, который успел с тех пор завоевать общее признание; он состоял из светло-голубой туники, тонкого крепдешина, с глубоким вырезом, узкими перехватами на плечах, с юбкой чуть выше колен и голыми ногами. Вы легко себе представите, какую я произвела сенсацию, если вспомните, что дамы имели тогда обыкновение купаться строго одетые в черное, в юбках ниже колен, черных чулках и черных купальных туфлях. Эрцгерцог Фердинанд прогуливался по купальным мосткам, рассматривал меня в бинокль и громко шептал: «Ах, как хороша эта Дункан! Как чудно хороша! Весна не так хороша, как она…»

Несколько времени спустя, когда я танцевала в Вене, в Кардовском театре, эрцгерцог, окруженный красивыми молодыми офицерами и адъютантами, каждый вечер появлялся в литерной ложе. Естественно, что люди перешептывались, но интерес эрцгерцога ко мне был чисто эстетическим, как к артистке. Он вообще, кажется, избегал общества прекрасного пола и был вполне удовлетворен своим окружением из красивых молодых офицеров. Немного позже я очень сочувствовала Фердинанду, узнав, что австрийский двор постановил заточить его в мрачный замок в Зальцбурге. Возможно, что он немного отличался от других, но разве бывают действительно симпатичные люди без заскока?

Из Аббации мы с Элизабет поехали в Мюнхен. В те времена вся жизнь Мюнхена сосредоточивалась около Kunstlerhaus`a, где группа художников, Карлбах, Лембах, Штук и другие, собирались по вечерам за кружкой доброго мюнхенского пива, чтобы поговорить о философии и искусстве. Гросс хотел, чтобы я выступала в Kunstlerhaus`e. Лембах и Карлбах охотно соглашались, и только Штук утверждал, что танцы не подходят к такому Храму Искусства, каким являлся мюнхенский Kunstlerhaus. Как-то утром я пошла на дом к Штуку, чтобы убедить его в ценности моего искусства. В его ателье я сняла платье, надела тунику и протанцевала ему, а потом я безостановочно в течение четырех часов убеждала его в святости моего призвания и в том, что танцы могут быть искусством. Позже он часто говаривал своим друзьям, что никогда в жизни не был так удивлен, рассказывая, что ему казалось, будто Дриада с Олимпа, из другого мира, внезапно появилась перед ним. Он, конечно, согласился, и мой дебют в мюнхенском Kunstlerhaus`e был величайшим артистическим событием, которое город видел за много лет.

Затем я танцевала в зале «Каим». Студенты почти лишились рассудка. Каждый вечер они выпрягали лошадей из коляски и везли меня по улицам, сопровождая с зажженными факелами мою викторию и распевая студенческие песни. Часто они часами простаивали под окном гостиницы и пели в ожидании того, что я им брошу свои цветы и носовые платки, которые они потом делили между собой и уносили, прикрепив к шапкам.

Однажды вечером они увезли меня в свое студенческое кафе, где переносили во время танцев с одного столика на другой. Они пели всю ночь, постоянно повторяя припев: «Айседора, Айседора, как прекрасна наша жизнь».

Мюнхен был в те годы настоящим ульем артистической и интеллектуальной деятельности. На улицах толпились студенты. Каждая девушка имела в руках портфель или связку нот. Витрины магазинов представляли собой сокровищницы, полные редких книг, старинных гравюр и заманчивых новых изданий. Это в соединении с удивительными музейными коллекциями, со свежим осенним воздухом, которым дышали солнечные горы, с посещениями мастерской среброволосого Лембаха, с постоянным общением с философами, вроде Карвельгорна и других, побудило меня вернуться к нарушенному интеллектуальному и духовному пониманию жизни Я начала изучать немецкий язык, читать Шопенгауэра и Канта в оригинале и скоро могла с громадным удовольствием следить за бесконечными спорами артистов, философов и музыкантов, которые каждый вечер встречались в Kunstlerhaus`e Я также научилась пить превосходное мюнхенское пиво, и недавно испытанное потрясение немного сгладилось.

Однажды вечером на особо парадном спектакле в KunstlerhausYe я заметила поразительного человека, сидевшего в первом ряду и аплодировавшего. Облик этого человека мне напомнил великого маэстро, творения которого мне только что начали открываться: тот же выпуклый лоб, тот же резко очерченный нос, только контуры рта были нежнее и безвольнее После спектакля я узнала, что это сын Рихарда Вагнера, Зигфрид Вагнер. Он присоединился к нашему кружку, и тут я впервые познакомилась и имела удовольствие восторгаться тем, кто отныне должен был войти в число моих самых дорогих друзей. Его речь была блестяща и полна воспоминаний о великом отце, которые, казалось, витали над ним, как священное сияние вокруг головы праведника.

Я тогда впервые читала Шопенгауера и была увлечена открывшимся мне философским освещением отношения музыки к воле человека.

Это необыкновенное сознание духа, или, как немцы называют

его Geist (святость), der Heiligthum des Gedankens (святость мысли), с которой я столкнулась, часто давала мне ощущение, будто я введена в мир высших и богоподобных мыслителей, разум которых был шире и возвышеннее, чем разум всех других людей, встреченных мною в мире моих путешествий. Вот где, казалось, на философский подход к жизни смотрели как на высшее достижение человеческой удовлетворенности, с которой может равняться разве только еще большая святыня — музыка. Для меня также явились откровением дивные произведения итальянского искусства, собранные в мюнхенских музеях, и, зная, как мы близко от границы, Элизабет, мать и я поддались непреодолимому порыву и сели в поезд, отправляющийся во Флоренцию.

12

Я никогда не забуду необыкновенных впечатлений при перевале через Тироль и при спуске по солнечному склону горы в равнину Умбрии. Мы вышли из поезда во Флоренции и несколько недель провели в восторженном паломничестве по галереям, садам и оливковым рощам. В то время мое юное воображение особенно занимал Боттичелли. Целыми днями я просиживала перед «Примаверой», знаменитой картиной этого мастера. Вдохновленная ею, я создала танец, в котором пыталась изобразить нежные и удивительные движения, которые угадывались на ней: волнистость земли, покрытой цветами, кружок нимф и полет зефиров, собравшихся возле центральной фигуры, полу-Афродиты и полу-Мадонны, возмещающей рождение весны символическим жестом.

Я долгие часы сидела перед этой картиной. Я была в нее влюблена. Славный старичок сторож принес мне скамейку и взирал на мой восторг с нежным интересом. Я сидела так, пока мне не начало казаться, что я вижу, как трава растет, босые ноги танцуют и тела начинают колыхаться, пока вестник радости не снизошел на меня ияне подумала: «Я протанцую эту картину и передам другим весть любви, весны и пробуждения жизни, которую я так мучительно на себе ощутила. Я дам понять им этот восторг через посредство танца».

Настало время закрытия галереи, а я все еще сидела перед картиной. Я хотела постичь смысл весны, скрытый в тайне этого прекрасного мгновения. Я чувствовала, что до сих пор жизнь была сплошным исковерканным и слепым исканием, и думала, что, разгадав тайну картины, буду в состоянии указать другим путь к внутреннему богатству жизни и достижению радости. Помню, что я уже тогда думала о жизни, как думает человек, в светлом настроении отправившийся на войну, но тяжело израненный, человек, который поразмыслив, говорит: «Почему мне не начать проповедывать другим Евангелие, которое может их уберечь от страданий?»

Так размышляла я во Флоренции перед картиной «Примавера» Боттичелли, которую я впоследствии старалась передать в танцах. О чудная, мелькнувшая передо мной картина языческой жизни, где Афродита сияла в смягченном образе кроткой Богоматери, а Аполлон, стремящийся дотянуться до нижних ветвей, лицом походил на св. Себастьяна! Я чувствовала, как все это заливало меня мирной радостью, и я страстно желала воплотить картину в танце, который назвала «Танцем будущего».

Тут, в залах старинного дворца, я танцевала под музыку Монтаверде и мелодии некоторых более ранних анонимных композиторов перед артистическим миром Флоренции. Под одну очаровательную мелодию для шестиструнной виолончели я создала образ ангела, играющего на воображаемой скрипке.

Мы были, как и всегда, беспечны и непрактичны, и деньги наши пришли к концу. Мы были вынуждены телеграфировать Александру Гроссу с просьбой выслать необходимую сумму для приезда в Берлин, где он подготавливал мое выступление.

В Берлине, проезжая по улицам, я растерялась, увидев, что весь город является одной сплошной афишей, извещающей о моем приезде и предстоящей гастроли в опере «Крола» при участии Филармонического оркестра. Александр Гросс повез нас в чудные аппартаменты гостиницы «Бристоль» на Унтер-ден-Линден, где представители германской прессы ожидали меня в полном составе для первого интервью. Под влиянием моего пребывания во Флоренции и моих занятий в Мюнхене я находилась в таком задумчивом и далеком от жизни настроении, что привела журналистов в большое удивление, дав на моем американо-немецком языке наивный, но грандиозный обзор искусства танца, как «великого и серьезного искусства», которому суждено пробудить жизнь во всех других областях искусства.

Александр Гросс был храбрым искателем новых путей. Он поставил на карту все свое состояние, чтобы наладить мои выступления в Берлине, не скупился на рекламу, взял лучшее помещение оперы и пригласил лучшего дирижера. Он был бы совершенно разорен, если бы, когда поднялся занавес, обнаруживая мои простые голубые драпировки, заменявшие декорации, и одну маленькую тоненькую фигурку среди огромной сцены, мне не удалось сорвать с первой же минуты аплодисменты удивленной немецкой публики, но Гросс оказался хорошим пророком. Я оправдала его предсказания и сразу завоевала Берлин. После того как я танцевала в течение двух часов, публика не хотела расходиться и требовала все новых и новых повторений, пока наконец в едином восторженном порыве не бросилась к рампе. Сотни молодых студентов вскарабкались на сцену, и мне угрожала опасность быть раздавленной насмерть от слишком бурных выражений поклонения. Целый ряд вечеров толпа поддерживала очаровательный немецкий обычай, выпрягала лошадей из коляски и с триумфом везла меня по Унтер-ден-Линден в гостиницу.

С этого первого спектакля я стала известна немецкой публике как «божественная, святая Айседора». В один прекрасный вечер из Америки внезапно вернулся Раймонд, который стосковался без

нас и говорил, что не в силах жить отдельно от семьи. Мы тогда вернулись к мечтам, которые давно лелеяли, — совершить паломничество к самому священному алтарю искусства — поехать в наши любимые Афины. Я чувствовала, что нахожусь еще только у врат моего искусства, и после недолгих выступлений в Берлине настояла на отъезде из Германии, несмотря на просьбы и жалобы Александра Гросса. С блестящими глазами и сильно бьющимися сердцами мы снова сели в поезд, идущий в Италию, чтобы совершить всем вместе давно откладывавшуюся поездку в Афины через Венецию.

Мы провели несколько недель в Венеции, благоговейно посещая церкви и галереи, но в те времена Венеция значила для нас еще немного. Мы приходили в гораздо больший восторг перед высоко интеллектуальной и духовной красотой Флоренции. Лишь много лет спустя, когда я посетила Венецию в обществе стройного, темноглазого возлюбленного с оливковым цветом лица, она мне открыла свои тайны и всю свою волшебную прелесть. Тогда только я поняла, сколько чар таится в Венеции, но во время первого посещения все мои помыслы были устремлены на то, чтобы как можно скорее сесть на корабль и отплыть в голубые дали.

Раймонд, выработавший план нашего путешествия в Грецию, решил, что все должно идти как можно проще, и поэтому, избегая больших пассажирских пароходов, мы отправились на маленьком коммерческом судне, совершавшем рейсы между Бриндизи и Санта-Морой. В Санта-Море мы высадились на берег и побывали на месте, где находилась древняя Итака, а затем на скале, с которой Сафо в порыве отчаяния бросилась в море. Теперь, когда я вспоминаю эту поездку, как и тогда, в ушах звучат бессмертные стихи Байрона:

О скалы Эллады, о скалы Эллады,
Где мира войною сменялись услады,
Где пела Сафо и от страсти пылала,
Где остров есть Делос, где Феба начало!
Там вечное лето их всех золотит,
Но все, кроме солнца, померкло и спит.

В Санта-Море мы наняли маленькую парусную лодку с экипажем из двух человек и на заре жаркого июльского дня поплыли по Ионическому морю. Мы вошли в залив Амбрачио и высадились у маленького городка Карвасарас.

Нанимая лодку, Раймонд пытался объяснить с помощью жестов и нескольких древнегреческих слов, что наше путешествие должно по возможности напоминать путешествие Одиссея. Рыбак,

по-видимому, очень мало знал об Одиссее, но вид достаточного количества драхм заставил его решиться поднять парус, хотя сделал он это с видимой неохотой и, неоднократно указывая на небо, повторял «Бум, бум» и, изображая руками бурю, старался нам дать понять, что море ненадежное. Не существует более коварного моря, чем Ионическое, и мы рисковали нашими драгоценными жизнями.

Мы остановились в маленьком турецком городке Пререза на Эпирийском побережье и накупили продуктов: огромный козий сыр, большое количество спелых оливок и сушеной рыбы. На нашем паруснике провизию некуда было спрятать, и она целыми днями лежала под палящими лучами солнца. Я не забуду до самой смерти запаха сыра и рыбы, тем более, что маленькую лодку равномерно покачивало. Часто ветер спадал, и нам приходилось браться за весла. В конце концов с наступлением сумерек мы высадились в Карвасарасе.

Все жители сбежались на берег, чтобы нас приветствовать. Сам Христофор Колумб, высаживаясь на американском побережье, наверное, не вызвал большего удивления среди туземцев. Мы почти обезумели от радости; хотелось обнять всех жителей поселка и воскликнуть: «Наконец-то, после многих странствий прибыли мы в священную землю Эллинов! Привет, о Зевс Олимпийский, и Аполлон, и Афродита! Готовьтесь, о Музы, снова плясать! Наша песня разбудит Диониса и спящих вакханок!»

В Карвасарасе не было ни гостиницы, ни железной дороги. Нам отвели на постоялом дворе единственную комнату, и мы там переночевали все вместе. Спать особенно много не пришлось, во-первых, потому, что Раймонд целую ночь напролет держал речи о мудрости Сократа и небесной награде за платоническую любовь; во-вторых, потому, что кровати состояли из грубо отесанных досок, и, наконец, потому, что Эллада была населена тысячею маленьких обитателей, которым захотелось нами питаться. На утренней заре мы покинули селение. Мать с нашими четырьмя чемоданами ехала в повозке, запряженной парой лошадей, а мы, срезав лавровые ветви, шли рядом пешком. Почти все село сопровождало нас большую часть пути, по которому с лишком две тысячи лет назад шел с войском Филипп Македонский.

* * *

Дорога из Карвасараса до Агриниьона идет через горы, полные дикой и суровой красоты. Утро было чудесное, воздух

чист, как хрусталь. С юношеской легкостью резвились мы вокруг повозки, подпрыгивая, распевая песни и испуская радостные крики. Переправляясь через речку Аспропотамос (древний Ахеллос), Раймонд и я, несмотря на слезные мольбы Елизаветы, решили окунуться в ее чистых водах, но не рассчитали силы течения и едва не были унесены. Немного дальше две злобные овчарки устремились на нас через луг из отдаленной усадьбы и набросились бы на нас со свирепостью волков, если бы не вмешался наш храбрый кучер и не отогнал их бичом.

Мы завтракали в маленькой придорожной харчевне, где в первый раз попробовали вина, сохранившегося в классических засмоленных мехах. Вкус у него — как у мебельной политуры, но мы, делая гримасы, уверяли, что оно превосходно. Наконец мы доехали до раскинувшегося на трех холмах древнего города Стратоса. Это были первые греческие развалины, которые мы увидели, и вид дорических колонн привел нас в восторг. Мы поднялись за Раймондом на западный холм к храму Зевса, и в лучах заходящего солнца перед нами миражем вырос старый город на трех холмах во всей его красоте и великолепии.

С наступлением темноты мы приехали в Агринион, немного усталые, но в таком состояния счастья, которое редко выпадает на долю смертным. Утром мы сели в омнибус и приехали в Миссолонги, где воздали хвалу памяти Байрона, погибшего в этом героическом городе, расположенном на земле, пропитанной кровью мучеников. Не кажется ли странным, когда подумаешь, что Байрон уберег сердце Шелли от пламени погребального костра? Сердце Шелли теперь похоронено в Риме, и возможно, что сердца двух поэтов все еще находятся в мистическом общении «от некогда славной Греции до былого величия Рима».

При свете умирающей зари мы покинули Миссолонги с трепещущим сердцем и глазами, полными слез, и с палубы маленького парохода, отвозившего нас в Патрас, следили за исчезающим городом. В Патрасе нам предстоял трудный выбор решить, куда ехать — в Олимпию или Афины, но нетерпение, связанное с желанием увидеть Парфенон, одержало верх, и мы сели в поезд, идущий в Афины. Мы неслись по лучезарной Элладе; порой мелькала снеговая вершина Олимпа, в оливковых рощах плясали гибкие нимфы и дриады, и восторг наш не знал границ. Часто наше волнение достигало таких размеров, что мы бросались друг другу в объятия и начинали рыдать. На маленьких станциях степенные крестьяне провожали нас удивленными взорами, вероятно, считая нас пьяными или сумасшедшими. Но это было не что иное, как восторженные поиски и стремления к блеску высшей мудрости — голубым глазам Афины Паллады.

Вечером мы приехали в окутанные сиреневой дымкой Афины, и уже утренняя заря застала нас поднимающимися неверными шагами и с сердцами, бьющимися от волнения, по ступенькам храма богини. По мере того как мы поднимались, мне начинало казаться, что вся прежняя жизнь спадает с меня, как шутовской наряд; мне казалось, что до этого момента я не жила вовсе; я глубоко вздохнула, и мне показалось, что в глубоком вздохе восторга перед чистой красотой я родилась впервые.

Из-за холма Пентеликус вставало солнце, обливая светом четко вырисовывавшиеся в золотых лучах мраморные стены. Мы поднялись на последнюю ступеньку Пропилеи и стали смотреть на храм, освещенный утренним светом. Мы молчали, пораженные, и разошлись в разные стороны. Божественная красота была слишком священна для слов и наполняла странным трепетом наши сердца. Теперь было не до радостных возгласов и не до объятий. Каждый искал себе место, с которого мог бы предаться созерцанию и часами размышлять в каком-то экстазе, потрясшем нас до глубины души.

Осмотр Парфенона убедил нас, что клан Дунканов, мать и четверо детей, вполне удовлетворяют друг друга и что общение с другими людьми до сих пор отвлекало нас от наших идеалов. Мы задали себе вопрос, зачем нам покидать Грецию, раз мы нашли в Афинах ответ на все эстетические запросы. Можно было бы удивляться, почему я после успешных выступлений и страстного увлечения в Будапеште не испытывала никакого желания возвратиться к этой жизни. Но дело в том, что, отправляясь в паломничество, я не искала ни денег, ни славы. Это было путешествие, предпринятое исключительно для души, и мне казалось, что дух, который я мечтала найти, дух невидимой богини Афины по-прежнему живет в развалинах Парфенона. Мы решили, что клан Дунканов навсегда останется в Афинах и там воздвигнет храм в собственном вкусе.

После своих берлинских выступлений я положила в банк деньги, которые, как мне казалось, никогда не должны были иссякнуть, и мы поэтому принялись отыскивать подходящее место для нашего храма. Все были вполне счастливы, кроме Августина, который долгое время грустил и наконец признался, что очень одинок без жены и ребенка. Мы сочли это за страшную слабость, но согласились, раз он уже женат и имеет ребенка, что нет другого выхода, как выписать их сюда.

Жена Августина, приехавшая с маленькою дочерью, была одета по моде и носила французские каблуки, на которые мы стали коситься, потому что сами давно перешли на сандалии, чтобы не осквернять белых мраморных плит Парфенона. Против

сандалий приезжая горячо протестовала, а мы тем временем решили, что мои платья-директуар, как и галстуки, отложные воротники и короткие штанишки Раймонда, являются одеждами вырождения и что мы должны облечься в туники древних греков, что и сделали к величайшему удивлению греков современных.

Нарядившись в тунику и пеплум и подвязав волосы, мы отправились искать подходящее место для нашего храма. Мы обыскали Колонны, Фалерон и долины Аттики, но не могли найти ничего достойного до тех пор, пока не забрели в сторону Гиметтуса, где находятся пасеки, славящиеся знаменитым медом. Поднявшись на возвышенность, Раймонд вдруг положил свой посох на землю и вскричал: «Глядите, мы находимся на одной высоте с Акрополем!» И действительно, на западе мы увидели храм Афины, поражавший своей близостью, хотя и находился на расстоянии четырех километров.

Но купить этот участок оказалось нелегко. Прежде всего никто не знал, кому он принадлежит. Расположен он был далеко от Афин и посещался одними пастухами и стадами коз. После долгих розысков нам наконец удалось узнать, что земля эта, разделенная на секторы от середины к краям, словно торт, уже в течение ста с лишним лет принадлежала пяти крестьянским семьям, к которым мы и обратились с просьбой ее продать. Крестьяне чрезвычайно удивились, так как до сих пор никто никогда не проявлял интереса к их участку, такому отдаленному от Афин. На его каменистой почве мог только расти чертополох, воды поблизости не было, и земля считалась не имеющей никакой цены. Но едва мы изъявили желание ее приобрести, владельцы предположили, что она должна очень высоко цениться, и запросили баснословную сумму, но клан Дунканов твердо решил купить участок и стал принимать к этому своеобразные меры. Все пять крестьянских семейств были приглашены на пиршество, на котором подавался барашек на вертеле и другие лакомые блюда. Все это обильно поливалось коньяком, называемом в Греции раки. За обедом с помощью маленького афинского адвоката мы составили акт о покупке, под которым поставили свои значки неграмотные крестьяне. Пиршество, по нашему мнению, увенчалось полным успехом, хотя мы сильно переплатили за землю. С этих пор маленький голый холм на одном уровне с Акрополем, холм, с древних времен известный под именем Копаное, стал собственностью клана Дунканов.

Достав бумагу и чертежные принадлежности, мы стали набрасывать план постройки. В плане дворца Агамемнона Раймонд нашел ту модель, которую искал, и, пренебрегая помощью архитектора, сам нанял рабочих и носильщиков камней.

Хотя только мрамор с холма Пентеликона казался достойным нашего храма, раз из него были высечены благородные колонны Парфенона, мы все-таки скромно удовлетворились красным камнем, который можно было найти у подножия холма. И с этого дня длинная вереница повозок везла по извилистой дороге с Пентеликона на Копаное красные каменные глыбы, а наше восхищение росло с каждой выгруженной повозкой.

Наконец настал знаменательный день закладки нашего храма, и мы решили, что великое событие надо отпраздновать с надлежащей торжественностью. Хотя, конечно, никто из нас не был религиозен и каждый отличался свободомыслием и современными научными взглядами, все же мы считали более эстетичным и подходившим к случаю, чтобы по греческому обычаю освящение закладки было совершено греческим священником. Все местное население было нами приглашено принять участие в торжестве.

Старый священник пришел в черной рясе и черной широкополой шляпе со свисавшей черной вуалью и потребовал черного петуха для жертвоприношения. Этот обычай берет свое начало в храме Аполлона, был заимствован византийским духовенством и сохранился до наших дней. Не без трудностей черный петух был в конце концов найден и вручен священнику, вместе с ножом для жертвоприношения. Тем временем толпы крестьян собирались со всех сторон, из Афин приехало избранное общество, и к закату солнца на Копаносе собралось множество народу.

Старый священник приступил к обряду с внушительной торжественностью. Когда он попросил нас указать ему точные очертания будущего храма, мы исполнили его просьбу, танцуя по линиям квадрата, уже нарисованным Раймондом на земле. Он подошел к одному из больших камней, приготовленных для фундамента, и в ту минуту, когда огромный красный диск солнца скрывался за горизонтом, перерезал горло черному петуху, алая кровь которого брызнула на камень. Держа в одной руке нож, а в другой убитую птицу, он трижды торжественно обошел линию капитальных стен, после чего начал молитвы и песнопения. Он благословил все камни, предназначенные для постройки, и, спросив наши имена, прочитал длинную молитву, в которой неоднократно повторялись: Айседора Дункан (моя мать), Августин, Раймонд, Элизабет и малютка Айседора (то есть я), причем каждый раз произносил фамилию Дункан, точно ее писали через букву Т, а не Д. Он убеждал нас жить в новом доме благочестиво и мирно, молясь, чтобы наши потомки жили тоже в мире и благочестии. После окончания молитвы появились

музыканты с местными несложными инструментами, были откупорены большие бочки вина и раки, на вершине холма был зажжен гигантский костер, и всю ночь напролет мы танцевали, пили и веселились с нашими соседями, окрестными крестьянами.

Мы решили навсегда остаться в Греции и поклялись, как говорит Гамлет, не заключать больше браков. «Пусть тот, кто женат, останется женатым», и т. д. Мы холодно приняли в нашу среду жену Августина, но для себя составили в тетради проект, по которому из клана Дунканов исключались все посторонние, и туда же занесли правила нашей жизни на Копаносе, немного похожие на правила «Государства» Платона. Было постановлено вставать на заре и встречать восходящее солнце радостными песнями и танцами, а затем подкрепляться скромной чашей козьего молока. Утро посвящалось преподаванию танцев и пения. Мы хотели вернуть местных жителей к почитанию греческих богов и побудить их сбросить ужасные современные одежды. Потом, после легкой трапезы, состоявшей из овощей, решено было отказаться от мяса и стать вегетарианцами. Мы предавались созерцательному размышлению, а вечерами совершали языческие обряды, сопровождавшиеся подходящей музыкой.

Началась постройка Копаноса. Стены дворца Агамемнона были толщиной в два фута, и поэтому, конечно, той же толщины должны были быть стены Копаноса. Только после того как работы значительно подвинулись вперед, мне стало ясно, сколько понадобится красного камня с Пентеликоса и во что обойдется каждый воз. А несколько дней спустя, решив провести ночь в палатке на месте постройки, мы неожиданно сделали грустное открытие, что на много миль кругом не было ни капли воды! Мы взглянули на вершину Гиметтуса, где мед был в таком изобилии и было множество ключей, потом на вечные снега Пентеликоса и его водопады; увы, Копаное был сух и бесплоден, а ближайший источник находился на расстоянии четырех километров!

Но Раймонд, не смущаясь, нанял еще рабочих и принялся за бурение артезианского колодца. Во время работ Раймонд обнаружил различные древности и стал утверждать, что на этих вершинах должен был когда-то находиться поселок, но я полагала, что здесь было только кладбище, так как чем глубже становился колодец, тем суше делалась земля. Наконец, после нескольких недель бесплодных поисков воды на Копаносе, мы вернулись в Афины, чтобы испросить совета у вещих духов, населявших, по нашему убеждению, Акрополь. Мы получили специальное разрешение от города бывать там по ночам и проводить лунные вечера в амфитеатре Диониса, где танцевали и слушали Августина, читавшего отрывки из греческих трагедий.

Клан Дунканов довольствовался самим собой. С обитателями Афин у нас не было ничего общего, и мы даже остались равнодушны к известию, переданному крестьянами, что греческий король выехал верхом, чтобы осмотреть наш храм. Нами правили другие цари: Агамемнон, Менелай и Приам.

13

Лунной ночью, сидя в театре Диониса, мы услышали звонкий голос мальчика, который пел с таким трогательным неземным оттенком, какой бывает только у детей. Скоро к нему присоединился второй, а затем и третий голос. Мальчики пели старинную греческую песню, и мы слушали точно заколдованные. «Так должны были петь мальчики в древнегреческом хоре», — заметил Раймонд.

На следующий вечер концерт повторился, на третий под влиянием щедро розданных драхм хор увеличился, и постепенно все афинские мальчики стали собираться в театре Диониса, чтобы петь нам при лунном свете. Наши юные певцы навели нас на мысль попытаться возродить прежний греческий хор. Мы каждый вечер устраивали конкурсы в театре Диониса, выдавая награды за самые древние греческие мелодии. Мы также заручились услугами профессора византийской музыки. В конце концов у нас составился хор из десяти мальчиков, обладавших самыми чудными голосами в Афинах. Молодой студент, тоже изучавший древнегреческий язык, помог нам разучить с хором «Взывающих» Эсхила. Хоры эти, вероятно, самые красивые из когда либо написанных. Один, особенно запечатлевшийся в моей памяти, описывает ужас дев, собравшихся вокруг алтаря Зевса, ища защиты от братьев-кровосмесителей, гнавшихся за ними через море.

Таким образом мы углубились в собственную работу: отдавались занятиям в Акрополе, наблюдали за постройкой Копаноса и принимали участие в хорах Эсхила. Удовлетворяясь редкими экскурсиями в соседние деревни, мы ничего большего не желали.

Сильнейшее впечатление произвело на нас чтение «Элевзинских мистерий». «Язык смертного не может разглашать эти тайны, но благословен тот, чьи глаза видели их; судьба его после смерти не будет походить на судьбу других людей!»

В один прекрасный день мы поехали в Элевзис, отстоявший на 13,5 миль от Афин. С голыми ногами, обутыми в одни сандалии, мы, танцуя, стали спускаться по белой пыльной дороге, которая ведет к морю мимо древних рощ Платона. Мы танцевали, а не шли, потому что хотели умилостивить богов. Мы миновали маленькую деревню Дафнис и часовню Хагиа Триас. В просвете между холмами мелькнули море и остров Саламис. Мы на минуту задержались, чтобы возобновить в памяти знаменитую битву при Саламисе, где греки разбили персов с Ксерксом во главе. Мы

действительно танцевали всю дорогу и только раз остановились у маленькой христианской церкви, где греческий священник, который с растущим изумлением наблюдал за нашими танцами, пригласил нас зайти и попробовать его вина. В Элевзисе мы провели два дня и познакомились с его тайнами. На третий день мы возвратились в Афины, но не одни. Нас сопровождали тени любимых авторов: Эсхила, Еврипида, Софокла и Аристофана.

Нас больше не тянуло к странствиям. Мы попали в нашу Мекку, великую Элладу. С тех пор я отдалилась от первого чистого поклонения перед мудрой Афиной Палладой и во время последнего посещения Афин, сознаюсь, меньше интересовалась культом богини, чем лицом страдающего Христа в часовенке Дафниса. Но в те времена, в весну нашей жизни, Акрополь являлся для нас исключительным источником радости и вдохновения. Мы чувствовали себя слишком сильными и самоуверенными, чтобы понимать жалость.

Мы каждое утро поднимались на Пропилеи и скоро знали всю историю священного холма. Мы брали с собой книги и старались проследить судьбу каждого отдельного камня, изучая одновременно взгляды выдающихся археологов на происхождение и значение некоторых знаков и предсказаний. С помощью нашего студента мы из двухсот ободранных афинских уличных мальчишек выбрали десять, обладающих райскими голосами, и стали их обучать пению в хоре. В обрядах греческой церкви мы нашли строфы и антистрофы такой законченной гармонии, что были, по нашему мнению, гимнами Зевсу-Отцу, Громовержцу и Защитнику. Их, вероятно, заимствовали первые христиане и превратили в гимны Единому Богу. В афинской библиотеке мы нашли различные труды о старой греческой музыке, в которой обнаружили точно такие же созвучия и интервалы. Это открытие повергло нас в состояние лихорадочной восторженности.

Именно нам было суждено вернуть миру через две тысячи лет эти потерянные сокровища. Гостиница, в которой мы жили, любезно предоставила мне большую залу для занятий, где я работала каждый день. Я проводила часы, подбирая для хора «Взывающих» движения и жесты, навеянные ритмом музыки греческой церкви. Мы так углубились в нашу работу и настолько свято верили в свои теории, что не заметили комичности смешения различных религиозных выражений.

Тогда Афины, как и обычно, были охвачены революционным брожением. В данном случае революция основывалась на разнице во мнениях королевского дома и студенчества относительно того, какой язык должен быть принят на сцене: древний или

новогреческий. Толпы студентов ходили по улицам с знаменами, требовавшими введения древнегреческого языка. В день нашего возвращения из Капаноса демонстранты окружили наш экипаж и приветствовали наши туники, приглашая присоединиться к их шествию, что мы охотно исполнили из любви к древней Элладе. После этой встречи студенты решили устроить представление в городском театре. Десять греческих мальчиков со студентами во главе, одетые в пестрые, свободно ниспадающие хитоны, пели на древнегреческом языке хоры Эсхила, а я танцевала, что вызвало бурю восторга среди студентов.

Когда король Георг услышал про манифестацию, он выразил пожелание, чтобы спектакль был повторен в Королевском театре. Но это представление в присутствии двора и иностранных посольств не вызвало такого пылкого энтузиазма, который царил в народном театре у студентов. Аплодисменты рук, затянутых в белые лайковые перчатки, не вдохновляли. Когда король Георг прошел за кулисы в мою уборную, чтобы пригласить посетить королеву в ее ложе, я тотчас заметила, что у них не было настоящей духовной любви к моему искусству и понимания его, хотя они и казались очень довольными. Балет всегда будет избранным видом танца для коронованных особ.

Все эти события произошли как раз тогда, когда я сделала печальное открытие, что наш счет в банке постепенно иссякает. Ночью, после представления в Королевском театре я не могла уснуть и на заре отправилась совершенно одна в Акрополь, где танцевала в театре Диониса, чувствуя, что это в последний раз. Затем поднялась на Пропилеи и остановилась перед Парфеноном. Внезапно мне показалось, что все мои мечты разлетелись, точно мыльный пузырь, и я ясно поняла, что мы только современные люди и всегда ими останемся. Чувства древних греков нам будут чужды, несмотря ни на что. Храм Афины, возвышавшийся передо мною, был воздвигнут для других времен и людей. Я была всего-навсего американкой с шотландской и ирландской кровью, которая, пожалуй, была ближе к краснокожим, чем к грекам. Дивный мираж одного года, проведенного в Элладе, вдруг рассеялся, звуки византийско-греческой музыки становились все слабее и слабее, и все покрывалось громкими аккордами смерти Изольды, звучавшими в моих ушах.

Три дня спустя, провожаемые восторженной толпой и плачущими родителями десяти греческих мальчиков, мы сели в венский поезд. На вокзале я завернулась в бело-голубой греческий флаг, а десять греческих мальчиков вместе с народом запели чудный греческий гимн. Когда я оглядываюсь на этот проведенный в Греции год, я нахожу действительно прекрасным

это усилие перенестись на две тысячи лет назад к той красоте, которой, быть может, мы не поняли, как не понимают ее и другие.

Так мы покинули Элладу и утром приехали в Вену с хором греческих мальчиков и их византийским наставником.

14

Наша попытка возродить греческий хор и античные трагические танцы была, конечно, очень ценна, но совершенно неосуществима То, что я после материального успеха в Берлине и Будапеште не пожелала поехать в кругосветное турне и истратила заработанные деньги на то, чтобы воздвигнуть греческий храм и воскресить греческий хор, кажется мне теперь странным явлением.

Приехав в Вену, я показала изумленной австрийской публике хор «Взывающих» Эсхила, исполненный на сцене нашими греческими мальчиками в то время, как я танцевала. У Даная было пятьдесят дочерей; моей тонкой фигурой было трудно изобразить чувства пятидесяти дев, но я делала все, что могла, чувствуя множество в единстве.

Вена находилась лишь на расстоянии четырех часов езды от Будапешта, но поразительно, что год, проведенный близ Парфенона, меня совершенно отдалил от Будапешта, и я даже не удивлялась, что Ромео ни разу не потрудился проделать четырехчасовой путь и навестить меня, не считая, что он обязан это сделать. Вся моя энергия уходила на греческий хор, и чувству не оставалось никакого места. Говоря правду, я ни разу и не вспомнила о Ромео. Наоборот, все мои интересы в те времена были направлены на вопросы из области разума и удачно объединились в дружбе с человеком, который был прежде всего человеком ума Это был Герман Бар.

Несколько лет тому назад он видел мои танцы в Вене, в Kunstlerhaus'e перед артистами, и теперь, когда я вернулась в этот город с хором греческих мальчиков, он проявил большой интерес к моему делу и писал в венской Neue Presse замечательные критические статьи. Герману Бару было тогда приблизительно тридцать лет, и он выделялся благородными очертаниями головы и роскошными каштановыми волосами и бородой. Хотя он часто приходил ко мне в гостиницу «Бристоль» после представления и засиживался до зари, хотя я часто вставала с места и танцевала строфу за строфой греческого хора, чтобы иллюстрировать свои слова, наши отношения оставались чуждыми сентиментальности и чувственности, чему скептики, пожалуй, поверят с трудом. Но со времени моих будапештских переживаний в моих чувствах произошла такая революция, что я искренне думала, что навсегда покончила с любовью и что в будущем буду исключительно отдаваться искусству. Все это кажется мне сегодня очень странным, принимая во внимание, что я своим телосложением

сильно напоминала Венеру Милосскую. После грубого пробуждения мои чувства вновь заснули, и вся жизнь сосредоточилась в искусстве.

Мое выступление в венском Карловском театре прошло с значительным успехом. Публика, вначале принимавшая «Хор Взывающих» из десяти греческих мальчиков довольно холодно, к концу представления, когда я танцевала «Голубой Дунай», приходила в неистовство. После спектакля я выступила с речью, в которой указала, что моей целью является возрождение духа древнегреческой трагедии. «Мы должны вновь влить жизнь в красоты греческого хора», — сказала я, — но публика продолжала кричать: «Нет, нет… Танцуй! Танцуй «Голубой Дунай»! Танцуй еще!» — и аплодировала без конца.

Мы покинули Вену, снова нагруженные золотом, и приехали в Мюнхен. Появление моего греческого хора в Мюнхене наделало много шума в кругах профессуры и интеллигенции. Знаменитый профессор Фуртванглер прочел лекцию о греческих гимнах, музыка к которым была теперь подобрана византийским священником.

Сильно волновались студенты, на которых большое впечатлении произвели наши греческие мальчики. Только я, изображая пятьдесят Данаид, не была вполне довольна и часто после окончания представления произносила речь, в которой указывала, что в действительности вместо меня должны танцевать пятьдесят дев, что мне очень грустно мое одиночество, но терпение, Geduld: я скоро организую школу и превращусь в пятьдесят kleine Madchen.

В Берлине успех греческого хора был значительно меньший, и хотя из Мюнхена для поднятия настроения прибыл известный профессор Корнелиус, берлинцы, как венцы, кричали: «Танцуйте лучше «Голубой Дунай» и оставьте греческий хор в покое!»

Тем временем сами маленькие греческие мальчики испытали на себе влияние непривычной среды. Дирекция гостиницы постоянно жаловалась на их дурные манеры и несдержанность. Они вечно требовали черного хлеба, спелых оливок и сырого луку. Если этих яств не находилось, они приходили в ярость и начинали швырять в кельнеров бифштексами или бросаться на них с ножами. В конце концов их выкинули из нескольких первоклассных гостиниц, и мне ничего не оставалось сделать, как расставить десять кроватей в гостиной моей собственной берлинской квартиры и поселить мальчиков у нас.

Считая их детьми, мы каждое утро торжественно наряжали их в древнегреческие одежды и сандалии и вели гулять в Тиргартен. Однажды Элизабет и я, выступая во главе нашей странной

процессии, встретили императрицу верхом. Она была так возмущена и удивлена нашим видом, что на следующем перекрестке упала с лошади, так как добрая прусская лошадь, конечно, никогда не встречала ничего подобного и с испугу шарахнулась в сторону.

Эти очаровательные греческие дети оставались у нас только шесть месяцев. К этому времени мы сами стали замечать, что их божественные голоса начали фальшивить, приводя в изумление даже восторженную берлинскую публику. Я храбро продолжала изображать пятьдесят Данаид, взывающих перед алтарем Зевса, хотя задача эта была очень трудна, особенно когда мальчики сбивались с тона, а византийский профессор становился все рассеяннее и рассеяннее, точно оставил в Афинах свою любовь к византийской музыке. Он стал отсутствовать все чаще и продолжительнее. В довершение всего полицейские власти нам сообщили, что наши греческие юноши по ночам украдкой выпрыгивали из окна и как раз тогда, когда мы их считали благополучно спящими в постелях, пробирались в дешевые кафе и там встречались с самыми подозрительными представителями своей национальности, жившими в городе.

Со дня приезда в Берлин они утеряли наивное и чистое выражение детских лиц, которым они отличались во время вечерних концертов в театре Диониса, и выросли, по крайней мере, на полфута. Каждый вечер в театре «Хор Взывающих» все больше и больше смешивал тона и пел настолько плохо, что это уже нельзя было оправдать византийским происхождением Наконец после долгих совещаний мы отвели весь греческий хор в большой магазин Вертгейма, купили каждому по паре хороших готовых брюк, посадили их в экипажи, привезли на вокзал и, вручив билет второго класса, отправили в Афины, сердечно пожелав счастливого пути. После их отъезда мы отложили в долгий ящик возрождение древнегреческой музыки и вернулись к изучению Христофора Глюка, «Ифигении и Орфея».

С самого начала я понимала танец как выражение хорового начала. Так же как я пыталась изобразить публике горе дочерей Даная, так и теперь я танцевала в «Ифигении» девушек, играющих в золотой мяч на бархатистом песке, а позже печальных греческих изгнанников в Тавриде. Я так пылко надеялась создать когда-нибудь целый хор из танцовщиков и танцовщиц, что уже видела его в своем воображении, и мне мерещились в золотом сиянии огней рампы белые гибкие тела моих товарищей; меня окружали поднятые головы, мускулистые руки, вибрирующие торсы и быстрые ноги. В конце «Ифигении» девушки Тавриды танцуют вакхический танец радости по случаю спасения. Ореста Мне

казалось, что их руки хватаются за меня, что я вижу колыхание влекущих меня маленьких тел, в то время как хоровод двигался все быстрее и безумнее. Когда я наконец упала в порыве радостного забвения, я увидела, что они упали точно «вином при звуках флейты опьянившись, стремясь к любви под сенью темных рощ».

Еженедельные приемы в нашем доме по улице Виктории стали центром артистических и литературных интересов. Тут велись ученые споры о танце как высшем виде искусства; ведь немцы относятся серьезно к каждому спору об искусстве и вкладывают в него всю свою душу. Мои танцы стали предметом бурных и пламенных пререканий. В газетах появлялись длиннейшие статьи, иногда приветствовавшие меня как вдохновительницу вновь открытой области искусства, иногда же выставляющие меня губительницей истинного классического танца, т. е балета. По возвращении из театра, где публика принимала меня точно в бреду, я до поздней ночи сидела в белой тунике со стаканом молока на столике подле меня над «Критикой чистого разума» Канта, где неизвестно каким образом черпала вдохновение для тех движений чистой красоты, которую искала.

Среди бывавших у нас артистов и писателей находился молодой человек, отличавшийся высоким лбом и проницательными глазами под стеклами очков. Он считал своим назначением знакомить меня с гением Ницше. «Только в Ницше, — говорил он, — найдете вы то полное откровение танца, которое ищете». Он приходил ко мне ежедневно и читал мне по-немецки «Заратустру», причем пояснял мне все непонятные слова и выражения. Обаяние философии Ницше захватило меня целиком, и часы, которые мне посвящал Карл Федерн, стали для меня настолько привлекательны, что я с большой неохотой поддалась уговорам своего импресарио и согласилась на ряд коротких гастролей в Гамбурге, Ганновере, Лейпциге и т. д., где меня ждали любопытные толпы народу и много тысяч марок. Триумфальная поездка по всему свету, которую мне предлагали, меня нисколько не манила. Я хотела учиться, продолжать свои розыски, создавать новые формы танца и еще неоткрытые движения, и мечта о собственной школе, которая меня преследовала с детства, охватывала меня все сильнее и сильнее. Эта страсть сидеть в ателье и учиться довела моего импресарио до полного отчаяния. Он беспрестанно уговаривал меня ехать гастролировать, ныл, показывая мне газеты, где говорилось, что в Лондоне и других местах копии моих занавесей, костюмов и танцев были пущены в ход, пользовались успехом и приветствовались как оригинальные. Но даже это на меня не

действовало. Его отчаяние достигло предела, когда я в начале лета объявила, что хочу провести весь сезон в Байройте, чтобы там познакомиться с творчеством Вагнера у самого его источника. Это решение стало бесповоротным после того, как однажды меня посетила вдова Рихарда Вагнера.

Я никогда не встречала женщины, которая произвела бы на меня такое впечатление своим высоким умственным горением, как Козима Вагнер с ее величественной осанкой и высоким ростом, глазами редкой красоты, немного слишком выдающимся для женщины носом и лбом, излучавшим глубокую мысль. Она разбиралась в самых сложных философских вопросах и знала наизусть каждую фразу и ноту своего великого мужа. О моем искусстве она говорила в изысканно-теплых хвалебных выражениях, а затем перешла на Рихарда Вагнера и его отрицательный взгляд на балетную школу и костюмы, рассказала о том, как, по его мнению, должны были быть поставлены «Вакханалия» и «Танец цветочных дев» и о невозможности осуществления его мечты берлинской балетной труппой, приглашенной в Байройт на этот сезон. Затем она меня спросила, не соглашусь ли я выступить в «Тангейзере», но тут возникли затруднения. Мои взгляды не позволяли мне соприкасаться с балетом, так как каждое его движение оскорбляло мое чувство красоты, а создаваемые им воплощения казались механическими и вульгарными.

«Ах, почему еще не существует моей школы, — вскричала я в ответ на ее просьбу, — тогда я могла бы привести вам в Байройт толпу нимф, фаунов, сатиров и граций, о каких мечтал Вагнер. Но что я могу сделать одна? И все-таки я приеду и постараюсь дать хотя бы слабое подобие чудных, нежных, сладострастных движений Трех Граций, которых я уже вижу перед собой».

15

Я приехала в Байройт в чудный майский день и остановилась в гостинице «Черный орел». Одна из моих комнат была достаточно велика для работы, и в ней я поставила рояль. Ежедневно я получала приглашение пообедать, позавтракать или провести вечер в вилле «Ванфрид», где Козима Вагнер принимала с поистине царским радушием. Каждый день за завтраком было по меньшей мере пятнадцать человек гостей. За столом председательствовала фрау Козима, полная достоинства и такта. Среди гостей были самые выдающиеся люди Германии, художники и музыканты, а порой князья, герцогини и коронованные особы всех стран.

Могила Рихарда Вагнера находится в саду виллы «Ванфрид» и видна из окон библиотеки. После завтрака фрау Козима взяла меня под руку и мы пошли к могиле. Во время этой прогулки она беседовала со мной тоном нежной меланхолии и мистической надежды. Вечерами часто составлялись квартеты, причем участвовали исключительно виртуозы, в том числе грузный Ганс Рихтер, тонкий Карл Мук, любезный Моттель, Гумпержинк и Гейнрих Тоде. Каждый художник находил здесь радушный прием.

Я очень была горда, что меня в моей маленькой белой тунике допустили в блестящую плеяду выдающихся людей. Я стала изучать музыку «Тангейзера» — музыку, которая выражает все безумные сладострастные желания женщины, живущей разумом, так как в мозгу Тангейзера не прекращается вакханалия. Пещера Венеры с ее сатирами и нимфами является отражением того недоступного посторонним тайника, который представлял собой ум Вагнера, измученного постоянным стремлением дать выход своей чувственности, выход, который он нашел в полете собственной фантазии.

С утра до вечера я присутствовала на всех репетициях в красном кирпичном храме на холме в ожидании первого спектакля. «Тангейзер», «Кольцо», «Парсифаль» довели меня в конце концов до своего рода музыкального запоя. Для лучшего понимания музыки я выучила наизусть весь текст опер, и мысль моя была точно насыщена этими легендами, а все существо купалось в волнах вагнеровских мелодий. Я дошла до состояния, когда внешний мир кажется холодным, призрачным и мертвым, и театр был для меня единственной живой действительностью. Сегодня я лежала златокудрой Зиглиндой в объятиях своего брата Зигмунда, пока росла и трепетала чудная весенняя песнь… Завтра была Брунгильдой, оплакивающей свою потерянную

божественную силу, а потом Кундри, выкрикивающей дикие проклятия. Но верх блаженства я испытала, когда моя дрожащая душа вознеслась к сияющему кубку Грааля. Какое колдовство! Теперь я действительно забыла мудрую, голубоглазую Афину Палладу и ее дивный храм на афинских холмах.

Гостиница «Черный орел» была неудобна и переполнена народом. Однажды во время прогулки в саду Эрмитажа, построенного сумасшедшим Людовиком Баварским, я набрела на старый каменный дом замечательной архитектуры. Это был древний охотничий павильон Маркграфа со старинными мраморными ступеньками, ведущими в поэтичный сад, и с большой, необыкновенно пропорциональной жилой комнатой. Все было страшно запущено; в павильоне уже около двадцати лет жила крестьянская семья, которой я предложила выехать за баснословную сумму, хотя бы только на лето. Потом позвала маляров и столяров, велела покрасить стены в нежный светло-зеленый цвет и наскоро съездила в Берлин, где заказала диваны, подушки, глубокие соломенные кресла и множество книг. И наконец наступил день, когда я поселилась в «Филипсруэ», как назывался охотничий домик. Позже, вместо того, чтобы звать его «Филипсруэ» — «Отдых Филиппа», я в мыслях окрестила его «Рай Генриха».

Я была одна в Байройте, так как мать и Элизабет проводили лето в Швейцарии, а Раймонд вернулся в свои любимые Афины, чтобы продолжать постройку Копаноса, и оттуда постоянно присылал мне телеграммы следующего содержания: «Рытье артезианского колодца подвигается. Дойдем до воды на будущей неделе. Вышли денег». Так продолжалось, пока расходы на Копаное не достигли таких размеров, что стали приводить меня в ужас.

Последние два года после пребывания в Будапеште я провела в полном целомудрии и нисколько этим не тяготилась. Дух и тело, каждая частица моего существа были захвачены восторгом сперва перед Грецией, а теперь перед Рихардом Вагнером. Сон мой был легок, и я просыпалась, напевая мотивы, слышанные накануне. Но любовь вновь должна была пробудиться во мне, хотя и в другой форме. А может быть, это был тот же Эрос, только под другой личиной?

Мой друг Мэри и я жили вдвоем в «Филипсруэ», а прислуга, лакей и кухарка, за отсутствием помещения жили в маленькой гостинице по соседству. Как-то ночью Мэри меня окликнула: «Я не хочу тебя пугать, Айседора, но подойди к окну. Тут, напротив, под деревом, ежедневно после полуночи стоит какой-то человек и не спускает глаз с твоего окна. Не вор ли это?»

Действительно, под деревом стоял невысокий, худощавый человек и глядел на мое окно. Я задрожала от страха, но внезапно показавшаяся луна осветила его лицо, и Мэри схватила меня за руку. Мы обе увидели восторженное лицо Генриха Тоде с глазами, устремленными вверх. Мы осторожно отошли от окна, и, признаюсь, нас, точно школьниц, охватил приступ неудержимого смеха — может быть, как реакция после первого испуга.

— Вот уже неделю дежурит он здесь по ночам, — прошептала Мэри.

Я попросила Мэри подождать, а сама накинула на рубашку пальто и побежала туда, где стоял Тоде.

— Милый, верный друг, — сказала я, — неужели ты меня так любишь?

— Да, да… — произнес он, заикаясь. — Ты — моя мечта, моя святая Клара.

Я еще тогда не знала, но позже он мне рассказал, что он как раз работал над своим вторым капитальным трудом, жизнью св. Франциска. Первое его произведение было посвящено жизни Микеланджело. Тоде, как все великие художники, жил своей работой. В ту минуту он чувствовал себя св.Франциском, а во мне видел св. Клару.

Я взяла его за руку и медленно повела вверх по лестнице, в дом. Он шел как во сне и смотрел на меня глазами, сиявшими молитвенным светом. Взглянув на него в ответ, мне показалось, что я отделяюсь от земли и вместе с ним иду по райским дорожкам, залитым ярким светом. Я еще никогда не испытывала такого острого любовного экстаза. Все мое существо преобразилось и словно наполнилось светом. Я не могу сказать, как долго продолжался этот взгляд, но после него я почувствовала слабость и головокружение. Я перестала что-либо сознавать и, охваченная невыразимым счастием, упала в его объятия. Когда я пришла в себя, его поразительные глаза все еще глядели в мои, а губы тихо шептали:

— Любовь меня окунула в блаженство.

Меня снова охватил неземной порыв, точно я плыла по облакам. Тоде ко мне склонился, целуя мои глаза и лоб. Но поцелуи эти не были поцелуями земной страсти. Хотя многие скептики откажутся этому верить, но Тоде ни в эту ночь, которую он провел у меня, оставаясь до зари, ни в последующие не подходил ко мне с земным вожделением. Он покорял меня одним лучезарным взором, от которого кругом все будто расплывалось, и дух мой на легких крыльях несся к горным высотам. Но яине желала ничего земного. Мои чувства, дремавшие уже два года, теперь вылились в духовный экстаз.

В Байройте начались репетиции. Я сидела с Тоде в темном театре и внимала первым аккордам вступления к «Парсифалю». Нервы мои были настолько натянуты, что каждое малейшее прикосновение его руки заставляло меня почти терять сознание и трепетать от острого и томительно-болезненного наслаждения. Мириады огненных вихрей проносились у меня в голове. Горло перехватывало такой радостью, что мне хотелось кричать. Часто его тонкая рука слегка прижималась к моим губам, чтобы заглушить стоны и вздохи, которые я не могла сдержать. Казалось, что каждый нерв моего тела дрожал как струна в безумном напряжении не то от радости, не то от отчаянного страдания, в напряжении, обычно длящемся в порывах любви лишь одну секунду. Я испытывала и радость, и страдание, и мне хотелось испускать крики, как Амфортас, безумствовать, как Кундри.

Каждый вечер Тоде приходил в «Филипсруэ», но никогда не пытался держать себя как любовник. Он никогда не пробовал раскрыть мою тунику, дотронуться до грудей или вообще тела, хотя и знал, что я каждым биением пульса готова ему отдаться. Под взглядом его глаз во мне просыпались ощущения, о существовании которых я даже не подозревала, ощущения, такие страшные и в то же время блаженные, что я часто теряла сознание, чувствуя, что удовольствие меня убивает, и приходила в себя только от блеска его удивительных глаз. Он так безраздельно владел моей душой, что мне иногда казалось верхом счастия смотреть ему в глаза и жаждать смерти. Тут не было, как в земной любви, ни удовлетворения, ни покоя, а постоянное бредовое состояние и жажда полного слияния.

Я совершенно потеряла аппетит и даже сон. Одна лишь музыка «Парсифаля» доводила меня до слез и, казалось, давала облегчение острой и страшной любовной лихорадке, которая меня мучила.

Духовная сила Генриха Тоде была так велика, что он мог каждую минуту вернуться от головокружительного счастия и диких порывов экстаза к области чистого разума. Часами слушая его блестящие речи об искусстве, я могла его сравнить только с одним человеком в мире — Габриэлем д`Аннунцио, на которого он отчасти походил и внешностью. Он тоже был маленького роста, обладая необыкновенными зелеными глазами и большим ртом.

Он ежедневно приносил мне части своей рукописи «Святого Франциска» и, по мере того как писал, читал вслух каждую главу. Он с начала до конца прочел мне вслух «Божественную комедию» Данте. Чтения затягивались на всю ночь, и часто он уходил из

«Филипсруэ» только на заре, покачиваясь, словно пьяный, хотя не пил ничего, кроме чистой воды. Он был просто опьянен божественным огнем своего исключительного ума. Как-то, покидая утром «Филипсруэ», он испуганно схватил меня за руку и сказал: «Фрау Козима идет сюда по дороге!»

И действительно, в раннем свете утра показалась фрау Козима. Она была бледна и словно рассержена, что, однако, оказалось неверным. Накануне мы поспорили о моем толковании танца Трех Граций в «Вакханалии» «Тангейзера». Страдая в эту ночь бессонницей, фрау Козима стала разбирать бумаги Рихарда Вагнера и среди них нашла небольшую тетрадь с более подробным изложением его взгляда на «Вакханалию», чем взгляды, известные до сих пор.

Не в силах дождаться наступления дня, милая женщина пришла ко мне на заре, чтобы признать мою правоту. «Дорогое дитя, — сказала она, потрясенная и взволнованная, — должно быть, сам маэстро вдохновил вас. Взгляните сюда, вот его собственные записи — они всецело совпадают с тем, что вы постигли бессознательно. Теперь я не стану больше вмешиваться и вы будете совершенно свободны в вашем толковании танцев в Байройте».

Вероятно, у фрау Козимы мелькнула тогда мысль о возможности моего брака с Зигфридом для продолжения работы маэстро. Но Зигфрид, относясь ко мне с братской нежностью и дружбой, никогда не давал повода думать, что может меня полюбить. Что же касается меня, все мое существо было настолько поглощено неземной страстью Генриха Тоде, что я не сознавала в то время, какие выгоды мог мне дать такой союз.

Моя душа была подобна полю битвы, за обладание которым спорили Аполлон, Дионис, Христос, Ницше и Рихард Вагнер. В Байройте я металась между Граалем и Гротом Венеры, захваченная и влекомая стремительным потоком вагнеровской музыки. Несмотря на это, однажды во время завтрака на вилле Ванфрид я хладнокровно заявила:

— Маэстро тоже сделал ошибку, ошибку такую же огромную, как и его гений.

Фрау Козима испуганно на меня посмотрела. За столом воцарилось ледяное молчание.

— Да, — продолжала я с необыкновенной самоуверенностью, свойственной ранней молодости, — великий маэстро сделал большую ошибку. Ведь музыкальная драма — сущий вздор.

Молчание становилось все тягостнее. Я стала объяснять, что драма — это речь, а речь — порождение человеческого мозга. Музыка же — лирический восторг. И соединить то и другое

вместе немыслимо.

Я высказала ересь, дальше которой идти было некуда. Невинно оглянувшись по сторонам, я увидела беспомощно растерянные лица. Ведь я сказала совершенно недопустимую вещь. «Да, — продолжала я, — человек должен сперва говорить, потом петь, потом танцевать. Но речь — это разум, это мыслящий человек.

Пение же — чувство, а танец — захватывающий нас восторг Диониса. Эти три элемента смешивать нельзя, и музыкальной драмы быть не может».

Я рада, что была молода в то время, когда люди еще не были такими скептиками и ненавистниками жизни и удовольствия. В антрактах «Парсифаля» публика спокойно пила пиво, и это не оказывало никакого влияния на интеллектуальную и духовную жизнь. Великий Ганс Рихтер спокойно пил пиво и закусывал сосисками, что не мешало ему затем дирижировать, как полубогу, а окружающим вести разговоры на возвышенные и глубокие темы.

В те дни одухотворенность еще не была непременно связана с худобой. Люди сознавали, что человеческий дух есть непрерывное движение вверх, требующее громадного расхода жизненной энергии. Работа мозга ведь, в сущности, не что иное, как результат избытка животной энергии. Тело, точно осьминог, вбирает в себя все, что может захватить, передавая мозгу лишь то, что ему не нужно.

Многие из байройтских певцов были могучего телосложения, но, открывая рот, издавали звуки, свойственные миру красоты, населенному бессмертными богами. Вот почему я утверждаю, что эти артисты не чувствовали своей земной оболочки. Она являлась для них только вместилищем колоссальной энергии и силы, требовавшейся для выявления их божественного искусства.

16

В бытность мою в Лондоне я прочла в Британском музее произведения Эрнста Геккеля в английском переводе. На меня произвели сильное впечатление ясные и понятные объяснения различных явлений Вселенной, и я написала автору, благодаря его за удовольствие, полученное при чтении книги. В моем письме что-то, очевидно, привлекло его внимание, потому что некоторое время спустя, когда я танцевала в Берлине, я получила от него ответ.

Эрнст Геккель, высланный кайзером из Берлина за свободомыслие, не мог приехать в столицу, но наша переписка все же продолжалась, и, поселившись в Байройте, я пригласила писателя навестить меня и присутствовать на представлении «Парсифаля». В те времена автомобилей еще не существовало, и поэтому дождливым утром я наняла открытый парный экипаж и поехала на вокзал встречать Эрнста Геккеля. Хотя мы никогда раньше не видели друг друга, я сразу узнала великого человека, едва он вышел из вагона, так же, впрочем, как и он меня. Несмотря на шестидесятилетний возраст, он обладал великолепной атлетической фигурой. Его волосы и борода были совершенно белы, одет он был в странную, слишком широкую одежду, и в руках нес портплед. Он заключил меня в широкие объятия, и мое лицо утонуло в его бороде. От всего его существа шел аромат здоровья, силы и ума, если только ум может иметь аромат.

Мы вместе приехали в «Филипсруэ», где я приготовила для него комнату, убранную цветами. Затем я побежала в виллу «Ванфрид» и сообщила фрау Козиме радостную новость о приезде Эрнста Геккеля, о том, что он мой гость и что он будет присутствовать на «Парсифале». К моему удивлению, новость была принята более чем холодно. Мне не приходило в голову, что распятие у изголовья и четки на ночном столике фрау Козимы не были одними украшениями. Фрау Козима была действительно верующей католичкой и усердно посещала церковь Человек, написавший «Загадку Вселенной» и бывший величайшим иконоборцем после Чарлза Дарвина, теории которого он защищал, естественно, не мог встретить радушного приема в вилле «Ванфрид». Откровенно и наивно я стала выражать свой восторг перед величием Геккеля, и фрау Козиме пришлось с видимой неохотой дать ему место в вагнеровской ложе, так как я была ее близким другом и она не могла мне отказать.

В этот вечер во время антракта я прогуливалась перед

изумленной публикой в греческом хитоне, с голыми ногами и рука об руку с Эрнстом Геккелем, седая голова которого возвышалась над толпой. Во время спектакля Геккель был очень молчалив, и только к третьему действию «Парсифаля» я поняла, что эта мистическая страсть ему не по душе. Его мышление было слишком строго научно, чтобы поддаваться очарованию легенды.

Он не получил приглашения в виллу «Ванфрид», и поэтому мне пришла в голову мысль устроить прием в его честь. Я пригласила поразительно разнообразное общество, начиная от короля Фердинанда Болгарского, гостившего в Байройте, и очень свободомыслящей женщины принцессы Саксен-Мейнинген, сестры кайзера, и кончая Гумпердинком, Генрихом Тоде, и т. д. Я произнесла речь, восхваляя величие Геккеля, а затем стала танцевать в его честь. Геккель дал пояснения к моим танцам, сравнивая их с непреложными законами природы и говоря, что они являются выражением монизма, имея один источник и эволюционируя в одном направлении. Потом начал петь знаменитый тенор фон Барри. Когда он кончил, мы сели ужинать, причем Геккель веселился как мальчик. Пировали, пели и пили до утра.

Несмотря на это, на другой день Геккель поднялся с зарей, как это делал во все время своего пребывания в «Филипсруэ». Он заходил за мной и приглашал идти гулять на гору, что, сознаюсь, прельщало меня меньше, чем его, но прогулки эти были чудесны, так как по пути он рассказывал о каждом камне, дереве и слое земной коры.

Как-то во время вечера на вилле «Ванфрид» было доложено о приезде короля Фердинанда Болгарского. Все встали и шепотом стали убеждать меня подняться с места, ноя в качестве ярой демократки осталась лежать на кушетке в грациозной позе а 1а ш-ше Яееаш1ег. Очень скоро Фердинанд спросил, кто я такая, и подошел ко мне, к великому негодованию всех остальных присутствующих светлостей. Он просто уселся на кушетке рядом со мной и начал очень интересный разговор о своей любви к искусству древних греков. Я ему рассказала о своей мечте создать школу, которая привела бы к возрождению Древнего мира, и он заявил во всеуслышание: «Прекрасная мысль. Вы должны приехать в мой дворец на Черном море и там устроить вашу школу».

Негодование достигло высшего предела, когда за обедом я его пригласила поужинать со мной в «Филипсруэ» как-нибудь вечером после спектакля, чтобы я могла ему объяснить свои взгляды. Он любезно принял мое приглашение и сдержал слово, проведя очаровательный вечер вместе с нами в «Филипсруэ», где

я научилась ценить этого замечательного человека, поэта, художника и мечтателя с истинно королевской широтой ума. У меня был лакей с усами, как у кайзера, и на него посещение Фердинанда произвело сильное впечатление. Когда он внес поднос с шампанским и сандвичами, Фердинанд отказался, говоря, что никогда не пьет шампанского. Но, увидев этикетку, прибавил: «Ах, M`et Chandon, французское шампанское — с удовольствием! Ведь меня здесь прямо отравили немецким».

Визиты Фердинанда в «Филипсруэ» тоже вызвали целую бурю в Байройте, хотя мы самым безобидным образом сидели и говорили об искусстве, но свидания происходили в полночь, и этого было достаточно. Каждый мой поступок казался резко отличающимся от поступков других людей и потому вызывал негодование. В «Филипсруэ» было множество кушеток, подушек, ламп с розовыми абажурами, но стульев не было. Многие смотрели на него как на капище антиморальности. Крестьяне считали мой дом настоящим жилищем ведьм, наши невинные забавы — «страшными оргиями», в особенности слыша всю ночь напролет пение знаменитого тенора фон Барри и видя мои танцы.

В вилле «Ванфрид» я познакомилась с несколькими офицерами, которые пригласили меня ездить с ними по утрам верхом. Я садилась на лошадь, одетая в греческую тунику, в сандалиях и с непокрытой головой. Ветер играл моими кудрями, и я походила на Брунгильду. Я купила одну из лошадей и ездила на репетиции Брунгильдой, т. к. «Филипсруэ» находился в некотором расстоянии от Оперного театра. Справляться с лошадью было очень трудно: она принадлежала раньше офицеру, привыкла к шпорам и подо мной вела себя чрезвычайно самостоятельно, например останавливалась в дороге у каждого кабачка, где привыкли пить офицеры, и отказывалась двигаться дальше, пока не выходил какой-нибудь смеющийся приятель ее бывшего хозяина и не провожал меня часть пути. Можете себе представить, какое впечатление производило мое появление, когда я в конце концов приезжала в Оперный театр.

Во время первого представления «Тангейзера» моя прозрачная туника, сквозь которую отчетливо было видно мое тело, сильно взволновала весь кордебалет, затянутый в розовые трико. Даже фрау Козима на минуту потеряла свою храбрость. Она прислала ко мне в уборную одну из своих дочерей с длинной белой рубашкой, которую просила надеть под легкий шарф, служивший мне костюмом. Но я настояла на своем. Я хотела танцевать и одеваться по-своему или же совсем не выступать.

— Вы увидите, что не пройдет и нескольких лет, как все ваши вакханки и девушки с цветами будут одеты точно так же, как я

теперь, — заявила я. И пророчество это исполнилось.

Но в те времена мои красивые ноги вызывали много споров и жарких пререканий. Спорили о том, не безнравственно ли показать бархатистую кожу ног и не следует ли их закрыть под отвратительным шелковым розовым трико цвета семги. Много раз я доказывала до хрипоты, как отвратительно и неприлично трико цвета семги и как прекрасно и целомудренно нагое человеческое тело, вдохновленное красивыми мыслями. Таким образом, в глазах всех я являлась язычницей, хотя, несмотря на это, храбро боролась против филистимлян, но язычницей, побежденной любовью, родившейся в культе св. Франциска при звуке серебряной трубы, возвещающей о том, что поднимается Грааль.

Наступили последние лета, прошедшие в сказочном мире легенд. Тоде уехал читать лекции по городам Германии, и я тоже устроила себе турне. Я покинула Байройт, но в крови у меня была отрава. Я уже слышала, пение сирен. Томительное страдание, угрызения совести, печальные жертвы, тема любви, призывающей смерть, должны были навсегда уничтожить ясность понимания дорических колонн и рассудочную мудрость Сократа. Первым местом остановки был Гейдельберг. Там я услышала Генриха, читающего лекцию студентам. Он читал об искусстве то нежным, то увлекательным голосом. Внезапно посреди лекции он назвал мое имя и стал рассказывать юношам о новых эстетических формах, привезенных в Европу американкой. Его похвалы заставили меня задрожать от счастья и гордости. В тот вечер я танцевала студентам, и они устроили в мою честь большое шествие по улицам, после которого я очутилась рядом с Тоде на подъезде гостиницы, разделяя с ним успех. Вся молодежь Гейдельберга обожала его так же, как обожала я. В каждой витрине были выставлены его портреты, а все магазины продавали мою книжечку «Танец будущего». Наши имена постоянно упоминались рядом.

Фрау Тоде устроила прием в мою честь. Добродушная женщина, она казалась мне совершенно несоответствующей высокому горению Генриха. Она была слишком практична, чтобы быть ему истинной женой. И действительно, к концу своей жизни он ее покинул, уехав с одной скрипачкой, с которой и поселился в вилле на Гарденском озере. У фрау Тоде были разные глаза, один карий, а другой серый, и это постоянно ей придавало неестественное выражение лица.

Во время нашумевшего впоследствии процесса начался семейный спор о том, чья она дочь — Рихарда Вагнера или фон Бюлова. Со мной она была очень любезна и если даже ревновала, то незаметно. Женщина, которая вздумала бы ревновать Тоде,

обрекала себя на сплошную китайскую пытку, так как каждый его боготворил — и женщины, и юноши. Он был притягательным центром всякого собрания. Было бы интересно узнать, из каких элементов составляется ревность. Несмотря на то что я провела много ночей вдвоем с Генрихом, настоящей половой связи между нами не было. Но его обращение со мной так обострило все мои чувства, что одно прикосновение, а иногда один только взгляд давал мне всю остроту и глубину наслаждения, испытываемого во время полового акта. Любовь доставляла мне такое же удовольствие, какое часто мы испытываем во сне. Вероятно, такое положение вещей было слитком ненормальным, чтобы продолжаться дольше; я ничего не могла есть и от постоянной слабости танцевала все более и более воздушно.

В турне поехала со мной одна только горничная, и я постепенно довела себя до такого нервного состояния, что по ночам часто слышала зовущий меня голос Генриха и знала заранее, когда получу от него письмо. Окружающие стали обращать внимание на мою худобу и изможденный вид. Я не могла ни есть, ни спать и долгими бессонными ночами лежала, проводя рукой по своему исстрадавшемуся телу, охваченному, казалось, тысячью мучивших меня демонов, и напрасно стараясь найти выход своей пытке. Мне мерещились глаза Генриха и его голос. После таких ночей я поднималась с кровати разбитая и, охваченная диким отчаянием, садилась в первый отходящий поезд, проезжала половину Германии, чтобы провести с Тоде каких-нибудь полчаса, а затем снова продолжать свое турне и испытывать еще большие муки. Духовный восторг, который он в меня вдохнул в Байройте, мало-помалу сменился состоянием вечного раздражения и безумного непобедимого желания.

Но этому опасному положению вещей все же наступил конец. Импресарио мне принес контракт на поездку в Россию С.-Петербург был только в двух днях езды от Берлина. Но казалось, что попадаешь в совершенно иной мир бесконечных снежных равнин и темных лесов. Холод и степи, блестящие от покрывавшего их снега, как будто немного остудили мой разгоряченный мозг.

Генрих! Генрих! Он оставался далеко позади, в Гейдельберге, где рассказывал милым юношам о «Ночи» Микеланджело и поразительной «Богоматери». А я уходила от него все дальше и дальше в страну громадных белоснежных пространств, в страну холода, где попадались редкие жалкие деревни, в избах которых светился слабый свет. В ушах моих еще звучал голос Тоде, но слабый, доносившийся издалека. И наконец соблазнительные мелодии грота Венеры, причитания Кундри и крик Амфорты

превратились в холодную глыбу льда.

В ту ночь, проведенную в спальном вагоне, мне снилось, что я выбросилась из окна, совершенно обнаженная, прямо в снег, который меня принял в свои ледяные объятия и окончательно заморозил. Что бы сказал д-р Фрейд о подобном сне?

17

Не правда ли, трудно верить в провидение или руководящее начало, когда, развернув утреннюю газету, читаешь о железнодорожном крушении с двадцатью жертвами, не думавшими о смерти накануне, или видишь сообщение о целом городе, уничтоженном наводнением? Зачем же быть глупо эгоистичным и воображать, что провидение руководит жизнью каждого из нас в отдельности?

И несмотря на это, в моей жизни столько необыкновенного, что я иногда начинаю верить в предопределение. Поезд, шедший в Петербург, был задержан снежными заносами и, вместо того чтобы прийти по расписанию в четыре часа дня, пришел на двенадцать часов позже, в четыре утра. На вокзале никто меня не встретил. Мороз был в десять градусов, и мне не приходилось никогда испытывать такого холода. Русские извозчики в ватных армяках усиленно били сами себя кулаками, чтобы согреться.

Оставив горничную с вещами, я взяла одноконного извозчика и велела ему ехать в «Европейскую гостиницу». Таким образом, мрачным русским утром я ехала совершенно одна в гостиницу и вдруг увидела зрелище, настолько зловещее, что напоминало творчество Эдгара По. Я увидела издали длинное и печальное черное шествие. Вереницей шли люди, сгорбленные под тяжкой ношей гробов. Извозчик перевел лошадь на шаг, наклонил голову и перекрестился. В неясном свете утра я в ужасе смотрела на шествие и спросила извозчика, что это такое. Хотя я не знала русского языка, но все-таки поняла, что это были рабочие, убитые перед Зимним дворцом накануне, в роковой день 9 января 1905 года за то, что пришли безоружные просить царя помочь им в беде, накормить их жен и детей. Я приказала извозчику остановиться. Слезы катились у меня по лицу, замерзая на щеках, пока бесконечное печальное шествие проходило мимо. Но почему хоронят их на заре? Потому что похороны днем могли бы вызвать новую революцию.

Зрелище это было не для проснувшегося города Рыдания остановились у меня в горле. С беспредельным возмущением следила я за этими несчастными, убитыми горем рабочими, провожавшими своих замученных покойников. Не опоздай поезд на двенадцать часов, я бы никогда этого не увидела.

Если бы я этого не видела, вся моя жизнь пошла бы по другому пути. Тут, перед этой нескончаемой процессией, перед этой трагедией я поклялась отдать себя и свои силы на служение народу и униженным вообще. Ах, как мелки и бесцельны казались

мне теперь мои личные желания и страдания любви! Даже искусство казалось бессмысленным, если не будет в состоянии помочь этому. Наконец прошли последние удрученные люди. Извозчик обернулся и смотрел на мои слезы. Он покорно вздохнул, перекрестился и погнал лошадь к гостинице. Я поднялась в свои роскошные комнаты, легла в мягкую постель и плакала, пока не заснула. Но жалость и страшная злоба, охватившие меня в то раннее утро, должны были принести плоды в моей дальнейшей жизни. Комнаты в «Европейской гостинице» были велики и высоки, с наглухо закрытыми окнами, которые никогда не открывались. Воздух проникал через вентиляторы, проделанные под самым потолком. Я проснулась поздно. Зашел мой импресарио и принес цветы, и вскоре вся моя комната наполнилась ими.

Два дня спустя я выступила в зале Дворянского собрания перед светом петербургского общества. Как странно должно было казаться этим поклонникам пышного балета с богатыми постановками и декорациями смотреть на молодую девушку, одетую в прозрачную тунику и танцующую под музыку Шопена на фоне простой голубой занавеси. Но уже первый танец вызвал бурю аплодисментов. Я танцевала так, как понимала душу Шопена, страдала и томилась при трагических звуках прелюдий, протестовала и рвалась ввысь под бравурные полонезы; душа моя, плакавшая от справедливого негодования при мысли о мучениках, погребенных на заре, нашла отклик в волнующих рукоплесканиях богатой, избалованной и аристократической публики. Как странно!

На следующий день меня посетила очаровательная маленькая женщина в соболях, с жемчугом на шее и с бриллиантами в ушах. К моему удивлению, она оказалась знаменитой балериной Кшесинской. Она явилась, чтобы приветствовать меня от имени русского балета и пригласить на вечерний парадный спектакль в Опере. В Байройте я привыкла к холодному и враждебному отношению балета, который дошел до того, что усыпал ковер мелкими гвоздями, изранившими мне ноги. Такая разница отношения приятно поразила меня. В тот же вечер в роскошной карете, теплой от устилавших ее дорогих мехов, меня отвезли в Оперу и усадили с тремя блестящими представителями петербургской золотой молодежи в ложу первого яруса, полную цветов и конфет. Я по-прежнему была в своем белом хитоне и сандалиях и, вероятно, сильно выделялась среди этого собрания петербургской богатой аристократии.

Я враг балета, который нахожу лживым и возмутительным искусством, пожалуй, даже считаю его лежащим за пределами

искусства вообще. Но трудно было не аплодировать сказочной легкости Кшесинской, порхавшей по сцене и более похожей на дивную птицу или бабочку, чем на человека. Во время антракта я была поражена видом красивейших в мире женщин в поразительных открытых платьях, усыпанных драгоценностями, женщин, которых сопровождали не менее элегантные мужчины в блестящих мундирах. Как согласовать эту выставку роскоши и богатства со вчерашней похоронной процессией? Какая связь была между улыбающимися счастливыми людьми и вчерашними, грустными и подавленными? После спектакля я была приглашена ужинать во дворец Кшесинской, где познакомилась с великим князем Михаилом, который с некоторым удивлением слушал мои речи об устройстве школы танцев для детей народа. Вероятно, я казалась довольно загадочной личностью, хотя все принимали меня с любезным радушием и широким гостеприимством.

Несколько дней спустя у меня была прелестная Павлова, и я снова была приглашена в ложу, чтобы посмотреть эту балерину в очаровательном балете «Жизель». Несмотря на то что эти танцы противоречили всякому артистическому и человеческому чувству, я снова не могла удержаться от аплодисментов при виде восхитительной Павловой, воздушно скользившей по сцене. За ужином в доме Павловой, который был менее роскошен, но не менее красив, чем дворец Кшесинской, я сидела между художниками Бакстом и Бенуа. Тут я впервые познакомилась с Сергеем Дягилевым и вступила с ним в горячий спор об искусстве танца, как я его понимала, противопоставляя его балету.

За столом Бакст сделал с меня набросок, который теперь появился в его книге; на нем я изображена с очень серьезным выражением лица и с кудрями, сентиментально спускающимися с одной стороны. Удивительно, что Бакст, обладавший некоторым даром ясновидения, гадал мне в этот день по линиям руки и, указав на два креста, сказал: «Вы достигнете славы, но потеряете два существа, которых любите больше всего на свете». Это пророчество было для меня тогда загадкой.

После ужина неутомимая Павлова опять танцевала к большой радости своих друзей. Мы разошлись только к пяти часам утра, и несмотря на это, хозяйка меня пригласила вернуться в половине девятого, если меня интересует ее работа. Через три часа я приехала обратно (сознаюсь, что была очень утомлена) и застала ее в пачках, проделывающей сложную гимнастику, в то время как старый господин со скрипкой отбивал ритм. Это был знаменитый балетмейстер Петипа. Три часа подряд я провела в состоянии полнейшего изумления, следя за поразительными упражнениями Павловой, которая, казалось, была сделана из стали и гуттаперчи.

Ее прекрасное лицо стало походить на строгое лицо мученицы, но она не останавливалась ни на минуту. Весь смысл этой тренировки заключался, по-видимому, в том, чтобы отделить гимнастические движения тела от мысли, которая страдает, не принимая участия в этой строгой мускульной дисциплине. Это как раз обратное всем теориям, на которых я поставила свою школу, по учению которой тело становится бесплотным и излучает мысль и дух.

В двенадцать часов сели завтракать, но Павлова была бледна и почти не дотрагивалась до еды и напитков. Признаюсь, что я зато была голодна и уничтожила множество пожарских котлет. После завтрака хозяйка отвезла меня в «Европейскую гостиницу», а сама поехала на одну из бесконечных репетиций в Императорском театре. Страшно усталая, я повалилась на кровать и крепко заснула, благословляя небо за то, что каприз судьбы не сделал меня балериной!

На следующий день я снова встала в восемь часов утра, неслыханное для Петербурга время, чтобы посетить Императорское балетное училище. Тамя увидела ряды маленьких девочек, повторяющих все те же мучительные упражнения. Они часами стояли на пуантах, словно жертвы жестокой и никому не нужной инквизиции. Громадные пустые танцевальные залы, чуждые красоты и вдохновения, с единственным украшением на стенах в виде царского портрета, были похожи на комнаты пыток. Я пришла к глубокому убеждению, что Императорское балетное училище враждебно природе и искусству.

После недели, проведенной в Петербурге, я отправилась в Москву. Вначале публика там была сдержаннее, чем в Петербурге, но лучше я процитирую великого Станиславского: «В 1908 или 1909 году, точно не помню когда, я познакомился с двумя великими талантами того времени, которые произвели на меня сильное впечатление, — с Айседорой Дункан и Гордоном Крэгом. Я попал на выступление Айседоры Дункан случайно, так как до того ничего о ней не слышал и не читал афиш, сообщавших о предстоящих гастролях в Москве.

Поэтому я был очень удивлен, увидев в немногочисленной публике, собравшейся на спектакль, огромный процент художников и скульпторов с Мамонтовым во главе, много артистов балета, завсегдатаев премьер и любителей театральных новшеств. Первое появление Дункан на сцене не произвело большого впечатления. От непривычки видеть на сцене почти голое тело мне было трудно заметить и понять искусство танцовщицы. По окончании первого номера программы раздались жидкие аплодисменты и робкий свист. Но через несколько

номеров, один из которых был особенно убедителен, я не мог дольше оставаться безразличным к протестам широкой публики и начал демонстративно аплодировать.

Когда наступил антракт, я, вновь обращенный последователь великой артистки, поспешил к рампе, чтобы аплодировать. К моей радости, я оказался рядом с Мамонтовым, тоже шумно выражавшим одобрение, а за Мамонтовым стояли знаменитый художник, скульптор и писатель. Когда публика увидела, что аплодируют известные московские художники и артисты, произошло большое смятение. Свист прекратился и, увидев, что аплодировать разрешено, публика разразилась рукоплесканиями; потом начались вызовы, и спектакль закончился овацией.

С того дня я не пропустил ни одной из гастролей Дункан. Внутренне артистическое чувство, близко связанное с ее искусством, заставляло меня искать встреч с ней. Позже, когда я познакомился с ее методами и со взглядами ее большого друга Крэга, я понял, что в самых различных уголках земного шара в силу неизвестных нам условий разные люди ишут в разных сферах искусства одни и те же естественные принципы творчества и при встречах поражаются общности своих взглядов. Это и случилось при описываемой встрече. Мы поняли друг друга, еще не начав говорить. Мне не посчастливилось познакомиться с Дункан во время первого ее посещения Москвы. Но во время второго приезда она зашла к нам в театр, и я принял ее как почетную гостью. Во встрече приняла участие вся труппа, знавшая и любившая ее как артистку.

Дункан не умеет говорить логично и систематично о своем искусстве. Мысли приходят к ней случайно, как неожиданный результат самых обыденных явлений. Например, на вопрос, кто ее научил танцевать, она ответила: «Терпсихора. Я стала танцевать с той минуты, когда научилась стоять на ногах, и танцую всю жизнь. Человек, все человечество, весь мир должны танцевать. Так было, так всегда и будет. Люди напрасно стремятся этому помешать и напрасно отказываются понимать, что это естественное побуждение, заложенное в нас природой. Вот и все», — закончила она на своем несравненном франко-американском диалекте. В другой раз, говоря о только что закончившемся представлении, во время которого в ее уборную заходили посетители, мешая ее приготовлениям, она начала объяснять: «Я не могу танцевать таким образом. Раньше, чем выйти на сцену, я должна завести свою душу, как мотор. Когда мотор начинает работать, мои руки, ноги и все тело двигаются непроизвольно, но если у меня нет времени, чтобы привести душу в движение, янев состоянии танцевать».

Как раз тогда я был занят исканием той творческой энергии, которой артист должен заряжать свою душу перед выходом на сцену, и, вероятно, надоел Дункан своими расспросами. Я наблюдал за Дункан во время спектаклей и репетиций и видел, как развивающееся чувство меняет выражение ее лица и как она с блестящими глазами начинает изображать то, что рождается в душе. Вспоминая наши случайные разговоры и сравнивая нашу работу, мне стало ясно, что мы ищем одного и того же в разных областях искусства. Разговаривая со мной об искусстве, Дункан постоянно упоминала Гордона Крэга, которого она считала гением и одним из крупнейших деятелей современного театра.

— Он создан не только для своей родины, но и для всего мира, — заявила она однажды, — и должен жить там, где его талант может шире развернуться, где условия работы и общее положение вещей больше подходят его требованиям. Его место у вас, в Художественном театре.

Я узнал, что она много ему писала обо мне и нашем театре, убеждая Крэга приехать в Россию. Что же до меня, то я стал убеждать дирекцию нашего театра пригласить знаменитого режиссера, чтобы подвинуть вперед наше искусство, как раз тогда, когда казалось, нашему театру удалось пробить брешь в глухой степи и следовало подлить масла в огонь. Отдаю должное своим товарищам — они взглянули на дело с точки зрения истых художников и решили ради искусства пожертвовать большой суммой денег».

Театр Станиславского восхитил меня в такой же мере, в какой ужаснул меня балет. Каждый свободный вечер я проводила у художественников, где была тепло принята всей труппой. Станиславский часто меня навещал, думая, что посредством расспросов ему удастся изучить сущность моих танцев и перевоплотить их в своем театре, но я ему объяснила, что результатов можно добиться, только если танцевать по моей методе с раннего детства. Тем не менее при своем втором посещении Москвы я увидела, как пытались танцевать несколько молодых красивых девушек из его труппы, но выходило это очень неудачно. Станиславский был целыми днями занят репетициями в своем театре и поэтому часто заходил ко мне уже после спектакля. В своей книге он говорит, что «наверное, утомлял Дункан расспросами», но это не так: я сама мечтала делиться своими взглядами с окружающими.

Морозный воздух, снег, русская пища и в особенности икра вылечили меня от истощения, причиненного духовной любовью Тоде, и все мое существо жаждало общения с сильной личностью, которая стояла передо мною в лице Станиславского. Как-то

вечером, глядя на его благородную красивую фигуру, широкие плечи, черные, чуть серебрящиеся на висках волосы, я возмутилась своей всегдашней роли Эгерии. Когда он собрался уходить, я обвила его сильную шею руками, притянула его голову к себе и поцеловала в губы. Он нежно вернул мне поцелуй, но на лице его было написано крайнее изумление, как будто поцелуй был последнее, чего он мог от меня ожидать. Затем, когда я пыталась привлечь его к себе еще ближе, он отшатнулся с недоумением и вскричал: «Но что мы будем делать с ребенком?» — «Каким ребенком?» — спросила я. — «Ну, нашим, конечно. Что мы с ним сделаем? Видите ли, — продолжал он с расстановкой, — я никогда не соглашусь, чтобы мой ребенок воспитывался на стороне, а иначе при моем теперешнем семейном положении быть не может».

Необыкновенная серьезность, с которой он говорил о ребенке, насмешила меня, и я расхохоталась Он растерянно взглянул на меня, отвернулся и поспешно удалился по коридору гостиницы. Всю ночь, просыпаясь, я не могла удержаться от смеха, но, смеясь, была вне себя от злости. Мне кажется, что только тут я вполне ясно поняла, как некоторые культурные люди могут отправляться в места сомнительной репутации после общения с людьми высокого интеллекта. Я, будучи женщиной, этого сделать не могла и потому всю ночь напролет металась в кровати из стороны в сторону Утром я пошла в русскую баню, где пар, чередуясь с холодной водой, привел мою нервную систему в моральное состояние.

И, несмотря на это, светские молодые люди, с которыми я встречалась у Кшесинской и которые отдали бы все, чтобы иметь у меня успех, с самых первых слов показались мне настолько неинтересными, что совершенно заморозили мои чувства. Конечно, после бесед с культурными Чарльзом Галлэ и Генрихом Тоде общество золотой молодежи меня не удовлетворяло.

Много лет спустя я рассказала этот случай жене Станиславского, которую охватил приступ бешеного смеха и которая воскликнула: «Ах, это так на него похоже! Он очень серьезно относится к жизни».

Как я ни старалась, я получила в ответ только несколько нежных поцелуев, но в дальнейшем встречала упорное холодное сопротивление, с которым нельзя было бороться. Станиславский больше не решался заходить ко мне после театра, но однажды доставил мне большое удовольствие, поехав со мной на санях в загородный ресторан, где мы позавтракали в отдельном кабинете. Мы пили водку и шампанское и говорили об искусстве, ияв конце концов убедилась, что надо быть самой Цирцеей, чтобы

соблазнить Станиславского.

* * *

После Москвы я заехала на короткое время в Киев, где толпа студентов остановила меня на площади перед театром и не отпустила до тех пор, пока я не пообещала, что дам спектакль для них, так как сцены в театре были чересчур высоки. Когда я уехала из театра, студенты все еще стояли на площади, выражая свое возмущение антрепренером. Я встала в санях и произнесла речь, в которой выразила свою радость по поводу того, что мое искусство вдохновляет интеллигентную молодежь в России, так как во всем мире нет места, где бы искусство и идеалы играли столь значительную роль в жизни студентов, как в России.

Поездка по России была прервана ранее заключенными контрактами, требовавшими моего возвращения в Берлин. Несмотря на краткость моего пребывания в этой стране, я произвела значительное впечатление и возбудила много споров. Между одним фанатичным балетоманом и дункановским поклонником даже состоялась дуэль. С этого времени русский балет стал пользоваться музыкой Шопена и Шумана и надевать греческие костюмы, а некоторые балерины доходили даже до того, что снимали чулки и туфли, танцуя босоножками.

18

Я вернулась в Берлин с твердым решением немедленно предпринять шаги для основания моей школы, предварительно поделившись своими планами с матерью и Элизабет, которые отнеслись к ним восторженно. После недельных поисков была найдена на улице Трауден, в Груневальде, только что законченная постройкой вилла, которую мы и купили.

Все наши действия напоминали поступки героев сказок братьев Гримм. Первым делом мы отправились к Вертгейму, приобрели сорок кроваток с белыми кисейными занавесками, подхваченными голубыми лентами, и начали превращать виллу в детский рай. В вестибюле мы повесили копию картины, изображавшей героическую фигуру амазонки размером вдвое больше человеческого роста, в большом танцевальном зале — барельефы Лукка дель Роббиа и пляшущих детей Донателло, а в детской спальне «Мадонну с Младенцем», написанную в голубых и белых тонах и окруженную гирляндой из плодов.

Я разместила в вилле все эти идеальные изображения ребенка, барельефы, скульптуры, книги и картины, изображающие танцующих маленьких детей, потому что дети являлись в них в том виде, в каком представлялись воображению художников и скульпторов всех веков, и выбрала именно греческие вазы с танцующими детьми, крошечные фигурки из Танары и Беотии, группы пляшущих детей Донателло и Гейнсборо, потому что они олицетворяют ликующий гимн детства. Все эти фигуры имеют общую наивную грацию форм и движений, словно дети разных веков встретились и через столетия протянули друг другу руки. Дети моей школы, двигаясь и танцуя среди этих произведений искусства, должны были вырасти похожими на них, непроизвольно отражая на лицах и в движениях ту же детскую грацию, частицу того же счастья. Это первый шаг к красоте, первый шаг к новому танцу.

Я поместила в своей школе также фигуры танцующих, бегущих и прыгающих девушек, тех юных спартанских дев, которые путем суровых упражнений готовились к своему назначению — быть матерями храбрых воинов — быстроногих дев, ежегодно получавших призы на состязаниях, в свободных одеждах и с развевающимися вуалями, молодых девушек, танцующих рука об руку в Панафинах. В них скрывался будущий идеал, и ученицы должны были приучаться чувствовать нежную любовь к этим формам, с каждым днем все больше и больше походить на них и насыщаться тайной этой гармонии. Я

фанатично верила, что достичь красоты можно, только пробудив стремление к ней.

Кроме того, для достижения гармонии, о которой я мечтала, ученицы должны были ежедневно проделывать ряд специально подобранных упражнений. Эти упражнения исполнялись охотно и весело, так как были созданы с намерением согласовать их с личными побуждениями ребенка. Каждое упражнение являлось не только средством к достижению цели, но и самой целью, и цель эта была — наполнить день и сделать его счастливым.

Гимнастика должна лечь в основу всякого воспитания. Необходимо давать телу много света и воздуха и методично руководить его развитием. Необходимо вызвать полнейшее развитие всех жизненных сил тела. В этом и состоит обязанность учителя гимнастики. После гимнастики идет танец. Дух танца входит в тело, гармонично развитое и доведенное до высшей степени напряженности энергии. Для гимнаста целью является движение и культура тела, для танцовщика они только средство. Тело в танце должно быть забыто — оно только инструмент, хорошо настроенный и гармоничный. В гимнастике движениями выражается только тело, в танце же — чувства и мысли души сквозь тело.

Упражнения начинались простой гимнастической подготовкой мускулов для развития их гибкости и силы, и только после этих упражнений приступали к созданию будущего танца. Первые шаги состояли в том, что учились простой ритмической ходьбе или маршировке, сперва медленно двигаясь под простые ритмические звуки, а затем, ускоряя темп, под более сложные; потом бежали, сначала медленно, и прыгали, тоже медленно, в определенные ритмические моменты. Такими упражнениями учатся грации звуков, и ими же мои ученицы достигли понимания градации движений. Эти упражнения составляли только часть того, чему они обучались. Дети всегда были одеты в свободно драпирующие их одежды как во время спортивных занятий, так и во время игр и прогулок в лесу. Прыгая и бегая совершенно естественно, они научились выражать себя движением так же легко, как другие выражают себя словами или песней.

Воспитание и учение детей не были строго ограничены областью искусства, а прежде всего проистекали из движений природы. Движение облаков, гонимых ветром, качающихся деревьев, полета птицы и шелестящих листьев должно было иметь для них особенное значение Они учились подмечать характерные свойства каждого движения в отдельности. Они чувствовали в душе скрытую связь, невидимую для других, связь, которая должна была их посвятить в тайны природы. Каждая

частица их гибких тел должна была отзываться на песнь природы и вторить ей.

Чтобы собрать детей для нашей школы, мы поместили объявления в наиболее распространенных газетах о том, что школа Айседоры Дункан открыла прием талантливых детей, чтобы сделать их последователями того искусства, которое я надеялась дать тысячам детей народа. Конечно, внезапное открытие школы без предварительного обсуждения, без капитала и без всякой организации было страшно неосторожным предприятием и привело моего импресарио в отчаяние. Он постоянно проектировал турне по всему миру, а я постоянно уклонялась от него, то проводя целый год в Греции, что он считал потерянным временем, то совершенно прерывая свою артистическую карьеру, чтобы усыновить и воспитать детей, по его мнению, абсолютно ни к чему не пригодных. Но эта последняя затея была под стать остальным затеям нашей семьи и отличалась такой же непрактичностью, несвоевременностью и порывистостью.

Раймонд присылал из Копаноса все более и более волнующие известия. Колодезь продолжал поглощать деньги. С каждой неделей исчезала надежда когда-нибудь добраться до воды. Расходы по постройке дворца Агамемнона дошли до таких чудовищных размеров, что я принуждена была сдаться.

Копаное так и остался красивой развалиной на холме, служа крепостью для очередных греческих революционеров. Он и сейчас еще высится там, быть может, в качестве надежды на будущее.

Я решила, что все мои средства должны пойти на основание школы для молодежи всего мира, и выбрала с этой целью Германию, казавшуюся мне тогда центром философии и культуры.

Громадное множество детей откликнулось на объявление. Помню, как однажды, возвращаясь с дневного спектакля, я нашла всю улицу запруженной родителями и их детьми. Извозчик-немец обернулся ко мне с козел и сказал: «Здесь живет сумасшедшая дама, которая поместила в газетах объявление, что хочет иметь детей».

«Сумасшедшей дамой» была я. Я до сих пор не отдаю себе отчета в том, каким образом мы выбирали детей. Я так торопилась поскорей заселить Груневальд и сорок кроваток, что брала детей без разбора, руководствуясь только милой улыбкой и красивыми глазами и не задаваясь вопросом, способны ли они сделаться в будущем танцорами. Как-то в Гамбурге ко мне в гостиницу пришел мужчина во фраке и цилиндре, с пакетом в руках, завернутым в шаль. Развернув пакет, я обнаружила ребенка

лет четырех, с огромными наблюдательными глазами, самого молчаливого ребенка, которого я когда-либо видела. Девочка эта не издала ни звука. Сам же господин, казалось, очень торопился. Он спросил меня, возьму ли я ребенка. Сравнивая его лицо с лицом ребенка, я нашла между ними красноречивое сходство, которое, может быть, могло объяснить поспешность и таинственность действий господина. С обычной непредусмотрительностью я согласилась оставить ребенка у себя, и господин быстро исчез. С тех пор я его больше не видела.

Это был странный способ оставить на моих руках девочку, точно она была куклой. По дороге из Гамбурга в Берлин я заметила, что у девочки сильный жар, как оказалось, острый случай воспаления миндалевидных желез И в Груневальде три недели подряд мы боролись за ее жизнь — я, две сестры милосердия и превосходный доктор Гофф, знаменитый хирург, который так воодушевился идеей моей школы, что предложил свои услуги бесплатно.

Д-р Гофф постоянно мне говорил: «Здесь не школа, а больница. У всех этих детей наследственные болезни, и вы увидите, что потребуется громадный уход, чтобы сохранить им жизнь. Где уж тут учить танцам!» Д-р Гофф был одним из величайших благодетелей человечества, знаменитым хирургом, которому платили бешеные деньги за визит. Он же тратил все свои средства на содержание детской больницы, которую устроил в предместий Берлина. С момента открытия школы он стал нашим врачом и хирургом и ведал всем, относящимся к здоровью детей и к санитарному состоянию школы. Говоря правду, без его неустанной помощи мне никогда не удалось бы довести детей до того цветущего состояния, которого они достигли впоследствии.

Подбор детей, организация школы, начало уроков и ежедневные занятия отнимали все наше время. Несмотря на предупреждения моего импресарио, что удачные подражательницы моих танцев собирали целые состояния в Лондоне и других местах, ничто не могло меня заставить покинуть Берлин. Каждый день с пяти до семи я учила детей танцевать.

Дети делали необыкновенные успехи. И я считаю, что своим здоровьем они значительно обязаны вегетарианскому режиму, введенному доктором Гоффом. Он считал, что детей следует держать на диете из свежих овощей и фруктов, но без мяса.

* * *

В то время я пользовалась в Берлине прямо невероятной популярностью. Меня называли Божественной Айседорой и даже уверяли, что больные, приведенные ко мне в театр, выздоравливали. Было странно видеть на утренних спектаклях принесенных на носилках больных. Я всегда ходила с голыми ногами в сандалиях и белом хитоне, и публика посещала мои спектакли с почти религиозным экстазом.

Однажды вечером, когда я возвращалась со спектакля, студенты выпрягли лошадей из экипажа и повезли меня по знаменитой Зигес-аллее. По дороге они потребовали, чтобы я произнесла речь. Я поднялась с места в своей виктории — автомобилей тогда еще не было — и обратилась к студентам со следующими словами:

— Нет более великого искусства, чем искусство скульптора. Но как это вы, любители искусства, позволяете так его профанировать в самом центре города? Взгляните на эти статуи! Вы — поклонники искусства, но если бы вы действительно изучали его, вы бы взяли ночью камни и уничтожили бы их. Искусство? Это искусство? Нет, это изображения кайзера!

Студенты согласились со мной и выразили одобрение шумными криками. Не появись в эту минуту полиция, мы бы, может быть, исполнили мое желание и уничтожили эти берлинские статуи.

19

Во время одного из моих вечерних выступлений в Берлине в 1905 году я обратила внимание на сидевшего в первом ряду человека. Я не рассматривала этого зрителя и даже не взглянула на него, но инстинктивно почувствовала его присутствие. После спектакля ко мне в уборную вошел красивый, но очень рассерженный человек.

— Вы поразительны! — воскликнул он. — Вы необыкновенны! Но отчего вы украли мои идеи и где вы раздобыли мои декорации?

— Что с вами? О чем вы говорите? Это мои собственные голубые занавеси. Я их придумала в возрасте пяти лет и с тех пор танцую на их фоне!

— Нет! Это мои декорации и мои идеи. Но вы — то существо, которое я представлял себе среди них. Вы живое воплощение моих мечтаний.

— Но кто же вы?

Тогда с его уст слетели эти необыкновенные слова:

— Я сын Эллен Терри.

Сын Эллен Терри, совершеннейшего в моих глазах идеала женщины! Эллен Терри…

— Поужинайте с нами, — пригласила его ничего не предчувствовавшая мать. — Раз вас так интересует искусство Айседоры, вы должны поужинать у нас дома.

И Крэг пошел к нам ужинать. Он был лихорадочно взволнован и стремился рассказать возможно больше о своих взглядах на искусство и своих честолюбивых замыслах. Я слушала с большим интересом. Но понемногу матери и другим членам семьи захотелось спать, и под разными предлогами все постепенно разошлись по своим комнатам. Мы остались вдвоем. Крэг продолжал говорить о театральном искусстве и жестами пояснял свои мысли. Вдруг он неожиданно сказал:

— Но вы что тут делаете? Вы, великая артистка, живете в такой семейной обстановке. Как нелепо! Я первый вас увидел и создал. Вы принадлежите моему вдохновению.

Высокий гибкий Крэг лицом очень походил на свою удивительную мать, только черты его были еще нежнее. Несмотря на большой рост, в Крэге было что-то женственное, особенно в чувственных линиях рта с тонкими губами. Золотые кудри детских портретов златоволосого мальчика Эллен Терри, хорошо знакомого лондонской публике, теперь немного потемнели; близорукие глаза метали из-за очков стальные искорки. Он

производил впечатление хрупкости, почти женской слабости, и только руки с широкими концами пальцев изобличали силу. Он всегда говорил о своих квадратных больших пальцах, как о пальцах убийцы: «Дорогая, ими хорошо было бы вас задушить!»

Точно загипнотизированная я позволила ему накинуть пальто на мой белый хитон. Потом он взял меня за руку, и мы сбежали вниз по лестнице на улицу. Там он кликнул извозчика и сказал как только мог лучше по-немецки:

— Meine Frau und ich, wir wollen nach Potsdam gehen.

Несколько извозчиков отказались нас везти, но один наконец согласился, и мы отправилась в Потсдам. Приехав на заре, мы остановились в маленькой гостинице, двери которой только что открылись, и там выпили кофе, а с восходом солнца поехали обратно в Берлин. В Берлин мы приехали около десяти утра и стали обдумывать, что нам делать. Мы не могли возвратиться к матери и поэтому отправились к моей подруге, Эльзе де Брюгер. Она всецело принадлежала богеме, приняла нас с большим радушием, накормила завтраком — кофе и яичницей — и уложила меня в свою постель, где я и проспала до вечера.

Тогда Крэг повез меня в свое ателье на самом верху высокого берлинского дома. Пол там был черный, навощенный, усыпанный искусственными лепестками роз. Передо мной стояло воплощение молодости, красоты и гения, и, вспыхнув внезапной любовью, я бросилась в его объятия, побуждаемая темпераментом, спавшим два года, но всегда готовым проснуться. На мой зов откликнулся темперамент во всех отношениях меня достойный; я нашла плоть своей плоти и кровь своей крови. Часто он кричал мне: «Вы моя сестра!» — ия чувствовала в нашей любви какое-то преступное кровосмешение.

Я не знаю, как другие женщины вспоминают своих любовников. Приличие, вероятно, требует описать голову, плечи, руки человека, а затем перейти к его одежде, но я всегда его вижу как в ту первую ночь в ателье, когда его белое, гладкое, блистающее тело освободилось от одежды, точно от кокона, и засверкало во всем своем великолепии перед моими ослепленными глазами.

Так должны были выглядеть Эндимион с его стройным высоким молочным телом перед широко раскрытыми глазами Дианы, Гиацинт, Нарцисс и бодрый мужественный Персей. Он казался скорей ангелом Блэка, чем смертным юношей. Мои глаза еще не насладились как следует его красотой, как я почувствовала безумное влечение, почувствовала себя слабой, словно тающей. Мы горели одним общим огнем, как два слившихся языка пламени. Наконец я нашла своего друга, свою

любовь, себя самое. Нас было не двое, мы слились в одно целое, в то поразительное существо, о котором Платон говорит в «Федре», в две половины одной души. Это не было соединение мужчины с женщиной, а встреча двух душ-близнецов. Тонкая плотская оболочка горела таким экстазом, что претворила земную страсть в райские пламенные объятия.

Есть радости такие полные, такие совершенные, что их не следует переживать. Ах, почему моя пылающая душа не отделилась в ту ночь от тела и не полетела, как ангел Блэка, сквозь земные облака в иные миры? Его любовь была юна, свежа и сильна, но у него не было ни нервов, ни свойств сладострастника, и он предпочитал покончить с любовью до наступления пресыщения и отдать нерастраченный пыл молодости чарам своего искусства.

В ателье не было ни ложа, ни кресел, не было также возможности обедать. Ночь мы провели на полу. У Крэга не было ни гроша, а я не решалась сходить домой за деньгами. Две недели провела я у него. Когда нам хотелось есть, он внизу заказывал обед в долг, а я пряталась на балконе, а когда обед приносили, я входила в комнату и получала свою порцию.

Бедная моя мать ходила по всем полицейским участкам и посольствам, жалуясь, что подлый соблазнитель сбежал с ее дочерью, а импресарио страшно волновался, узнав о моем внезапном исчезновении. Пришлось отменить ряд спектаклей, и никто не мог сказать, что произошло. Но все же в газетах предусмотрительно поместили объявление, что Айседора Дункан серьезно заболела воспалением миндалевидных желез. Через две недели мы вернулись к матери, так как, говоря правду, несмотря на безумную страсть, мне немного надоело спать на твердом полу и не есть ничего, кроме того, что Крэг мог достать в гастрономической лавке, или когда мы выходили после наступления темноты.

Когда мать увидела Гордона Крэга — она воскликнула: «Уйди, подлый соблазнитель!» Она бешено ревновала меня к нему Гордон Крэг, один из самых необыкновенных талантов нашей эпохи, существо, сделанное, как и Шелли, из пламени и молний. Он вдохновлял современное театральное направление, хотя, правда, не принимал активного участия в повседневной жизни сцены. Он оставался в стороне и мечтал, но мечты эти вдохновляли все, что есть прекрасного в современном театре. Без него у нас не было бы Рейнгардта, Жака Копо, Станиславского. Без него у нас все еще был бы в театре прежний реализм с шевелящимися на деревьях листами и с дверьми, открывающимися и закрывающимися в домах.

Крэг был блестящим товарищем. Он был одним из редких встреченных мною людей, которые с раннего утра до позднего вечера находились в приподнятом настроении. С первой же чашки утреннего кофе его воображение загоралось и сверкало яркими красками. Пройти по улице вместе с ним было равносильно прогулке с верховным жрецом в Древних Фивах. Вероятно, вследствие своей чрезвычайной близорукости он часто внезапно останавливался перед каким-нибудь уродливым образцом дома современной практической немецкой архитектуры и, вынув карандаш и блокнот, начинал пояснять, насколько дом красив. Затем он принимался лихорадочно делать набросок, который в законченном виде походил на египетский храм. Он приходил в дикое возбуждение над каждым встреченным по пути деревом, птицей или ребенком. Ни одной секунды с ним не бывало скучно. Или он радовался как безумный, или впадал в другую крайность, в настроение, когда все небо, казалось, становилось черным и воздух сгущался, как перед бурей. Дух медленно оставлял тело, и в нем не оставалось ничего, кроме черной тоски.

К несчастью, с течением времени эти мрачные настроения посещали его все чаще и чаще. Почему? Главным образом потому, что в ответ на его возгласы «Моя работа! Моя работа!», что он повторял очень часто, я спокойно говорила: «Да, конечно, ваша работа удивительна. Вы — талант, но, знаете ли, существует также и моя школа». Он ударял кулаком по столу и возражал: «Да, но моя работа так важна», а я замечала: «Безусловно, очень важна. Ваша работа — это фон, но на первом плане живое существо, так как душа излучает все остальное. Прежде всего моя школа — лучезарное человеческое существо, движущееся в совершенной красоте, а затем ваша работа — совершенный фон для этого существа». Эти споры часто кончались грозным, зловещим молчанием. Тогда во мне пробуждалась женщина, пугалась и восклицала: «Милый, неужели я вас обидела?» — «Обидели? О, нет! Проклятые женщины всегда надоедливы, и вы также надоедливы, вмешиваясь в мою работу! Работа, моя работа!»

Он выходил, хлопая дверью, и только стук ее давал мне понять, как велика происшедшая катастрофа. Я ждала его возвращения и, не дождавшись, бурно рыдала всю ночь. В этом таилась трагедия. Часто повторявшиеся столкновения сделали в конце концов жизнь невозможной, лишив ее гармонии. Мне было предназначено пробудить в этом таланте огромную любовь и пытаться сочетать продолжение моей работы с его любовью. Неосуществимая попытка! После первых недель упоения страстью

началась ожесточенная война между гениальностью Гордона Крэга и вдохновением моего искусства.

— Почему вы не прекратите это? — говорил он. — Зачем вам нужно размахивать на сцене руками? Почему вы не сидите дома и не точите мои карандаши?

И тем не менее Гордон Крэг ценил мое искусство так, как никто его не сумел оценить. Но его самолюбие, его артистическая зависть не позволяют ему признать, что женщина может действительно быть художницей.

* * *

Сестра Элизабет организовала для попечения о груневальдской школе комитет из самых выдающихся и артистических женщин Берлина. Узнав о Крэге, они прислали мне длинное письмо, в котором в величавых выражениях заявили, что как представительницы хорошего буржуазного общества не считают себя вправе покровительствовать школе, руководительница которой имеет такие беспринципные моральные воззрения. Жена известного банкира Мендельсона была выбрана этими дамами для вручения мне письма. Войдя с огромным посланием в руках, она неуверенно смотрела на меня и, внезапно разрыдавшись, бросила письмо на пол и заключила меня в свои объятия. «Не думайте, что я подписала это отвратительное письмо! — вскричала она. — Что же до других дам, то с ними ничего не поделаешь. Они отказываются быть патронессами школы, хотя все еще верят в вашу сестру Елизавету».

У Елизаветы были свои взгляды на вещи, но она о них не рассказывала, и потому я увидела, что у этих дам все позволено, лишь бы не вызывало разговоров! Эти женщины меня так возмутили, что я наняла зал филармонии и прочла специальную лекцию о танце как об искусстве раскрепощения, закончив беседой о праве женщины любить и производить детей по своему желанию.

У меня, конечно, спросят: «Что станется с детьми?» Я могу назвать многих выдающихся людей, рожденных вне брака, что не мешало им достигнуть славы и богатства. Но независимо от того я задала себе вопрос, как может женщина выходить замуж за человека, которого она считает настолько низким, чтобы в случае разрыва не поддерживать собственных детей? Зачем же тогда женщине выходить замуж за человека, которого она считает таким подлым? Я думаю, что правда и вера друг в друга являются

первыми принципами любви. Как женщина с самостоятельным заработком, я нахожу, что можно приносить в жертву силы, здоровье и даже рисковать жизнью, чтобы иметь ребенка, но не подверглась бы этой муке, если бы могла предположить, что в один прекрасный день у меня отнимут его под предлогом, что ребенок принадлежит отцу по закону, и разрешат его видеть три раза в год! Остроумный американский писатель раз ответил своей подруге, спросившей у него, что подумает о них их ребенок, если они не поженятся: «Если бы ваш или мой ребенок принадлежал к такому разряду детей, нам было бы все равно, что он о нас думает!» Всякая развитая женщина, читающая брачный контракт и затем его подписывающая, заслуживает последствий брака. Эта лекция произвела большой переполох. Половина публики мне сочувствовала, а половина возмущалась, свистела и швыряла на сцену все, что попадалось под руку. В конце концов недовольные покинули зал, а с оставшимися я завела интересную беседу о правах женщины, которая во многом определила женское движение наших дней.

Я продолжала жить в нашей квартире на улице Виктории, а Элизабет переехала в школу. Мать не знала, на чем остановиться. К тому времени моя мать, которая в дни нужды и несчастий переносила невзгоды с необыкновенным мужеством, начала находить жизнь очень скучной. Может, это зависело от ее ирландского характера, который не мог переносить благосостояние так же легко, как лишения. Настроение ее сделалось неровным, и часто случалось, что все ей переставало нравиться. Впервые со времени нашего отъезда за границу она стала выражать тоску по Америке, говоря, что там все значительно лучше.

Когда мы ее водили в лучший берлинский ресторан, думая ей доставить удовольствие, и спрашивали, что заказать, она отвечала: «Дайте мне креветок». Если по времени года креветок не было, она возмущалась бедностью страны и отказывалась что-либо есть. Если же креветки подавали, то она все-таки жаловалась, рассказывая, насколько они лучше в Сан-Франциско.

По-моему, эта перемена характера вызывалась многими годами добродетельной жизни, посвященной только воспитанию детей. Теперь, когда мы нашли интересы, которые нас поглощали целиком и под влиянием которых мы часто ее покидали, она поняла, что напрасно потратила на нас лучшие годы своей жизни, ничего себе не оставив, как, мне кажется, это делают многие матери, особенно в Америке. Эта неустойчивость настроения проявлялась все больше и больше, и она все чаще и чаще выражала желание вернуться в свой родной город, что вскоре и

исполнила.

* * *

Мысли мои по-прежнему были поглощены виллой в Груневальде, где стояло сорок кроваток. Какая странная игра судьбы! Если бы я встретила Крэга на несколько месяцев раньше, безусловно, не было бы ни виллы, ни школы. В нем я нашла такое богатое содержание, что не нуждалась бы в основании школы. Но теперь начавшая осуществляться мечта моего детства завладела мной целиком.

Немного спустя я узнала — ив этом не могло быть никакого сомнения, — что я беременна. Мне снилась Эллен Терри в блестящем наряде, вроде того, в котором она играла в «Имогене»; она вела за руку белокурую девочку, похожую на нее как две капли воды, и своим поразительным голосом звала меня: «Айседора, люби. Люби. Люби.» С этого момента я знала, что ко мне идет из призрачного мира небытия до рождения. Придет этот ребенок, неся мне радость и печаль. Радость и печаль! Рождение и смерть! Ритм танца жизни! Божественная весть ликовала во всем моем существе. Я продолжала танцевать перед публикой, учить в школе, любить моего Эндимиона. Бедный Крэг не находил себе места, был нетерпелив, несчастен, покусывал ногти и часто восклицал: «Работа, работа, моя работа!» Снова дикое вторжение природы в искусство. Но меня утешало чудесное появление Эллен во сне, который повторился два раза.

* * *

Наступила весна. У меня были подписаны контракты на гастроли в Дании, в Греции и Германии. В Копенгагене меня сильнее всего поразили молодые девушки, которые со счастливыми лицами самостоятельно и свободно гуляли по улицам в студенческих шапочках на темных кудрях. Я была поражена, так как никогда раньше не видела таких милых девушек. Мне объяснили, что это первая страна, в которой женщины добились избирательного права.

Расходы, связанные с содержанием школы, заставили меня поехать в это турне, так как я истратила весь свой запасный капитал и оставалась совершенно без денег. Танцуя в Стокгольме, я послала приглашение Стриндбергу, которым очень восхищалась, прийти посмотреть на мои танцы, но он ответил,

что он нигде не бывает и ненавидит людей. Я ему предложила место на сцене, но и это его не убедило.

После удачного сезона в Стокгольме мы морем вернулись в Германию. На пароходе мне стало очень плохо, и я поняла, что мне следует на время прекратить гастроли. Сильная жажда одиночества томила меня, и я мечтала уйти подальше от любопытных человеческих взоров. В июне месяце после непродолжительного пребывания в школе меня вдруг сильно потянуло к морю. Сперва я отправилась в Гаагу, а оттуда в деревушку Нордвик на побережье Северного моря. Здесь я наняла маленькую белую виллу на дюнах, называвшуюся «Мария». Я была настолько наивна, что считала роды очень несложным явлением природы. Поселившись в этой вилле на расстоянии сотен миль от города, я стала пользоваться услугами деревенского врача и в своем неведении вполне им удовлетворялась, хотя он, кажется, привык иметь дело только с крестьянками.

От Нордвика до Кадвика, ближайшей деревни, было около трех километров. Жила я в полном одиночестве, ежедневно совершая прогулки в Кадвик и обратно. Меня всегда влекло к морю, а теперь прельщало одиночество в маленькой белой вилле Нордвика, уединенно стоявшей возле дюн, возвышавшихся среди очаровательной местности. В вилле «Мария» я провела июнь, июль и август. Все это время я вела усердную переписку с сестрой Элизабет, на попечении которой оставила груневальдскую школу. В июле я записывала в свой дневник составленные мною правила преподавания в школе и выработала серию из пятисот упражнений, в которых ученики переходили от простейших движений к самым сложным и которые являлись настоящей сущностью танца.

Крэг нервничал, приезжал и снова уезжал, но теперь уже я не оставалась совершенно одинока. Дитя все больше и больше давало о себе знать. Странно было видеть, как мое чудное мраморное тело теряло упругость, расширялось и деформировалось. Чем утонченнее нервы, чем чувствительнее мозг, тем сильнее страдание — такова жуткая месть природы. Бессонные ночи, долгие часы, полные страдания ив тоже время радости, проводила я, когда, например, ежедневно ходила по пустынному песчаному берегу между Нордвиком и Кадвиком, глядя на море, вздымающееся огромными волнами, с одной стороны и на высокие дюны — с другой. На этом побережье почти всегда дуют ветры, иногда нежный, приятный ветерок, а иногда ветер настолько сильный, что трудно было идти. Порой бушевала свирепая буря, и тогда виллу «Мария» раскачивало всю ночь,

точно корабль в открытом море. Я избегала общества. Люди говорили такие пошлости и так мало считались со священным состоянием беременности. Однажды я увидела женщину, носящую в чреве ребенка, которая одиноко шла по улице. Прохожие не глядели на нее с благоговением, а насмешливо улыбались друг другу, словно это была не женщина, несущая в себе зарождающуюся жизнь, а что-то, возбуждающее шутки и смех.

Мои двери закрылись перед всеми посетителями, кроме одного доброго, верного друга, приезжавшего из Гааги на велосипеде, привозившего книги и журналы и развлекавшего меня беседами о современном искусстве, музыке и литературе. В те времена он был женат на знаменитой поэтессе и часто говорил о ней с нежностью и обожанием. Человек аккуратный, он приезжал в определенные дни, и даже буря не могла его задержать. Если не считать его, я проводила дни в обществе моря, дюн и ребенка, которому, казалось, уже не терпелось появиться на свет Божий.

Во время прогулок у моря я иногда чувствовала прилив сил и смелости и думала, что существо это будет моим и только моим, но в другие дни, когда небо хмурилось, а волны холодного Северного моря сердито шумели, настроение мое падало, и мне казалось, что я несчастное животное, попавшее в глубокую западню. И я металась в неодолимом желании бежать, бежать как можно скорей. Бежать куда? Может быть, в мрачные волны. Я боролась с таким настроением, пересиливала себя, но оно обыкновенно на меня находило неожиданно и его трудно было избежать. Мне чудилось также, что большинство людей от меня отдаляется. Мать была на расстоянии тысяч миль, и даже Крэг стал каким-то чужим, всецело погруженным в искусство, тогда как я все меньше и меньше о нем думала и была целиком захвачена тем страшным, чудовищным творчеством, той с ума сводящей радостной и болезненной тайной, которая выпала на мою долю.

Часы тянулись долго и мучительно. Еще медленнее проходили дни, недели, месяцы… Переходя от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, я часто вспоминала свое детство, юность, странствия по чужим краям, открытия, сделанные в области искусства, и все прошлое представлялось мне далеким туманным прологом, прологом к таинству рождения ребенка, т. е. к тому, что может быть у любой крестьянки! Таково было завершение всех моих честолюбивых замыслов!

Почему не было со мной моей дорогой матери? Только потому, что она была жертвой нелепого предрассудка о

необходимости брака. Сама она побывала замужем, нашла эту жизнь невозможной и развелась. Что же заставляло ее желать для меня той же петли, в которой она так жестоко пострадала? Все мои мыслительные способности протестовали против брака. Я считала тогда и считаю до сих пор, что брак является бессмысленным и рабским установлением, неизбежно ведущим к разводам и возмутительно грубым судебным разбирательствам, в особенности у артистов. Если кто-либо сомневается в справедливости моих слов, пусть займется статистикой разводов в артистической среде и скандальных процессов за последние десять лет в Америке. Но в то же время милая публика обожает своих артистов и, по всей вероятности, не могла бы без них существовать.

В августе ко мне приехала в качестве сестры милосердия женщина, впоследствии ставшая моим большим другом, Мария Кист. Я не встречала более терпеливой, милой и доброй женщины, и она была мне большой поддержкой. Сознаюсь, что как раз тогда меня стали мучить всевозможные страхи. Напрасно твердила я себе, что дети бывают у каждой женщины: у бабушки их было восемь, у матери четверо. Все это жизнь ит. д. И все же я продолжала бояться. Чего? Не смерти, конечно, и даже не страдания, а просто чего-то неопределенного.

Так прошел август и наступил сентябрь. Мне стало очень тяжело переносить свое состояние. Часто я думала о своих танцах, и тогда меня охватывала отчаянная тоска по искусству. Но тут я чувствовала три сильных толчка и движение внутри себя. Я начинала улыбаться и думать, что искусство в сущности лишь слабое отражение радости и чудес жизни. Я с удивлением наблюдала за своим распухавшим телом. Маленькие твердые груди увеличились, обвисли и сделались мягкими; быстрые ноги двигались медленнее, щиколотки опухли, в бедрах чувствовалась боль. Куда девались мои чудесные, юные формы Наяды? Где были мои мечты? Слава? Часто помимо воли я чувствовала себя глубоко несчастной и побежденной в борьбе с гигантом — жизнью. Но стоило вспомнить будущего ребенка, и печальные мысли исчезали. О, жестокие часы ночного ожидания и беспомощности, когда лежать на левом боку нельзя, потому что замирает сердце, на правом лежать неудобно, и кое-как лежишь на спине, страдая от движений ребенка и пытаясь его успокоить руками, прижатыми к животу! Жестокие часы сладостного ожидания, бесчисленные ночи все проходили таким образом. Какой ценой платим мы за славу материнства!

Однажды днем за чаем я почувствовала сильный удар в середину спины, а затем страшную боль, точно в хребет мне

всадили бурав и пытались переломить кости. С этой минуты началась пытка, словно я, несчастная жертва, попала в руки могучих и бессердечных палачей. Едва я приходила в себя, как начинались новые схватки. Испанской инквизиции далеко до этих мучений, и женщина, родившая ребенка, может ее не бояться. По сравнению с родовыми болями инквизиция была, вероятно, лишь невинной забавой. Страшная, невидимая, жестокая, бессердечная и не знающая ни минуты отдыха сила крепко захватила меня в свои руки, разрывая мне тело и разламывая кости в непрерывных спазмах. Говорят, что это страдание скоро забывается. Я могу на это только ответить, что стоит мне закрыть глаза, и я снова слышу мои тогдашние стоны и крики. Неслыханное, чудовищное варварство все еще заставлять женщину переносить такие страшные пытки. Этому надо помочь, это надо прекратить. Просто глупо, что современная наука не знает безболезненных родов как непреложной истины. Это так же непростительно, как операция аппендицита без наркоза. Глупость это или святое терпение, что женщины до сих пор безропотно переносят такое возмутительное терзание?

Два дня и две ночи продолжался этот невыразимый ужас. А на третье утро идиотский доктор вытащил огромные щипцы и закончил живодерство, даже не прибегая к наркозу. Я думаю, что ничто не может сравниться с тем, что я претерпела, кроме разве ощущения человека, попавшего под поезд. Я не хочу слышать ни о каких женских движениях и суфражистках, пока женщины не положат конца тому, что я считаю бесполезным мучением, и утверждаю, что операция деторождения должна совершаться так же безболезненно и переноситься так же легко, как и всякая другая операция. Какое безрассудное суеверие препятствует такой мере? Какое попустительство или преступная цель? Конечно, можно возразить, что не все женщины страдают так сильно. Правда, не страдают так крестьянки, негритянки в Африке и краснокожие женщины. Но чем цивилизованнее женщина, тем страшнее муки, бесполезные муки. Ради цивилизованной женщины должно быть придумано культурное средство против этого ужаса. Я от этого не умерла, но не умирает и несчастная жертва, вовремя снятая со станка пыток. Но вы можете заметить, что я была вознаграждена, увидев ребенка. Да, вы правы, я была вне себя от радости, но тем не менее до сегодняшнего дня дрожу, возмущаясь при мысли о том, что я перенесла и что переносят многие женщины, жертвы вследствие невыразимого эгоизма и слепоты людей науки, которые допускают такие зверства, когда им можно помочь.

Ах, но ребенок! Ребенок был поразительный, похожий по

строению своему на Купидона, с голубыми глазами и каштановыми волосами, которые потом выпали и уступили место золотым кудрям. И чудо из чудес! Ротик ищет мою грудь и хватает беззубыми деснами, и кусает, и тянет, и сосет молоко. Какая мать когда-либо описывала, как рот ребенка кусал ее сосок и из груди ее брызгало молоко? Жестокий, кусающий рот так живо нам напоминает рот любовника, который в свою очередь похож на рот ребенка.

О, женщины, зачем нам учиться быть юристами, художниками и скульпторами, когда существует такое чудо? Наконец-то я узнала эту огромную любовь, превышающую любовь мужчины. Я лежала окровавленная, истерзанная и беспомощная, пока маленькое существо сосало и кричало. Жизнь, жизнь, жизнь! Дайте мне жизнь! Где мое искусство? Мое ли искусство вообще? Не все ли мне равно! Я чувствовала себя богом, высшим, чем любой художник.

В течение первых недель я часами лежала с ребенком на руках, глядя, как он спит; иногда ловила взгляд его глаз и чувствовала себя очень близко к грани, к тайне, может быть, к познанию жизни. Душа в только что созданном теле отзывалась на мой взгляд мудрыми глазами, глазами вечности, отзывалась с любовью. Любовь, вероятно, объясняла все. Какими словами описать это счастье? Что удивительного, что я, не писательница, не могу найти подходящих слов!

Мы вернулись в Груневальд с ребенком и моим милым другом, Марией Кист. Дети были в восторге от ребенка. Элизабет я сказала: «Она будет нашей младшей ученицей». Все интересовались, как мы назовем девочку. Крэг придумал замечательное ирландское имя — Дердре Дердре — «любовь Ирландии». И мы ее назвали Дердре.

20

В роскошной вилле по соседству с нами жила Джульетта Мендельсон со своим богатым мужем, банкиром. Она живо интересовалась моей школой, несмотря на своих буржуазных приятельниц, открестившихся от нас, и однажды пригласила всех нас танцевать перед моим кумиром — Элеонорой Дузе.

Я представила Дузе Гордона Крэга, и она сразу была очарована его взглядами на театр. После нескольких восторженных свиданий она пригласила нас поехать во Флоренцию и хотела, чтобы Крэг поставил там спектакль. Было решено, что Гордон Крэг приготовит макеты для ибсеновского «Росмерсгольма», который должен был идти во Флоренции с участием Элеоноры Дузе, и мы все — Элеонора Дузе, Крэг, Мария Кист ияс ребенком — отправились экспрессом во Флоренцию.

Я кормила сама, но молоко стало сворачиваться, и по дороге пришлось прибегнуть к искусственному вскармливанию. Все же я была на седьмом небе, так как наконец встретились два существа, самые дорогие мне на свете. Крэг был занят любимым делом, а Дузе нашла декоратора, достойного ее таланта.

Приехав во Флоренцию, мы остановились в маленькой гостинице поблизости от «Гранд-Отеля», где Дузе были отведены королевские покои. С места начались споры, в которых я исполняла роль переводчицы, так как Крэг не знал ни французского, ни итальянского языка, а Дузе не понимала ни слова по-английски. Я оказалась между двумя гениями, между которыми, как это ни странно, сразу установились враждебные отношения. Моей единственной мыслью было доставлять обоим удовольствие, чего я достигла, давая не вполне точное освещение словам. Да простится мне хотя бы часть лжи, которую я допустила при переводах, ведь она была сказана ради святого дела Мне хотелось, чтобы эта грандиозная постановка вполне удалась, что никогда не случилось бы, если бы я правдиво передавала Дузе слова Крэга, а Крэгу приказания Дузе.

Насколько помню, в первой сцене «Росмерсгольма» Ибсен указывает, что комната должна быть «уютно, но по-старомодному обставлена». Но Крэг нашел нужным создать внутренность египетского храма с потолками, уходящими ввысь. Комната отличалась от египетского храма только огромным квадратным окном в глубине сцены. По Ибсену, оно выходит в аллею старых деревьев, ведущую к дворику. У Крэга все это приняло громадные размеры — десять метров на двенадцать, а за окном виднелась яркая даль, переливавшаяся желтыми, зелеными и красными

красками, даль, которая скорее походила на пейзаж в Марокко, чем на старомодный дворик.

— Окно мне представляется маленьким, а не таким огромным, — заметила Дузе с некоторым удивлением.

На что Крэг прогремел на английском языке:

— Скажите ей, что я не допущу, чтобы какая-то проклятая баба вмешивалась в мою работу!

— Он говорит, что склоняется перед вашим мнением и сделает все, чтобы вам угодить, — благоразумно перевела я и, повернувшись к Крэгу, не менее дипломатично стала передавать возражения Дузе:

— Дузе говорит, что у вас великий талант и что поэтому она ничего не изменит в ваших набросках.

Такие переговоры продолжались часами. Иногда мне надо было кормить ребенка, но все же я всегда была на месте и исполняла важную роль переводчика-миротворца. Часто я страдала, когда пропускала время кормления, но продолжала объяснять Крэгу и Дузе то, что они никогда не говорили. Роды сильно пошатнули мое здоровье, а утомительные разговоры затягивали выздоровление. Но я считала, что никакая жертва с моей стороны не будет слишком велика для такого выдающегося артистического события, как постановка «Росмерсгольма» Крэгом для Элеоноры Дузе.

Крэг заперся в театре и, расставив перед собой дюжину огромных горшков с краской, сам стал рисовать декорации большой кистью, не имея возможности найти среди итальянцев рабочих, которые бы вполне поняли его замыслы. Достать полотно, которое требовалось, тоже оказалось невозможным, и поэтому он решил заменить его мешками. В течение нескольких дней сонм итальянских старух, сидя на сцене, занимался сшиванием распоротых мешков. Молодые художники-итальянцы метались по сцене, пытаясь выполнять приказания Крэга, а сам он, растрепанный, кричал на них, макал кисти в краску, поднимался на лестницы, рискуя свалиться, и проводил в театре целые дни и часть ночей, не покидая его даже чтобы поесть. Он оставался бы целый день без пищи, если бы я ему не приносила завтрака в маленькой корзинке.

Он распорядился, чтобы Дузе не пускали в театр:

— Не давайте ей сюда входить. Если она войдет, я сажусь в поезд и уезжаю.

Дузе же горела желанием увидеть, что творится в стенах театра, и на меня легла обязанность удерживать ее от этого, стараясь в то же время не обидеть. Я совершала с ней длинные прогулки в садах, где чудные статуи и прелестные цветы

успокаивали нервы знаменитой артистки.

Я никогда не забуду Дузе, идущую по саду; она совсем не походила на обыкновенную женщину, а казалась божественным образом, созданным Петраркой или Данте, образом, случайно попавшим на землю. Прохожие расступались перед ней и почтительно, хотя и с любопытством смотрели нам вслед. Дузе не любила, когда ее разглядывали, и скрывалась в боковые аллеи, чтобы избежать любопытных взоров. Она не любила человечества, как любила его я, и считала большинство людей canaille. Приближался час, когда Элеоноре предстояло увидеть сцену в законченном виде. В назначенный день и час я заехала за ней и повезла ее в театр. Она была в состоянии страшного нервного напряжения, и я боялась, что оно каждую минуту может разразиться бурей, как грозовая туча. Она встретила меня в вестибюле гостиницы, одетая в коричневое меховое пальто и меховую шапку, похожую на казачью, надвинутую на один глаз. Хотя Дузе по совету добрых друзей иногда и посещала модных портных, все же она не умела носить модных платьев и казаться элегантной Ее одежда всегда казалась криво надета, а шляпа свисала набок. Как бы ни были дороги ее платья, у нее был постоянно вид, будто она их не надевает, а снисходит к ним.

Я была так взволнована, что по дороге в театр почти не могла говорить. Очень искусно я удержала ее от намерения ворваться через боковую дверь прямо за кулисы, потребовала, чтобы открыли главный вход, и ввела ее в ложу. Нам пришлось долго ждать. Я очень мучилась, а Дузе повторяла: «Будет ли мое окно такое, каким я его вижу? Когда же я наконец увижу сцену?»

Я поглаживала ее руку и приговаривала: «Скоро, скоро увидите. Немножко терпения». Но я дрожала от страха при мысли о маленьком окне, принявшем гигантские размеры.

Изредка слышался голос выведенного из себя Крэга, иногда пытавшегося говорить по-итальянски, а иногда просто кричавшего: «Черт побери! Почему не ставите вы это сюда? Почему не делаете то, что я говорю?» После чего вновь водворялась тишина.

В конце концов после томительного ожидания, во время которого гнев Элеоноры вот-вот готовился вспыхнуть, медленно поднялся занавес.

О, как описать то, что предстало перед нашими удивленными и восторженными взорами? Я говорила об египетском храме? Но никогда ни египетский храм, ни готический собор, ни дворец в Афинах не был так прекрасен. Я еще не видела такой красоты. Через огромные пространства, через небесную гармонию, через поднимающиеся линии и колоссальные высоты душа стремилась

к свету, лившемуся в громадное окно, в которое была видна не аллея, а целая Вселенная. В этом голубом свете заключались все мысли, все думы, вся земная печаль человека. За окном же сиял весь восторг, вся радость, все чудо его фантазии. Была ли это комната в «Росмерсгольме»? Не знаю, что подумал бы Ибсен, но, вероятно, он, как и мы, был бы целиком захвачен и молчал.

Рука Элеоноры схватила мою. Потом крепко меня обняла, и я увидела, как слезы потекли по ее прекрасному лицу. Некоторое время мы молча сидели, прижавшись друг к другу, — Элеонора от восторга и радости за искусство, я же от того, что мои предчувствия не оправдались и что она довольна. Долго оставались мы так. Затем она взяла меня за руку и большими шагами двинулась по коридору к сцене, таща меня за собой. Она остановилась на сцене и своим голосом, голосом Дузе, воскликнула: «Гордон Крэг! Идите сюда!»

Застенчиво, как мальчик, Крэг появился из боковой кулисы. Дузе его обняла, и поток лестных итальянских слов полился с ее уст, точно вода из фонтана, с такой быстротой, что я не успевала их переводить Крэгу. Крэг не плакал от умиления, подобно нам, но долгое время молчал, что у него было признаком большого потрясения.

Можно себе представить мою радость. Я была тогда молода и неопытна и считала, что в минуты большого восторга людские слова не бросаются на ветер. Я рисовала себе Элеонору Дузе отдающей свой талант в распоряжение искусства моего великого Крэга. Я рисовала себе будущее как сплошной триумф Крэга, как сплошное величие театрального искусства. Я не приняла, увы, во внимание непрочности человеческого восторга, в особенности же восторга женщины. А Элеонора, при всей своей гениальности, была только женщиной, что и доказала впоследствии.

На премьере «Росмерсгольма» огромная, выжидающая толпа наполнила театр Флоренции. Когда взвился занавес, по залу пронесся единый вздох восторга. Другого результата нельзя было и ожидать. Флорентийские знатоки искусства до сих пор помнят это единственное представление «Росмерсгольма».

Инстинкт подсказал Дузе надеть белое платье с большими широкими ниспадавшими рукавами. Когда она вышла на сцену, она меньше походила на Ребекку Вест, чем на Сибиллу Дельфийскую. Со свойственным ей никогда не ошибавшимся талантом она приспособилась к грандиозным линиям и снопам света, которые ее озаряли.

Когда немного улеглось возбуждение, вызванное спектаклем, я как-то утром зашла в банк и увидела, что мой текущий счет совершенно исчерпан. Появление ребенка, нужды груневальдской

школы, наше путешествие во Флоренцию окончательно истощили мои средства. Было необходимо придумать средство пополнить денежные запасы, и тут очень кстати пришло известие от петербургского импресарио, который спрашивал, могу ли я снова танцевать, и предлагал турне по России.

Я покинула Флоренцию, оставив ребенка на попечение Марии Кист, а Крэга на попечение Элеоноры, а сама села в экспресс, идущий в Петербург, через Швейцарию и Берлин. Вы можете себе представить, насколько эта поездка была грустна. Первое расставание с ребенком, а также разлука с Крэгом и Дузе были очень тягостны. Здоровье мое было ненадежно, ребенок не был еще отнят от груди, и молоко поэтому приходилось выкачивать при помощи маленького прибора, что было просто жутко и вызвало у меня немало слез.

Поезд мчался все дальше и дальше на север, пока я снова не очутилась в стране снежных равнин и лесов, которые теперь на меня производили еще более удручающее впечатление. Кроме того, все последнее время я была слишком поглощена Дузе и Крэгом, чтобы думать о собственном искусстве, и абсолютно не была подготовлена к испытаниям турне. Тем не менее добрая русская публика приняла меня со своим обычным восторгом и смотрела сквозь пальцы на недочеты, встречавшиеся в спектаклях. Помню, что часто во время танцев молоко начинало вытекать из грудей и сбегать по тунике, причиняя мне сильное смущение. Как трудно женщине иметь профессию!

Это турне по России оставило во мне мало воспоминаний. Излишне говорить, что сердце мое стремилось во Флоренцию, и поэтому я постаралась сократить насколько возможно поездку и приняла приглашение гастролировать в Голландии, чтобы быть ближе к школе и к тем, кого я жаждала увидеть.

В первую ночь своего появления на сцене в Амстердаме я почувствовала странное недомогание. Кажется, оно было в связи с молоком, нечто вроде молочной лихорадки. После спектакля я упала на сцене, и в гостиницу меня пришлось отнести на руках. Тамя лежала целые недели в полной темноте, обложенная мешками со льдом. Доктор назвал это невритом, болезнью, против которой еще не найдено средство. Долгие дни я не могла ничего есть и только поддерживала свои силы небольшими порциями молока с опиумом, мучимая бредом, пока не впадала в бессознательное состояние.

Крэг прискакал из Флоренции и был воплощением преданности. Он провел со мной три или четыре недели, помогая за мной ухаживать, пока однажды не получил телеграмму от Элеоноры: «Выступаю в «Росмерсгольме» в Ницце. Сцена

неудовлетворительна. Приезжайте немедленно».

Когда он уехал в Ниццу, я уже начинала поправляться, но едва я увидела телеграмму, как меня охватило страшное предчувствие того, что случится, если меня не будет, чтобы переводить и сглаживать все шероховатости.

В одно прекрасное утро Крэг приехал в старое казино Ниццы и узнал, что без ведома Дузе его декорации разрезаны и приспособлены к новой сцене. Естественно, что когда он увидел свое художественное творение, свое детище, образцовое произведение искусства, над которым он так трудился, в изувеченном виде, уничтоженным на его глазах, с ним случился один из тех бешеных припадков ярости, которым он иногда бывал подвержен, и он, что уже было значительно хуже, обратился к Элеоноре, стоявшей тут же на сцене, со следующими словами:

— Что вы наделали? Вы погубили мою работу! Вы уничтожили мое творчество, вы, от которой я ожидал так много!

Он говорил в таком духе до тех пор, пока Дузе, не привыкшая выслушивать подобные речи, не потеряла самообладания. Позже она мне говорила, что в жизни своей не видела такого человека и что с ней еще никогда так не разговаривали. «Свыше шести футов ростом, он производил страшное впечатление и, скрестив руки по британскому обычаю, говорил невозможные вещи. Со мной так не обращаются, и понятно, я не могла этого выдержать. Я указала на дверь и заявила:

— Я не хочу вас больше видеть. Уходите!

Так кончились планы Дузе посвятить жизнь служению искусству Крэга.

* * *

Я приехала в Ниццу настолько ослабевшая, что меня вынесли из поезда на руках. Был первый вечер карнавала, и по дороге в гостиницу на мою открытую коляску напала группа Пьеро в самых разнообразных масках. Гримасы их казались мне пляской смерти перед приближающимся концом.

Элеонора Дузе лежала больная в гостинице поблизости и просила передать мне много нежных слов. Кроме того, она прислала ко мне своего доктора Эмиля Воссона, который ухаживал за мной с трогательной преданностью и с того времени стал одним из самых больших моих друзей. Выздоровление шло медленно, и я еще долго страдала.

Ко мне приехали мать и мой верный друг, Мария Кист с моей девочкой, сильной, здоровой и с каждым днем хорошевшей. Из

гостиницы мы переехали на Мон-Борон. Из наших окон с одной стороны было видно море, а с другой — вершина горы, на которой когда-то в обществе змеи и орла углублялся в размышления Заратустра, и я стала постепенно возвращаться к жизни в доме на возвышенности, залитой солнцем. Но впереди ждали денежные затруднения, и чтобы покончить с ними, я вернулась, едва набравшись сил, к своим гастролям в Голландии, правда, еще в состоянии слабости и подавленности.

Я обожала Крэга, я любила его со всем пылом своей артистической души и все-таки сознавала, что разлука неминуема. Я дошла до того безумного состояния, когда не могла уже жить ни с ним, ни без него. Жить с ним значило лишиться своего искусства, индивидуальности, даже, вероятно, жизни и рассудка. Жить без него значило быть в постоянном состоянии подавленности и испытывать муки ревности, на что, увы, по-видимому, имелось достаточно оснований. Я рисовала себе Крэга, ослепительно красивого, в объятиях других женщин, и видения эти лишали меня ночью покоя и сна. Крэг мне представлялся говорящим другим женщинам о своем искусстве, женщинам, глядевшим на него с обожанием. Он мне снился счастливым с другими, я видела, как он смотрит на них с очаровательной улыбкой, улыбкой Эллен Терри, как он ласкает их, слышала, как он сам себе говорит: «Эта женщина мне нравится. Ведь Айседора, в сущности, нестерпима!»

Эти мысли приводили меня попеременно то в бешенство, то в отчаяние. Я не могла работать, не могла танцевать. Мнение других о моих танцах стало мне безразлично. Я пришла к заключению, что такому положению вещей следует положить конец. Или искусство Крэга, или мое. Отказываться же от своего я считала невозможным. Я бы угасла, я бы умерла с горя. Нужно было найти средство, и я вспомнила мудрость гомеопатов. В конце концов, к нам приходит все, чего мы желаем, и лекарство нашлось.

Он вошел ко мне как-то днем: молодой, добродушный, голубоглазый, светлый блондин, одетый безукоризненно. Он сказал:

— Друзья меня зовут Пим.

Я возразила:

— Пим! Какое очаровательное имя! Вы художник?

— О нет! — вскричал он, точно я его обвиняла в преступлении.

— Тогда чем же вы замечательны? Великими мыслями?

— О нет! У меня вообще не бывает мыслей.

— Ну а цель жизни есть?

— Тоже нет.

— Что же вы делаете?

— Ничего.

— Есть же у вас какое-нибудь занятие?

— Да, я собираю табакерки восемнадцатого столетия, — ответил он после некоторого размышления.

Вот где было мое лекарство. Я подписала контракт на гастроли по России, на продолжительное тяжелое турне не только по северной России, но и по южной, включая Кавказ, и боялась продолжительного путешествия в одиночестве.

— Хотите ехать со мной в Россию, Пим?

— С восторгом, — быстро ответил он, — но как быть с матерью? Ее я бы мог убедить, но есть еще кто-то, — и Пим покраснел. — Кто-то, кто меня очень любит и, может быть, не согласится отпустить.

— Но ведь мы можем уехать незаметно.

Было решено, что после окончания моего последнего спектакля в Амстердаме автомобиль будет нас ждать у артистического подъезда и увезет в деревню. Горничная должна была выехать с вещами экспрессом, в который мы должны были сесть на следующей за Амстердамом станции.

Ночь была темная и холодная, и над полями стлался густой туман. Дорога шла по берегу канала, и шофер не хотел ехать быстро.

— Очень опасно, — предупредил он нас и повез не торопясь.

Но опасность езды по берегу канала была ничтожна по сравнению с опасностью погони. Оглянувшись назад, Пим неожиданно воскликнул:

— Боже! Она гонится за нами!

Мне не потребовалось дальнейших объяснений.

— Она, наверное, вооружена, — сказал Пим.

— Скорей, скорей! — торопила я шофера, но он молча указал на воду канала, видневшуюся сквозь туман.

Все это было очень поэтично, и мы в конце концов ускользнули от преследовавшего нас автомобиля. Добравшись до станции, мы остановились в первой попавшейся гостинице.

Было два часа утра. Ночной привратник осветил наши лица фонарем.

— Комнату, — сказали мы в один голос.

— Комнату? Одну? Нет-нет. Вы женаты?

— Да, конечно, — отвечали мы.

— Нет-нет, — проворчал он, — вы не женаты. Я знаю. Вы выглядите слишком счастливыми.

И не взирая на наши протесты, он нас разместил в разных

концах коридора и со злорадным удовольствием всю ночь просидел в коридоре, держа на коленях фонарь, освещая нас при попытке высунуть голову из дверей и приговаривая:

— Нет-нет, этого нельзя — вы не женаты! Нет-нет.

Наутро, несколько утомленные этой игрой в прятки, мы сели в петербургский экспресс, и должна сказать, что это было самое приятное из моих путешествий.

По приезде в Петербург я была очень удивлена, когда носильщик вытащил из вагона восемнадцать сундуков с инициалами Пима.

— Что это такое? — изумилась я.

— Это только мои вещи, — ответил Пим. — Здесь мои галстуки, тут в двух сундуках белье, вот костюмы, а там ботинки. А в этом особенные жилеты, подбитые мехом. Они очень полезны в России.

В «Европейской гостинице» была широкая лестница, и по ней, к восторгу всех присутствующих, каждый час сбегал Пим, всякий раз в другом костюме и новом галстуке. Он был всегда изысканно одет и считался в Гааге законодателем мод. Знаменитый голландский художник Ван Влей написал его портрет на фоне золотых, малиновых и розовых тюльпанов, и действительно, Пим был так свеж и привлекателен, что напоминал тюльпаны весной. Его светлые, с золотым отливом волосы напоминали золотые тюльпаны, губы — тюльпаны розовые, а обнимая его, я чувствовала, что я скольжу весной по полю тюльпанов в Голландии.

Смазливый юноша, голубоглазый и белокурый, Пим был очень примитивен умственно. Любовь его поясняла мне поговорку Оскара Уайльда: «Лучше минутное удовольствие, чем вечная печаль». Пим давал именно минутное удовольствие. До сих пор я получала от любви романтику, идеалы и страдание. Любовь Пима давала одно удовольствие — просто большое удовольствие — и как раз в ту минуту, когда я больше всего в нем нуждалась, так как без его ласк я бы, вероятно, превратилась в безнадежную истеричку. Присутствие Пима влило в меня новую жизнь, новую бодрость, и, может быть, впервые в жизни я узнала радость быть молодой и легкомысленной. Он прыгал, танцевал и смеялся решительно всему. Я забыла свое горе, жила ощущениями минуты, была беспечна и счастлива. От этого мои танцы дышали новой жизнью, новой радостью.

Как раз тогда я создала Moment Musical, который имел такой успех у русской публики, что его приходилось повторять по пяти и по шести раз в один вечер. Moment Musical был танцем Пима — «удовольствием минуты». Это был настоящий музыкальный

момент.

21

Если бы я довольствовалась танцем как сольным выступлением, мой жизненный путь был бы очень прост. Уже знаменитая, желанная гостья во всех странах, я могла бы спокойно продолжать свою триумфальную карьеру. Но увы — меня преследовала мысль о школе, о большом ансамбле, танцующем девятую симфонию Бетховена. Стоило мне закрыть ночью глаза, как легкие блестящие видения начинали порхать в моем воображении, умоляя меня вызвать их к жизни. «Мы здесь! Вы та, чье прикосновение нас оживит!» [1]

Я вернулась в Груневальд, чтобы преподавать той небольшой группе, которая уже училась танцу с таким успехом и достигла такой красоты, что только укрепляла мою веру в конечную цель. Целью этой являлось создание «оркестра» танцующих, «оркестра», который представлял бы для зрения то же, что представляют для слуха величайшие симфонические творения.

Я научила своих учениц сплетаться и виться, соединяться и разлучаться, в бесконечных хороводах и шествиях походить то на амуров помпейских фресках, то на юных граций Донателло, то, наконец, на воздушную свиту Титании. С каждым днем они становились сильнее и гибче, и свет вдохновения, свет божественной музыки сиял в их молодых телах и лицах. Вид этих танцующих детей был так прекрасен, что возбуждал восторг художников и поэтов.

Тем не менее становилось все труднее покрывать расходы по содержанию школы, и мне пришло в голову повезти детей в различные страны в надежде, что найдется хоть одно правительство, которое убедится в красоте такого воспитания детей и даст мне возможность производить опыты в более широком масштабе. После каждого представления я обращалась к публике с просьбой помочь мне найти способ передать другим то, что я открыла и что могло сделать жизнь тысяч людей свободной и светлой. Мне становилось все яснее, что в Германии я не найду поддержки, необходимой для моей школы. Взгляды императрицы были такими пуританскими, что, собираясь посетить мастерскую скульптора, она сперва посылала гофмейстера, чтобы прикрыть простынями нагие статуи. Тяжелый прусский режим мешал моим мечтам о работе в Германии, и я стала думать о России, где я до сих пор встречала восторженный отклик и заработала целое состояние. Предполагая основать школу в Петербурге, я снова отправилась туда в январе 1907 года в сопровождении Елизаветы и двадцати маленьких учениц. Опыт не имел успеха. Хотя

публика сочувственно встречала мой призыв к возрождению настоящего танца, Императорский балет слишком прочно укоренился в России, чтобы можно было думать о переменах.

Я повела своих маленьких учениц посмотреть на упражнения детей в балетном училище, и последние отнеслись к нам, как канарейка в клетке относится к ласточкам, летающим на свободе. Но в России не настал еще день для проповеди свободных движений человеческого тела. Балет, бывший истинным выражением сущности царизма, увы, все еще существует! Единственный, кто бы мог помочь моей школе в России, был Станиславский. Но у него не было возможности устроить нас в своем знаменитом Художественном театре, о чем я мечтала, хотя он и сделал все, чтобы нам помочь.

Не найдя поддержки своей идеи ни в Германии, ни в России, я решила попробовать Англию. Летом 1908 года я повезла детей в Лондон. Известные импресарио Иосиф Шуман и Чарльз Фроман устроили нам выступления в течение нескольких недель в театре герцога Йоркского. Публика в Лондоне смотрела на меня и на моих учениц как на очаровательное развлечение, но истинной помощи делу основания будущей школы мне не удалось найти.

Прошло семь лет со времени моего первого выступления в Новой галерее. Я имела счастье возобновить свою прежнюю дружбу с Чарльзом Галлэ и поэтом Дугласом Энсли. Великая и прекрасная Эллен Терри часто посещала театр. Она обожала моих детей и однажды повела их всех в Зоологический сад к их великой радости. Королева Александра посетила два наших спектакля, и многие дамы английской аристократии, между ними знаменитая леди де Грей, впоследствии леди Рипон, запросто приходили за кулисы и любезно со мной разговаривали.

Герцогиня Манчестер подала мне мысль, что моя идея может привиться в Лондоне и что там я могу найти поддержку для своей школы. С этой целью она нас всех пригласила в свой загородный дом на Темзе, где мы снова танцевали перед королевой Александрой и королем Эдуардом. Короткое время я была окрылена надеждой основать школу в Англии, но и здесь в конце концов меня постигло новое разочарование! Где страна, где здание, где средства, достаточные, чтобы в широком масштабе осуществить мои мечты?

Как всегда, расходы по содержанию моего маленького стада были огромны.

Мой банковский счет вскоре снова свелся к нулю, и школа была вынуждена вернуться в Груневальд, где я подписала контракт с Чарльзом Фроманом на турне по Америке.

Я сильно горевала, расставаясь со школой, с Элизабет, с

Крэгом, но больше всего со своей дочуркой Дердре, которой было теперь около года и которая превратилась в румяную, голубоглазую, светлокудрую девочку.

Таким образом, в один прекрасный июльский день я оказалась одна на большом пароходе, направляювшмся в Нью-Йорк, как раз восемь лет спустя после моего отъезда оттуда на грузовом пароходе. В Европе я была уже знаменита. Я создала новое течение в искусстве, школу и ребенка. Не так плохо. Но с точки зрения материальной я была не намного богаче, чем прежде.

Чарльз Фроман был знаменитым антрепренером, но не понял, что мое искусство не в духе широких масс и что оно могло нравиться определенному кружку избранной публики. Он меня выпустил в самый разгар августовской жары как приманку для Бродвея, а небольшому и недостаточно звучному оркестру пришлось играть «Ифигению» Глюка и Седьмую симфонию Бетховена. Результат, как и следовало ожидать, оказался плачевным. Немногочисленные зрители, случайно забредшие в театр в эти жаркие вечера, когда температура доходила до тридцати градусов и больше, были в полном недоумении и ушли, неудовлетворенные виденным. Критиков было мало, и рецензии давали они отрицательные. В общем, мне оставалось заключить, что возвращение на родину было страшной ошибкой.

Однажды вечером, когда я, окончательно потеряв бодрость, сидела в своей уборной, послышался приятный задушевный голос, приветствовавший меня, и в дверях показался человек небольшого роста, но прекрасно сложенный, с гривой курчавых каштановых волос и очаровательной улыбкой. Он порывисто протянул мне руку и наговорил столько прекрасных вещей о моем искусстве, что я почувствовала себя сразу вознагражденной за все неприятности, испытанные мною со времени приезда в Нью-Йорк. Это был Джордж Грей Барнард, знаменитый американский скульптор. С тех пор он стал каждый вечер приходить на спектакль, часто приводя с собой художников, поэтов и других друзей, среди которых были талантливый режиссер Давид Беласко, художники Роберт Генри и Джордж Беллоус, Перси Маккей, Макс Истман, вообще всех молодых новаторов из Гринвич Вилледжа. Помню также трех неразлучных поэтов, живших в башне за сквером Вашингтона, — Е.А. Робинсона, Риджлей Торренса и Виллияма Воган Муди.

Этот дружеский привет и восхищение художников и поэтов влили в меня новую бодрость и сгладили немного холодность и отсутствие интереса со стороны нью-йоркской публики.

В то время Джорджу Грею Барнарду пришла мысль вылепить

с меня статую под названием «Пляшущая Америка». Уолт Уитман сказал: «Я слышу поющую Америку». В один прекрасный октябрьский день, в один из тех чудных дней, которые бывают только в Нью-Йорке осенью, мы стояли вместе с Барнардом на холме недалеко от его мастерской на Вашингтонских Высотах, и я произнесла, протянув вперед руки: «Я вижу пляшущую Америку». Так зародилась у Барнарда мысль о статуе. Я приходила в ателье каждое утро, принося с собой завтрак в корзиночке, и мы провели много чудных часов, обсуждая новые планы художественного вдохновления Америки.

В его мастерской я увидела прелестный торс молодой девушки, для которого позировала, по его словам, Эвелина Несбит, до того еще, как встретила Гарри Соо и была еще простой девушкой. Ее красота приводила в восторг всех художников. Понятно, что эти разговоры в мастерской и совместное преклонение перед красотой возымели свое действие. Со своей стороны я охотно готова была отдать душу и тело для вдохновления творца статуи «Пляшущей Америки», но Джордж Грей Барнард был человек, доводивший добродетель до фанатизма, и все мои юные нежные порывы разбивались о стойкость его религиозной верности добродетели. Мрамор его статуй не становился от этого ни холодней, ни строже. Я олицетворяла эфемерность, он же — вечность. Что же удивительного в том, что я мечтала быть воспроизведенной Барнардом и через его гений получить бессмертие? Всеми фибрами своего существа я жаждала стать гибкой глиной в руках скульптора.

Идея статуи «Пляшущей Америки» была начата блестяще, но, увы, не получила дальнейшего развития. Вскоре пришлось отказаться от позирования ввиду внезапной болезни жены скульптора. Я надеялась, что послужу моделью для величайшего произведения Барнарда, но этого не случилось.

Чарльз Фроман, увидев, что мои выступления на Бродвее очень неудачны, решил попытать счастья в маленьких провинциальных городах, но турне было так плохо организовано, что кончилось еще большим провалом, чем спектакль в Нью-Йорке. В конце концов я потеряла терпение и явилась к Фроману. Я нашла его в очень подавленном состоянии, считающим потерянные деньги. «Америка не понимает вашего искусства, — сказал он, — оно слишком переросло американцев, и им его не понять. Вам лучше вернуться в Европу». Контракт, заключенный мною с Фроманом, был на шестимесячное турне и гарантировал мне известную сумму, независимо от успеха. Тем не менее из чувства оскорбленной гордости и презрения к его отчаянию я

взяла контракт и разорвала на его глазах, говоря: «Теперь, по крайней мере, вы свободны от всякой ответственности».

Следуя советам Джорджа Барнарда, который постоянно повторял, что гордится мною, как цветком, выросшим на американской почве, и что ему будет обидно, если Америка не оценит моего искусства, я решила остаться в Нью-Йорке. Я наняла ателье в здании изящных искусств, украсила его ковром и голубыми занавесами и приступила к новой работе, танцуя каждый вечер перед поэтами и художниками. Я рада, что послушалась совета Джорджа Грея Барнарда и осталась в Америке, так как однажды в ателье пришел человек, которому было суждено помочь мне завоевать восторги американской публики Он видел меня в театре, «Критерион» танцующей» под небольшой и плохой оркестр Седьмую симфонию Бетховена, и понял, какое впечатление произведут мои танцы под аккомпанемент прекрасного оркестра, которым он сам дирижировал. Это был Вальтер Дамрош.

Мои детские занятия теорией оркестровки и роялем, вероятно, оставили след в моем подсознании. Когда я лежу спокойно, закрыв глаза, мне слышатся звуки целого оркестра так ясно, будто он играет передо мной, и каждый инструмент олицетворяется в моем воображении двигающейся полной выразительности фигурой. Этот оркестр теней всегда танцует в моем внутреннем «я».

Дамрош предложил мне ряд выступлений в опере «Метрополитен» в декабре месяце, на что я радостно согласилась. Результат был именно тот, какой он предсказал. Чарльз Фроман, пославший купить ложу на первое представление, поразился, услышав, что в театре не осталось ни одного свободного места. Случай этот доказывает, что даже самый великий художник в неподходящей обстановке не имеет успеха. Так было с Элеонорой Дузе во время ее первого турне по Америке, когда по вине плохого антрепренера она играла перед пустым залом и пришла к заключению, что Америка ее никогда не оценит. Вернувшись в Америку в 1924 году, она была встречена сплошной овацией от Нью-Йорка до Сан-Франциско просто потому, что у Морриса Геста оказалось достаточно художественного чутья, чтобы ее понять.

Я очень гордилась поездкой с оркестром из восьмидесяти человек под управлением знаменитого Вальтера Дамроша Это турне оказалось исключительно удачным, так как оркестр относился с искренним расположением к своему дирижеру и ко мне. Действительно, я чувствовала к Вальтеру Дамрошу такую симпатию, что, стоя на сцене перед началом танца, я ощущала незримые нити, связывавшие каждый нерв моего тела с оркестром

и его дирижером.

Это турне по Америке было, вероятно, самым счастливым временем моей жизни, хотя, конечно, я тосковала по дому и, танцуя Седьмую симфонию, представляла себе своих учениц, когда они достигнут возраста, в котором будут способны дополнять ее вместе со мной. Таким образом, тут была радость не полная, а ожидание будущего совершенного счастья. Может быть, в жизни и нет полного счастья, а есть только надежда. Последняя нота песни Изольды поражает своей полнотой, но ведь она означает смерть.

В Вашингтоне меня ожидала буря. Некоторые министры энергично возражали против моих танцев. И вдруг, к всеобщему удивлению, на утреннем спектакле появился в литерной ложе сам президент Рузвельт. Он, по-видимому, наслаждался и первый аплодировал каждому номеру программы. Впоследствии он писал своему другу: «Что дурного видят эти министры в танцах Айседоры? Она представляется мне невинным ребенком, танцующим в саду при лучах утреннего солнца и срывающим прекрасные цветы своей фантазии».

Эта фраза Рузвельта, подхваченная газетами, сильно устыдила проповедников морали и способствовала успеху нашего турне. Вообще вся поездка протекала удачно и счастливо, и никто не мог бы желать более покладистого директора и очаровательного товарища, чем Вальтер Дамрош, у которого был темперамент действительно великого художника. В минуты отдыха, после ужина, он мог подолгу играть на рояле, никогда не уставая, всегда благодушный, веселый и приветливый.

По возвращении в Нью-Йорк я с удовольствием получила извещение банка о том, что мой текущий счет значительно возрос. Если бы меня так не тянуло повидать ребенка и школу, я бы никогда не покинула Америки. Однажды утром я оставила на пристани группу друзей — Мэри и Вилли Робертс, поэтов и художников, и уехала в Европу.

22

Элизабет привезла в Париж мне навстречу двадцать учениц из школы и мою девочку. Представьте себе мою радость — ведь я не видела ребенка целых шесть месяцев! При виде меня Дердре странно на меня посмотрела и расплакалась. Я, конечно, тоже расплакалась — было так чудно вновь держать ее в своих объятиях. Потом занялась другим ребенком — школой. Все девочки страшно выросли. Это было дивное свидание, и мы пели и танцевали целый день.

Выдающийся художник Люнье Поэ взял на себя устройство моих выступлений в Париже. Благодаря ему Париж посещали Элеонора Дузе, Сюзанн Депре и Ибсен. Он подметил, что мои танцы нуждаются в известной обстановке, нанял театр Гетэ Лирик и пригласил оркестр Колонна, которым дирижировал сам Колонн. В результате мы взяли Париж штурмом. Такие поэты, как Анри Лаведан, Пьер Милль и Анри де Ренье, писали мне восторженные письма. На каждом спектакле толпились представители избранного артистического и интеллектуального общества. Тут мне показалось, что я близка к достижению цели и что долгожданная школа скоро будет основана. Я наняла две большие квартиры на улице Дантон № 5, сама жила в первом этаже, а во втором поместила детей школы с их воспитательницами.

Однажды перед утренним спектаклем я сильно перепугалась: моя девочка вдруг начала кашлять и задыхаться. Я подумала, что это, вероятно, припадок страшного крупа, взяла таксометр и помчалась по Парижу, стараясь разыскать какого-нибудь доктора. Наконец я нашла известного детского специалиста, который любезно согласился поехать со мной и вскоре заявил, что нет ничего серьезного, а только большой кашель. Я на полчаса опоздала к началу спектакля, и Колонну пришлось заполнить это время музыкой. Весь день, танцуя, я дрожала от волнения. Я, разумеется, обожала ребенка и чувствовала, что не переживу, если с ним что-нибудь случится. Какое сильное, эгоистичное и свирепое чувство — материнская любовь!

Дердре теперь уже бегала и танцевала. Она была удивительно хороша, совершенная Эллен Терри в миниатюре, что, конечно, объяснялось моими постоянными мыслями об Эллен и преклонением перед ней. С прогрессом человечества все матери перед рождением ребенка будут изолированы в уединенном месте, чтобы жить под звуки музыки, окруженные статуями и картинами.

Самым большим событием сезона был бал Бриссона, куда

были приглашены все художники и литературные светила Парижа. Каждый должен был прийти одетым героем какого-нибудь литературного произведения. Я оделась вакханкой Еврипида и встретилась с Мунэ-Сюлли, который в своих греческих одеждах мог сойти за самого Диониса. Я танцевала с ним целый вечер, вернее, танцевала вокруг него, так как великий Мунэ презирал современные танцы. Впоследствии говорили, что мы вели себя крайне неприлично. Но в действительности наше поведение было совершенно невинно, и я только постаралась дать великому артисту несколько часов развлечения, которого он заслуживал. Странно, что своей американской невинностью я так скандализировала Париж в ту ночь!

Я дошла до предела, за которым следует крушение. Средств моих не могло хватить на покрытие расходов по содержанию увеличивавшейся школы. На зарабатываемые мною деньги я как бы усыновила, содержала и воспитывала сорок детей, двадцать в Германии и двадцать в Париже, помогая кроме того и многим другим. Однажды в шутку я сказала сестре Элизабет:

— Так не может продолжаться! Я перебрала по моему банковскому счету. Надо найти миллионера, чтобы школа продолжала существовать!

Случайно высказанное желание стало меня преследовать.

— Я должна найти миллионера! — повторяла я сто раз в день сначала в виде шутки, а затем, по системе Куэ, совершенно серьезно.

Однажды утром после особенно удачного спектакля я сидела в пеньюаре перед зеркалом. Помню, что волосы мои были в папильотках для предстоящего дневного спектакля, а голову покрывал маленький кружевной чепчик.

Горничная подала мне визитную карточку, на которой я прочла хорошо известное имя, и вдруг в моем мозгу что-то запело: «Вот мой миллионер!»

— Просите войти!

Он вошел, высокий и белокурый, с вьющимися волосами и бородой. Первая моя мысль была — Лоэнгрин! Он говорил очаровательным голосом, но казался застенчивым. «Он похож на большого мальчика с приклеенной бородой!» — подумала я.

— Вы меня не знаете, но я часто аплодировал вашему удивительному таланту, — сказал он.

Меня охватило странное чувство. Я где-то раньше встречала этого человека. Но где? Как во сне, мне вспомнились похороны князя Полиньяк: я, молодая девушка, горько плачу на непривычных мне французских похоронах, глядя на длинный ряд родственников в боковом приделе церкви Кто-то выдвинул меня

вперед, прошептав: «Надо пожать руки!» И я, охваченная неподдельным горем по случаю смерти моего дорогого друга, пожала по очереди руки всем его родственникам. Помню, как я неожиданно встретилась взглядом с одним из них. Это и был мой теперешний гость.

Впервые мы встретились в церкви перед гробом. Зловещее предсказание! Тем не менее я сразу поняла, что это мой миллионер, тот миллионер, которого я призывала всеми фибрами души, и что наша встреча — Кисмет, как бы дальше ни развернулись события.

— Я преклоняюсь перед вашим искусством и той смелостью, с которой вы защищаете идеи вашей школы Я пришел вам помочь. Что мне делать? Не хотите ли вы, например, поехать со всеми вашими детьми в маленькую виллу на Ривьере и там, у моря, заняться созданием новых танцев? Вам нечего беспокоиться о расходах. Я их все беру на себя. Вы проделали большую работу и, должно быть, устали. Возложите все теперь на мои плечи.

Через неделю вся моя семья мчалась в вагоне первого класса к морю и солнцу. Лоэнгрин встретил нас на вокзале. Весь в белом, он просто сиял. Он нас повез в прелестную виллу у моря и, выйдя на террасу, показал свою белокрылую яхту.

— Она называлась «Леди Алиса», — сказал он, — но теперь мы ее переименуем в «Ирис».

Дети танцевали в голубых туниках под апельсиновыми деревьями с руками, полными цветов и плодов. Лоэнгрин был очень добр и ласков с детьми. Его любовь к детям прибавила новую нотку доверия к чувству благодарности, которое я уже испытывала по отношению к нему и которое вскоре под влиянием ежедневного общения с ним должно было превратиться во что-то более глубокое и сильное. Но в те времена я еще смотрела на него как на рыцаря, которому поклонялась издали и с некоторым благоговением.

Дети и я были помещены в вилле в Болье, а Лоэнгрин жил в Ницце в модной гостинице. Изредка он меня приглашал с ним пообедать. Помню, что в первый раз я пошла в своем простом греческом хитоне и смутилась, встретив у него женщину в удивительном цветном платье, покрытом бриллиантами и жемчугами. Я сразу поняла, что это мой враг. Я почувствовала страх, который впоследствии оказался основательным. Как-то вечером со свойственной ему щедростью Лоэнгрин пригласил целое общество на бал в казино по случаю карнавала. Он одел всех в атласные костюмы Пьеро. Мне в первый раз пришлось надеть костюм Пьеро и быть на общественном маскараде. Было очень весело, и только одна туча омрачала мой горизонт: дама с

бриллиантами, тоже в костюме Пьеро, была на балу. Глядя на нее, я испытывала настоящие муки. Но позже я танцевала с ней как безумная, и ненависть настолько бывает похожа на любовь, что подошел распорядитель и заявил, что так танцевать не принято.

Среди всех этих забав меня неожиданно позвали к телефону. Кто-то из виллы в Болье сообщил мне, что у младшей девочки Эрики случился внезапный припадок крупа, что положение очень серьезное и может кончиться смертью. Я бросилась от телефона к столу, где сидели ужинавшие и где Лоэнгрин занимал гостей. Я умоляла его как можно скорей вызвать по телефону доктора. И там, в тесноте телефонной будки, под влиянием общего страха за дорогую нам обоим жизнь все сдерживающие препоны рухнули и наши губы впервые слились в поцелуе. Но мы не теряли ни секунды Автомобиль Лоэнгрина ждал у подъезда. Как были, в костюмах Пьеро, мы съездили за доктором, а затем помчались в Болье. Маленькая Эрика задыхалась, лицо ее потемнело. Доктор делал что мог, а два испуганных Пьеро ждали около кровати окончательного приговора. Два часа спустя, когда за окном забрезжил свет, доктор признал ребенка спасенным. Слезы текли по нашим щекам, смывая румяна, и Лоэнгрин заключил меня в свои объятия: «Бодритесь, дорогая. Вернемся к нашим гостям». Всю обратную дорогу в автомобиле он крепко прижимал меня к себе и шептал: «Сокровище мое, я готов вас вечно любить, хотя бы только ради сегодняшней ночи, сегодняшних воспоминаний».

В казино время летело так быстро, что большинство гостей даже не заметило нашего отсутствия. Одна лишь маленькая дама с бриллиантами считала каждое мгновение. Она ревнивым взором подметила наше исчезновение и теперь, когда мы вернулись, схватила со стола нож и бросилась на Лоэнгрина. К счастью, он вовремя угадал ее намерение и, поймав за кисти рук, поднял на воздух и унес в дамскую комнату, точно все случившееся было простой шуткой, заранее подготовленной частью карнавального веселья. Там он ее сдал прислуге, коротко заметив, что она немного истерична и, очевидно, нуждается в стакане воды, после чего возвратился в залу в прекрасном настроении и совершенно спокойный. И действительно, с этой минуты общее веселье стало расти, пока не достигло апогея в пять часов утра, когда я изобразила все дикие и противоречивые переживания вечера, воплотив их в танго апашей, которое протанцевала с Максом Дирли.

Когда с восходом солнца все стали расходиться, дама с бриллиантами одиноко отправилась в свою гостиницу, а Лоэнгрин остался со мной. Его щедрость к детям, его волнение и искреннее горе у постели маленькой Эрики завоевали мою

любовь.

На следующее утро он предложил уплыть с ним на яхте, только что получившей другое название, и, захватив с собой мою девочку, а школу оставив на попечение воспитательниц, мы двинулись по направлению к Италии.

* * *

Деньги всегда несут за собой проклятие, и люди богатые не могут быть счастливы двадцать четыре часа подряд. Если бы я с самого начала поняла, что у моего спутника психология избалованного ребенка и что каждое мое слово и действие должны были рассчитаны на то, чтобы доставить ему удовольствие, все пошло бы гладко. Но я была слишком молода и наивна и болтала не останавливаясь о своих взглядах на жизнь, на «Государство» Платона, на Карла Маркса и на грядущее переустройство мира, совершенно не сознавая, какое произвожу впечатление. Человек, любивший меня, по его словам, за храбрость и щедрость, все больше и больше пугался, видя, какую ярую революционерку он приютил у себя на яхте. Он медленно начинал соображать, что не в состоянии согласовать мои идеалы со своим душевным спокойствием. Но чаша переполнилась, когда однажды вечером он осведомился о том, какая моя любимая поэма. Я принесла ему свою настольную книгу и прочла ему «Песнь большой дороги» Уолта Уитмана. Упоенная восторгом, я не заметила, как действует мое чтение на Лоэнгрина, и, только подняв глаза, заметила, что его красивое лицо искажено бешенством.

— Какой вздор! — вскричал он. — Не мог же он этим зарабатывать свой хлеб!

— Неужели вы не понимаете, — воскликнула я, — что он мечтал о свободной Америке?

— Черт их побери, эти мечты!

И вдруг мне стало ясно, что он смотрит на Америку только с точки зрения эксплуатации своих двенадцати заводов. Но женщина создана из противоречий, и я после этой и других подобных ссор бросалась в его объятия и все забывала под его грубыми ласками. Я утешала себя мыслью, что у него в конце концов откроются глаза и он мне поможет создать великую школу для детей народа.

Тем временем чудная яхта плыла по голубым волнам Средиземного моря. Я вижу все это, словно это было вчера: широкая палуба яхты, обеденный стол, убранный хрусталем и

серебром, маленькая танцующая Дердре. Я была влюблена и счастлива, но все время у меня было неприятное сознание, что существуют кочегары в машинном отделении, существует пятьдесят матросов, капитан и его помощник, и все они работают ради удовольствия двух человек. В глубине моего сознания шевелилась мысль, что дни проходят и что каждый из них — потеря, а иногда я невольно сравнивала роскошную жизнь, постоянные пиры, беспечные наслаждения тела с упорной борьбой за существование времен моей ранней юности, и сравнение это было не в пользу теперешней жизни. Но красота зари, переходящей в знойный ослепительный полдень, вызывала быстрый отклик в моей душе. Мой Лоэнгрин, мой рыцарь Грааля должен будет в конце концов разделить мои взгляды!

Мы провели день в Помпеях, и Лоэнгрину пришла в голову поэтическая мысль увидеть меня танцующей при лунном свете в храме Пестум. Не откладывая, он нанял небольшой неаполитанский оркестр и отправил его вперед ждать у храма нашего приезда. Но как раз в этот день разразилась гроза и полил дождь. Весь этот день и следующий яхта не могла покинуть гавань, и когда наконец мы прибыли в Пестум, мы нашли музыкантов, промокших до костей и в очень жалком состоянии, сидящими на приступках храма, где они прождали больше двадцати четырех часов.

Лоэнгрин заказал дюжину бутылок вина и барашка a la P`elicaire, который мы ели по арабскому обычаю пальцами. Изголодавшиеся музыканты ели и пили так много и так устали от долгого ожидания в храме, что совершенно не были в состоянии играть. Так как снова стал накрапывать дождик, мы все вернулись на яхту и отправились в Неаполь. Оркестр сделал храбрую попытку играть на палубе, но началась качка, и музыканты стали бледнеть один за другим и исчезать в каютах.

Так кончилась поэтическая идея танцевать при лунном свете в храме Пестум!

Лоэнгрин хотел продолжать плавание по Средиземному морю, но я вспомнила, что у меня подписан контракт с импресарио в России, и, не обращая внимания на просьбы своего спутника, решила выполнить свои обязательства, хотя мне и было это очень нелегко. Лоэнгрин привез меня обратно в Париж и поехал бы со мной в Россию, но опасался затруднений с паспортом. Он наполнил мое купе цветами и нежно со мной простился. Странно, что, прощаясь с любимым человеком мы, несмотря на раздирающее душу горе, испытываем необыкновенное чувство свободы.

Эта поездка в Россию была так же успешна, как и прежние, но

была отмечена событием, которое могло окончиться трагично, хотя вышло очень смешным. Однажды ко мне вошел Крэг, и короткий миг я была готова думать, что, кроме радости его увидеть, не существует больше ничего: ни Лоэнгрина, ни моей школы, ни чего-либо другого. Но одной из основных черт моего характера является верность.

Крэг был в великолепном настроении, работал над постановкой «Гамлета» для Художественного театра Станиславского. Все артистки труппы Станиславского были в него влюблены, а артисты восторгались его красотой, добродушием и удивительной жизнерадостностью. Он часами мог говорить с ними о театральном искусстве, и они делали все, что было в их силах, стараясь сообразоваться с полетом его фантазии и вдохновения. Когда я его увидела, я снова почувствовала всю силу его чар, и все могло кончиться иначе, не имей я при себе хорошенькой секретарши. В последний вечер перед нашим отъездом в Киев я устроила маленький обед для Станиславского, Крэга и секретарши. В середине обеда Крэг спросил меня, намерена ли я с ним остаться или нет. Я не знала, что ответить, и он, охваченный одним из своих прежних порывов бешенства, схватил секретаршу со стула, унес ее в соседнюю комнату и заперся на ключ. Станиславский был страшно возмущен и пытался уговорить Крэга открыть дверь, но убедившись, что уговоры не действуют, мы помчались на вокзал и там узнали, что поезд ушел десять минут тому назад. Мы поехали на квартиру к Станиславскому, где мрачно пытались завязать разговор о Крэге, но я видела, что Станиславский смущен и негодует на его поведение.

На следующий день я уехала в Киев, где через три дня меня догнала немного бледная и растерянная секретарша. На мой вопрос, не хочет ли она остаться в России с Крэгом, она ответила решительным отказом, и мы вернулись в Париж, где нас встретил Лоэнгрин.

У него была необыкновенная сумрачная квартира на Богесской площади, и туда он меня повез — прямо в кровать стиля Людовика XIV, где почти задушил меня ласками. Тамя впервые узнала, что могут дать нервы и чувства в смысле ощущений. Мне казалось, что я возвращаюсь к жизни новым и чудесным образом.

Как Зевс, он принимал различные образы и формы, и я познала его то в виде быка, то лебедя, то золотой росы, влекомая его любовью по волнам, нежно обласканная белыми крыльями, и обольщенная, и скрытая в золотом облаке.

Затем я познакомилась с лучшими ресторанами Парижа, где

Лоэнгрина встречали как короля. Все метрдотели и повара наперерыв старались угодить ему, и в этом не было ничего удивительного, так как он раздавал деньги, как настоящий король. Впервые я узнала разницу между poulet cocotten и poulet simple, оценила ортоланов, трюфели и грибы. Мои вкусовые способности, до сих пор дремавшие, теперь пробудились, и я научилась определять сорта вин и качество виноградной лозы, и еще много вещей, доселе мне неизвестных.

В первый раз я посетила модных портных и не устояла перед роковыми соблазнами материй, красок и форм — даже в шляпах. Я, всегда носившая простые белые туники, шерстяные зимой и полотняные летом, поддалась удовольствию заказывать и носить красивые платья. У меня было только одно оправдание: портной был не обыкновенный, а сам гениальный Поль Пуаре, который, одевая женщину, мог из нее создать настоящее произведение искусства. Но для меня это был переход от искусства священного к искусству нечестивых.

Эта приятная жизнь имела свою оборотную сторону, и бывали дни, когда мы говорили о жуткой болезни — неврастении.

Помню, как во время прелестной утренней прогулки с Лоэнгрином в Булонском лесу я увидела на лице его трагическое выражение, которое со временем я научилась бояться. Когда я спросила, чем он удручен, он ответил:

— Предо мной вечно лицо матери в гробу; где бы я ни был, я вижу это мертвое лицо. Что за смысл жить, если все кончается только смертью?

Я поняла, что богатства и роскошь не дают счастья Богатым много труднее, чем бедным, выполнить что-либо в жизни серьезное, так как в гавани всегда стоит яхта, приглашающая уплыть в лазурные моря.

23

Это лето мы провели на борту яхты у берегов Британии. Море бывало часто такое бурное, что я сходила на берег и ехала за яхтой на автомобиле. Лоэнгрин упорно оставался на борту, но хорошим моряком не был и поэтому постоянно выглядел совершенно зеленым. Таковы удовольствия богачей!

В сентябре я поехала в Венецию с ребенком и няней и несколько недель провела в одиночестве с ними. Однажды я пошла в собор Св. Марка и сидела там одна, глядя на голубой с золотом купол. Вдруг мне показалось, что я вижу лицо мальчика, которое в то же время было лицом ангела с большими голубыми глазами и золотыми волосами. Я отправилась на Лидс и, сидя там, глубоко задумалась, пока маленькая Дердре играла на песке. То, что мне грезилось в соборе Св. Марка, наполнило меня одновременно радостью и беспокойством. Я любила, но теперь уже знала, насколько переменчиво и эгоистично капризно то, что люди называют любовью, а тут предстояло принести жертву, может быть, даже роковую для моего искусства, для моей работы, и я внезапно почувствовала сильную тоску по своему искусству, по работе, по школе. Человеческая жизнь казалась такой трудной по сравнению с моими мечтами об искусстве.

Я считаю, что в человеческой жизни есть духовная черта, поднимающаяся ввысь линия, и что нашей истинной жизнью является только то, что примыкает к этой линии и углубляет ее. Все остальное — налет, исчезающий по мере того, как совершенствуется душа. Мое искусство и есть эта духовная черта. Моя жизнь знает только два мотива: любовь и искусство; часто любовь губит искусство, но также часто повелительный призыв искусства кладет трагический конец любви. Любовь и искусство никогда не уживаются и всегда воюют.

В этом состоянии нерешительности и умственной подавленности я отправилась в Милан, чтобы повидать вызванного мною туда доктора-друга и поделиться с ним своими затруднениями.

— Это возмутительно! — вскричал он. — Вы, единственная в своем роде артистка, будете снова рисковать лишить навсегда мир вашего искусства. Это совершенно невозможно. Послушайтесь моего совета и откажитесь от этого преступления против человечества.

Я слушала его с боязливой нерешительностью, то не желая подвергать свое тело новому изуродованию, тело, бывшее выразителем искусства, то снова мучимая призывом, надеждой и

видом этого ангельского лица, лица моего сына.

Я попросила моего друга дать мне час на размышление. Как сейчас помню спальню в гостинице, довольно мрачную комнату и висевшую на стене передо мной картину — необыкновенную женщину в платье восемнадцатого века, жестокие, но прекрасные глаза которой прямо глядели в мои. Я смотрела ей прямо в глаза, и они как будто смеялись надо мной. «Что бы вы ни решили, — казалось, говорили эти глаза, — все клонится к одному. Взгляните на мою красоту, сиявшую столько лет тому назад. Смерть поглощает все, все. Зачем же вам вновь страдать, чтобы дать жизнь существу, которое будет все равно унесено смертью?»

Ее глаза становились все более жестокими и зловещими, а моей тоске не было предела. Я закрыла лицо руками, чтобы не видеть ее, и старалась думать, решить. Сквозь туманившие мой взор слезы я умоляла эти глаза, но они не поддавались жалости и беспощадно смеялись надо мной: «Жизнь или смерть, несчастная, мы все равно попали в капкан.» В конце концов я поднялась с места и сказала глазам: «Нет, вам меня не смутить! Я верю в жизнь, в любовь, в святость законов природы».

Было ли это воображение, или действительно в этих холодных глазах мелькнул огонек жуткого язвительного смеха?

Когда мой друг вернулся, я сообщила ему свое решение, и ничто уже не могло меня поколебать. Я вернулась в Венецию и, обняв Дердре, шепнула ей:

— У тебя будет маленький брат.

— О, — засмеялась Дердре и захлопала от радости в ладоши. — Как хорошо, как хорошо!

— Да, да, это будет чудесно.

Я телеграфировала Лоэнгрину, и он поспешил приехать в Венецию. Он был в восторге, полон радости, любви и нежности, и демон неврастении на время покинул его.

Согласно второму контракту, подписанному с Вальтером Дамрошем, я в октябре уехала в Америку. Лоэнгрин никогда не видал Америки и очень волновался, вспоминая, что в нем течет американская кровь. На пароходе были наняты, конечно, самые роскошные помещения, для нас каждый вечер печаталось особое меню — ехали мы, как коронованные особы. Общество миллионера, безусловно, сильно облегчает путешествия: у нас была роскошная квартира в гостинице, и вся прислуга кланялась нам до земли.

Кажется, что в Соединенных Штатах существует закон, запрещающий двум любовникам путешествовать вместе. Бедный Горький и его подруга, прожившая с ним уже семнадцать лет, подвергались всевозможным гонениям, превратившим их жизнь в

сплошной ад, но понятно, когда люди очень богаты, от этих маленьких неприятностей легко избавиться.

Поездка по Америке совершалась очень счастливо, успешно и удачно в материальном отношении до тех пор, пока как-то в январе ко мне в уборную не зашла очень нервно настроенная дама, которая заявила: «Но милейшая мисс Дункан, вы не можете продолжать танцевать в таком состоянии! Ведь это видно из первых рядов».

— Но милейшая госпожа Х., - возразила я, — это как раз то, что я хочу выразить своими танцами: любовь — женщину — оплодотворение — весну. Картина Боттичелли: плодотворная земля — три танцующие Грации, близкие к материнству, — Мадонна — Зефиры, тоже близкие к материнству… Все шелестит, обещая новую жизнь. Вот что означает мой танец.

Г-жа Х посмотрела на меня с насмешливым недоверием, но все-таки мы сочли за лучшее прекратить турне и вернуться в Европу, так как мое благословенное состояние действительно становилось слишком заметным.

Я была очень счастлива, что с нами едут Августин и его девочка. Он разошелся с женой, и я считала, что поездка его развлечет.

* * *

— Не хотели ли бы вы путешествовать всю зиму по Нилу, чтобы уйти от мрачного нахмуренного неба туда, где сияет солнце; посетить Фивы, Дендеры — все, что вы мечтали видеть? Яхта ждет нас, чтобы доставить в Александрию на судне, которое повезет нас по Нилу, тридцать туземных матросов и первоклассный повар; каюты роскошны — это отдельные комнаты, при каждой ванна.

— Но моя школа, работа.

— Ваша сестра Элизабет отлично справляется со школой, а вы так молоды, что еще успеете наработаться.

Таким образом, мы провели зиму, путешествуя по Нилу. Это было сказочное счастье, вернее, почти было, так как изредка появлялось чудовище неврастении и черной рукой заслоняло солнце. Легкая фигурка Дердре то носилась по палубе, то бродила по древним улицам Фив. Малютка засматривалась на облупившихся древних богов. Увидев Сфинкса, она сказала: «О, мама, эта кукла не очень красивая, но очень величавая!» Она как раз начала говорить многослойные слова.

Девочка подолгу стояла перед храмами вечности, перед

могилой маленького наследника фараонов. Мы видели Долину царей, перед нами уходили в пустыню караваны, дул ветер и нес песчаные волны по пустыне — куда?

Для нас Египет — страна снов, а для бедного феллаха — страна труда, но, во всяком случае, это единственная страна, которую я знаю, где и труд может быть прекрасен. Феллах существует по большей части чечевичной похлебкой и пресным хлебом, обладает красивым, гибким телом и что бы он ни делал — нагибается ли во время работ или наклоняется к Нилу за водой — всегда представляет собой бронзовую модель, радующую сердце скульптора.

* * *

Мы вернулись во Францию и высадились в Вильфранше. На время сезона Лоэнгрин нанял великолепную виллу в Болье с террасами, спускающимися к морю. С характерной для него порывистостью он забавлялся скупкой земель на мысе Феррате, где собирался построить величественный итальянский замок. На автомобиле мы ездили осматривать Авиньонские башни и стены Каркассона, которые должны были служить образцом для этого замка. На мысе Феррате теперь высится замок, но, увы, недоконченный, как и многие из затей Лоэнгрина.

Сейчас он был неестественно подвижен. Если он не несся на мыс Феррат для покупки земли, он мчался в понедельник в курьерском поезде в Париж, чтобы вернуться в среду. Я спокойно оставалась в саду у голубого моря, размышляющей о глубокой пропасти, отделяющей жизнь от искусства, и часто задумываясь над вопросом, может ли женщина стать настоящей художницей? Ведь искусству нужно отдавать все, а любящая женщина все отдает жизни. Во всяком случае, я уже во второй раз была разлучена со своим искусством и точно отрезана от него.

Утром первого мая, когда природа распускалась пышным цветом, море синело, солнце жарило и все ликовало, родился мой сын.

В отличие от глупого деревенского врача в Нордвике умный д-р Боссон умело облегчал страдания благоразумными дозами морфия, и мой второй опыт сильно отличался от первого. Дердре вошла ко мне в комнату со своим прелестным личиком, полным ранних материнских забот.

— О, какой милый мальчик, мама! — воскликнула она. — Тебе нечего о нем беспокоиться. Я всегда буду о нем заботиться и носить его на руках.

Я вспомнила эти слова, когда она, мертвая, держала его в своих маленьких застывших восковых ручках. Зачем людям призывать Бога, который, если и существует, наверное, не обращает на все это внимания?

Итак, я снова лежала у моря с ребенком на руках, только вместо белой дрожащей от ветра виллы «Мария» был роскошный дворец, а вместо мрачного беспокойного Северного моря — голубое Средиземное.

24

По возвращении в Париж Лоэнгрин спросил меня, не хочу ли я устроить праздник в честь всех моих друзей, и предложил мне составить программу по своему усмотрению. Мне кажется, что богатые люди никогда не знают, как себя забавлять. Когда они дают обед, то он немногим отличается от обеда, устроенного бедным дворником. Я же всегда думала, что, имея достаточно денег, можно пригласить гостей на поразительный праздник. Вот что я придумала.

Гости были приглашены к четырем часам дня в Версаль, и там, в парке, были раскинуты шатры, где их ожидали всякие яства, начиная с икры и шампанского и кончая чаем и пирожными. После чего на открытой площадке, где находились палатки, оркестр Колонна под управлением Пьерне сыграл нам ряд произведений Рихарда Вагнера. Помню, как в тени больших деревьев удивительно звучала идиллия Зигфрида в этот прекрасный летний полдень и как вечером при заходе солнца торжественно неслись аккорды «Похоронного марша» из «Гибели богов».

После концерта великолепно накрытые столы как бы манили гостей к материальным удовольствиям. Пир этот, за которым подавались необыкновенные разнообразные блюда, продолжался до полуночи, когда была зажжена иллюминация и все танцевали до утра под звуки венского оркестра.

Так в моем представлении следовало действовать, когда богатый человек желает тратить деньги на прием гостей. На этот праздник явились вся аристократия и все художники Парижа и действительно оценили его по достоинству.

Но самое странное было то, что Лоэнгрин не присутствовал на торжестве, которое я устраивала для его же развлечения и которое ему обошлось в 50 000 франков (к тому же довоенных). Приблизительно за час до начала праздника я получила телеграмму, что с ним случился удар и что он не может быть, но просит меня принимать гостей без него. Не удивительно, что меня влекло к коммунизму, когда я так часто убеждалась, что богатому найти счастье так же трудно, как Сизифу втащить камень из ада на гору.

В то же лето Лоэнгрин вздумал со мной обвенчаться, хотя я и доказывала, что отношусь к браку отрицательно.

— Нет большей глупости для артиста, чем женитьба, — говорила я, — ведь я проведу свою жизнь в бесконечных турне по всему свету, не можете же вы провести свою, сидя в литерной

ложе и любуясь мной?

— Вам не надо будет разъезжать по всему свету, если мы поженимся.

— Чем же мы бы тогда занялись?

— Мы бы проводили время в моем лондонском доме или в имении.

— А дальше что?

— Есть еще яхта.

— Ну а дальше?

Лоэнгрин предложил испробовать такую жизнь в течение трех месяцев. «И я буду очень удивлен, если она вам не понравится», — прибавил он.

Это лето мы провели в Девоншире, где у него был удивительный замок, построенный по образцу Версаля и Малого Трианона, с целым рядом спален, ванных комнат и роскошными покоями, отданными в мое распоряжение, с четырнадцатью автомобилями и яхтой. Но я не приняла в расчет дождливой погоды. В Англии летом дождь идет целыми днями, но англичане как будто относятся к нему совершенно безразлично. Они рано встают, завтракают яйцами, почками, копченой грудинкой и кашей, надевают непромокаемые пальто и гуляют по сырости, чтобы, вернувшись, снова съесть множество блюд, заканчивая трапезу девонширскими сливками.

До пяти часов они будто бы пишут письма друзьям, а по-моему, просто спят. В пять спускаются к чаю, за которым подаются разнообразные пирожные, хлеб с маслом, чай и мармелад, после чего притворяются, что играют в бридж, пока не наступит время приступить к самому важному делу дня — одеванию к ужину, за которым появляются в вечернем туалете: дамы в платьях с глубоким вырезом, а мужчины в туго накрахмаленных рубашках, и уничтожают обед из двадцати блюд. После обеда начинается легкий разговор о политике, затрагивается философия, а затем все расходятся по своим комнатам.

Вы легко поймете, насколько эта жизнь меня удовлетворяла.

Через две недели я была на границе отчаяния. В замке была удивительная зала, вся в гобеленах, в которой висела картина Давида «Коронация Наполеона». Оказывается, Давид написал картину в двух экземплярах, одна из них в Лувре, а другая в бальном зале замка Лоэнгрина в Девоншире.

Заметив, что мое отчаяние все увеличивается, Лоэнгрин предложил мне снова потанцевать — в бальном зале.

Я вспомнила гобелены и картину кисти Давида.

— Как мне делать перед ними свои примитивные движения

на блестящем вощеном паркете?

— Если задержка только за этим, пошлите за своим ковром и занавесями.

Я послушалась его совета, и гобелены были завешены моими драпировками, а ковер разложен на полу.

— Но мне нужен аккомпаниатор.

— Пошлите за пианистом, — сказал Лоэнгрин.

Я телеграфировала Колонну: «Провожу лето в Англии, должна работать, пришлите аккомпаниатора».

В оркестре Колонна первым скрипачом был человек странного вида с большой головой, качавшейся на плохо скроенном теле. Кроме скрипки он играл на рояле, и Колонн его однажды привел ко мне, но человек этот был мне настолько неприятен, что, глядя на него или касаясь его руки, я положительно испытывала физическое отвращение и поэтому попросила Колонна больше его не приводить. Колонн возразил, что скрипач меня обожает, но я ответила, что не могу справиться с чувством отвращения инев состоянии выносить этого человека.

Как-то вечером, когда Колонн по болезни не мог дирижировать для меня в «Гетэ Лирик», он прислал этого музыканта вместо себя. Я очень рассердилась и заявила, что отказываюсь танцевать, если он будет дирижировать.

Он вошел ко мне в уборную и взмолился со слезами на глазах: «Айседора, я вас обожаю, разрешите мне продирижировать хоть раз».

Я холодно посмотрела на него:

— Нет. Вы должны понять, что физически вы мне отвратительны.

Он расплакался.

Публика ждала, и Люнье Поэ убедил Пьернэ заменить Колонна.

В особенно дождливый день я получила ответную телеграмму от Колонна: «Посылаю аккомпаниатора. Приедет в такой-то день и час». Я поехала на вокзал и была поражена, когда увидела, что вылезает из поезда именно скрипач Х.

— Как это возможно, что Колонн прислал именно вас? Он знает, что вы мне противны и я вас ненавижу.

— Простите, сударыня, маэстро меня прислал. — пробормотал он, заикаясь.

Узнав, кто такой аккомпаниатор, Лоэнгрин заметил: «По крайней мере, у меня нет причин к ревности».

Он все еще страдал от последствий того, что он считал ударом, и в замке при нем находились доктор и сестра милосердия, которые очень настойчиво указывали мне, как я

должна себя вести. Меня поместили в самой отдаленной комнате на другом конце замка и запретили под каким бы то ни было предлогом беспокоить Лоэнгрина, который ежедневно проводил целые часы, запертый у себя в комнате, на диете, состоящей из риса, макарон и воды, причем беспрестанно к нему заходил доктор, чтобы освидетельствовать состояние кровообращения. Иногда его сажали в род клетки, привезенной из Парижа, где через него пропускалось несколько тысяч вольт электричества, пока он сидел с жалобным видом, повторяя:

— Надеюсь, что это мне поможет.

Все это усиливало мое раздражение и в соединении с непрекращающимся дождем могло бы послужить объяснением последующих удивительных событий.

Чтобы рассеять свое неудовольствие и избавиться от скуки, я стала работать с Х., несмотря на всю нелюбовь к нему. Когда он играл, я заставляла его ширмой, говоря:

— Я не могу на вас смотреть, до того вы мне отвратительны.

В замке гостила старый друг Лоэнгрина, графиня А.

— Как можете вы так обращаться с несчастным пианистом? — сказала она и настояла однажды на том, чтобы я пригласила его поехать с нами в закрытом автомобиле, в котором мы ежедневно катались после завтрака.

Я согласилась очень неохотно. Автомобиль не имел откидных сидений, и поэтому нам пришлось сидеть всем рядом: мне посередине, а графине и Х. по бокам. По обыкновению лил дождь. Через короткое время меня охватило такое отвращение к Х., что я постучала в стекло шоферу и велела повернуть домой.

Он кивнул головой и, желая мне угодить, резко повернул машину. Деревенская дорога была вся в рытвинах, и при крутом повороте меня бросило в объятия Х. Его руки охватили меня, и, взглянув на скрипача, я внезапно вспыхнула огнем, как ворох зажженной соломы. Я никогда не испытывала такого бурного чувства. Посмотрев на него, я поразилась. Как не заметила я этого раньше? Его лицо было прекрасно, в глазах горел затаенный огонь гениальности, и я с этой минуты поняла, что он великий человек.

Весь обратный путь я смотрела на него в каком-то оцепенении страсти, и когда мы вошли в замок, не отрывая своего взора от моего, он меня взял за руку и медленно увлек в залу, за ширмы. Как могла из такого сильного отвращения родиться такая сильная любовь?

Единственным возбуждающим средством, которое тогда разрешалось Лоэнгрину и которое теперь продается тысячами бутылок, было вновь изобретенное средство, вызывающее

оживление деятельности фагоцитов. Лакеям было приказано ежедневно угощать гостей этим напитком, передавая привет от хозяина, и хотя впоследствии я узнала, что на прием полагается одна чайная ложка, Лоэнгрин настаивал на том, чтобы мы выпивали целый стакан.

После случая в автомобиле нас томило одно желание — оставаться вдвоем в зимнем ли саду, в парке или во время прогулок по грязным деревенским тропинкам. Но бурные страсти имеют бурный конец, и настал день, когда Х принужден был покинуть замок, чтобы никогда в него больше не возвращаться. Мы принесли эту жертву, чтобы спасти жизнь человеку, казалось, стоявшему на краю могилы. Много времени спустя, слушая дивную музыку «Зеркала Иисуса», я поняла, что была права, считая этого человека гением, а талант всегда имел для меня роковую притягательную силу.

Этот случай подтвердил, что я не гожусь для семейной жизни, и осенью, грустная и умудренная опытом, я уехала в Америку, чтобы выполнить свои обязательства по третьему контракту. В сотый раз я твердо решила посвятить отныне свою жизнь искусству, которое хоть и сурово, но зато на сто процентов благодарнее человеческих существ.

Во время этого турне я обратилась к Америке за помощью по делу основания школы. Мой трехлетний опыт жизни среди богатых людей убедил меня в пустоте и безнадежном эгоизме их существования, доказав мне, что можно найти настоящую радость только в принадлежащей всему человечеству Вселенной. Зимой я обратилась с речью к публике, сидевшей в ложах «Метрополитена», и газеты раздули это в целый скандал под заголовком «Айседора оскорбляет богачей» Я сказала приблизительно следующее:

— Меня упрекают в злобных выпадах против Америки. Возможно, что это и правда, но вовсе не значит, что я не люблю Америки. Наоборот, это, вероятно, значит, что я слишком ее люблю. Я когда-то знала человека, страстно любившего женщину, которая не хотела его знать и плохо с ним обращалась. Он ей ежедневно писал по оскорбительному письму и на ее вопрос, зачем он пишет ей такие грубости, ответил: «Потому, что я вас безумно люблю».

Психолог объяснит вам этот рассказ, и таково же, наверно, мое отношение к Америке. Я, безусловно, ее люблю. Разве моя школа, мои дети, все мы не духовные отпрыски Уолта Уитмана? И мои танцы, которые называют «греческими», разве они не вышли из Америки, ведь они танцы Америки будущего. Все эти движения — откуда взяли они свое начало? Они рождены

природой Америки, Сьерра-Невадой, Тихим океаном, омывающим берега Калифорнии; рождены беспредельными пространствами гор Роки, долиной Иосемайт, Ниагарским водопадом.

Бетховен и Шуберт были детьми народа всю свою жизнь. Они были людьми скромного достатка, и их великие творения были вдохновлены человечеством и принадлежат ему. Народ нуждается в драме, в музыке, в танцах.

Мы дали даровой спектакль в восточных кварталах города. Мне говорили: в восточных кварталах симфонию Шуберта не поймут и не оценят.

Итак, мы дали даровой спектакль (в театре не было кассы — какое приятное зрелище!), и публика сидела оцепенелая, вся в слезах. Вот как они не поняли и не оценили! Ключ жизни, поэзии и искусства готов забить из народных масс восточных кварталов. Постройте для них большой амфитеатр, единственная демократическая форма театра, где со всех мест видно одинаково, где нет ни лож, ни балконов, ни галереи. Взгляните туда, наверх — неужели вы считаете правильным сажать людей под потолок, словно мух, и требовать от них оценки искусства?

Постройте простой прекрасный театр. Вам не нужно покрывать его позолотой, не нужны все эти украшения, все это роскошное убранство. Благородное искусство идет из глубин человеческого духа и не нуждается во внешних покровах. В нашей школе нет костюмов, нет украшений; существует только красота, излучающаяся из недр вдохновленной человеческой души, и выражающее ее тело. Если моему искусству удалось вас чему-нибудь научить, надеюсь, что оно вас научило именно этому. Красоту следует искать и находить в детях: в свете их глаз и в красоте маленьких рук, вытянутых в очаровательном движении. Вы их видели на сцене, держащимися за руки, прекраснее любой жемчужной нити, украшающей шею посетительниц здешних лож. Это мои жемчуга, мои бриллианты — мне не надо других. Дайте красоту, свободу и силу детям. Дайте искусство народу, который в нем нуждается. Великие музыкальные произведения не должны оставаться достоянием немногих культурных людей, а должны быть бесплатно отданы массам, которым они необходимы, как воздух и хлеб, так как являются духовным напитком человечества.

Во время этой поездки по Америке я имела много радости от дружбы с талантливым художником Давидом Бисфам. Он посещал все мои спектакли, а я ходила на его лекции, и затем мы ужинали в моих комнатах в гостинице «Плацца». и он мне пел «По дороге в Манделей» или «Дании Дивер». Мы смеялись, обнимались и восторгались друг другом.

Эту главу следовало назвать «Апологией языческой любви». Теперь, когда я узнала, что любовь не только трагедия, но и времяпрепровождение, я отдалась ей с языческой наивностью. Люди, казалось, изголодались без красоты и любви, любви освежающей, любви без страха и последствий. Я бывала так прелестна после спектакля, в тунике и с волосами, украшенными розами. Почему не дать наслаждаться этой красотой? Прошли дни, когда со стаканом молока в руке я зачитывалась «Критикой чистого разума» Канта. Теперь мне казалось естественнее слушать за бокалом шампанского, как какой-нибудь обаятельный человек воздает хвалу моей красоте. Божественное языческое тело, страстные губы, обнимающие руки, нежный освежающий сон на плече любимого — все это были радости невинные и очаровательные. Многие, наверное, будут скандализированы, но я не понимаю, к чему, если ваше тело, предназначенное испытать определенную долю страдания от прорезывания зубов, выдергивания их и пломбирования, а каждый, несмотря на добродетель, подвержен болезням, вроде гриппа ит. п., может вам доставить наслаждение, отказываться от удовольствия, когда представляется случай их получить? Не следует ли дать несколько часов красивого отдыха человеку, целый день занятому умственной работой и часто мучимому тяжелыми жизненными проблемами и беспокойством, не следует ли обнять его прекрасными руками и успокоить его страдания? Надеюсь, что те, кому я дарила наслаждение, вспоминают его с той же радостью, как ия. В этих воспоминаниях невозможно их всех перечислить, невозможно описать в одной книге блаженные часы, проведенные мною в полях и лесах, безоблачное счастье, которое я испытала, слушая симфонии Моцарта или Бетховена, те дивные минуты, которые мне посвящали такие художники, как Исаи, Вальтер Руммель, Генер Скин и другие.

— Да, — часто восклицала я, — язычницей хочу я быть, язычницей!

Но, вероятно, никогда не шла дальше пуританского язычества или языческого пуританства.

Я никогда не забуду своего возвращения в Париж. Дети оставались в Версале с гувернанткой. Когда я открыла дверь, мальчик подбежал ко мне с ореолом из золотых кудрей вокруг прелестного лица. Уезжая, я оставила его в колыбели.

В 1908 году я купила в Нельи ателье Жервекса с залом для музыки в виде часовни и теперь туда переехала с детьми. Я работала в ателье целыми днями, а иногда и ночами со своим верным другом Генером Скином, выдающимся пианистом и неутомимым работником. Мы часто начинали работать утром и

совершенно теряли представление о времени, так как дневной свет не проникал в мастерскую, увешанную моими голубыми занавесами и освещенную дуговыми лампами. Иногда я спрашивала: «Не голодны ли вы? Интересно, который час?» Мы смотрели на часы, и обнаруживалось, что уже четыре часа утра следующего дня! Мы так увлекались нашей работой, что приходили в состояние, называемое индусами «статикой экстаза». В саду был дом для детей, их няньки и гувернантки, и музыка им не мешала. Сад был на редкость красив, и весной, и летом мы танцевали с открытыми настежь дверями ателье. В этом ателье мы не только работали, но и развлекались. Лоэнгрин очень любил задавать обеды и балы, и часто обширная мастерская превращалась в тропический сад или испанский дворец, куда съезжались все художники и знаменитости Парижа. Однажды вечером Сесиль Сорель, Габриэль д`Аннунцио и я импровизировали пантомиму, во время которой д`Аннунцио проявил большой комедийный талант.

* * *

В течение многих лет у меня было предубеждение против д`Аннунцио, и я отказывалась с ним встретиться, считая, что он дурно поступил с Дузе, которой я восторгалась. Однажды меня спросили, можно ли ко мне привести д`Аннунцио. «Нет, — ответила я, — не приводите, иначе я с ним буду очень груба». Но, несмотря на мои просьбы, д`Аннунцио был все же введен в мой дом.

Хотя я с ним никогда раньше не встречалась, но при виде этого человека, от которого исходили свет и магнетизм, я не могла удержаться от восклицания: «Добро пожаловать; вы мне очень нравитесь!»

Встретив меня в Париже в 1912 году, д`Аннунцио решил меня покорить. Это не было особой честью, так как д`Аннунцио ухаживал за всеми известными женщинами мира, увешивая себя покоренными сердцами, как индеец скальпами. Но я сопротивлялась, продолжая преклоняться перед Дузе. Я хотела быть единственной женщиной в мире, которая устояла бы перед ним. Это был порыв героизма.

Когда д`Аннунцио ухаживает за женщиной, он каждое утро посылает ей стихи с цветком, выражающим смысл написанного. Ежедневно в восемь часов утра я получала цветочек и все же крепко держалась! Однажды вечером (у меня тогда было ателье неподалеку от гостиницы Байрона) д`Аннунцио мне сказал с

особым ударением:

— Я приду сегодня в полночь!

Целый день мы с другом готовили ателье к приему гостя, наполнили комнату белыми цветами — белыми лилиями и другими, которые приносят на похороны, зажгли множество свечей. Д`Аннунцио был поражен при виде ателье, которое все в свечах и цветах походило на готическую часовню. Он вошел, и мы его повели к дивану, заваленному подушками. Сперва я ему танцевала, осыпая его цветами и расставляя вокруг него горящие свечи, и беззвучно скользила под звуки «Похоронного марша» Шопена. Постепенно я стала тушить свечи одну за другой, кроме стоявших у его ног и изголовья. Он лежал точно загипнотизированный. Затем, продолжая неслышно двигаться в такт музыке, я потушила свет в его ногах, но когда торжественно направилась к его изголовью, он страшным усилием воли поднялся с дивана и с громким криком ужаса выбежал из ателье. Мы с пианистом, обессилев от смеха, упали в объятия друг друга.

В другой раз я устояла перед д'Аннунцио в Версале. Это было приблизительно через два года. Я пригласила его обедать в «Палас-отель», куда мы отправились в автомобиле.

— Не хотите ли сперва пройтись по лесу?

— О, конечно, это чудесная мысль.

Мы доехали на автомобиле до леса Марли и, оставив машину, пошли пешком. Д'Аннунцио был в восторженном настроении.

После короткой прогулки я предложила вернуться, говоря, что пора садиться за стол. Но найти автомобиль оказалось невозможным, и мы пошли пешком искать гостиницу. «Палас». Мы шли, шли и шли, но не могли найти выхода! Наконец д'Аннунцио расплакался как ребенок: «Я голоден, я хочу есть! У меня есть мозги, и они нуждаются в питании! Когда я голоден, я не могу ходить!»

Я его утешала, как могла, пока мы не нашли дорогу и не вернулись в гостиницу, где д'Аннунцио подкрепился как следует.

В третий раз я выдержала натиск д'Аннунцио много лет спустя, уже во время войны. Я приехала в Рим и остановилась в гостинице «Регина». По необыкновенному стечению обстоятельств д'Аннунцио жил в соседней комнате и каждый вечер обедал с маркизой Касатти. Однажды она меня пригласила обедать, и я, приехав во дворец, вошла в вестибюль. Вся обстановка была в греческом стиле. Я сидела в ожидании появления маркизы, как вдруг услышала целый поток обращенных ко мне ругательств. Оглянувшись, я заметила зеленого попугая, разгуливавшего на свободе. Я быстро поднялась и бросилась в соседнюю гостиную.

Сидя там в ожидании маркизы, я внезапно услышала ворчание и увидела белого бульдога, тоже прогуливавшегося на свободе. Пришлось опять искать спасения в следующей гостиной, где стены и пол были покрыты шкурами белых медведей. Я села и стала ждать маркизу. Тут я услышала негромкий свистящий звук. Из клетки, раскачиваясь на хвосте, шипела на меня кобра. Я бросилась дальше, в комнату, устланную тигровыми шкурами. Там меня поджидала горилла со страшным оскалом зубов. Я бросилась в соседнюю комнату, столовую, где застала секретаря маркизы. В конце концов появилась и хозяйка дома, одетая в прозрачную золотистую пижаму.

— Вы, как видно, любите животных, — заметила я.

— О, да, обожаю их — в особенности обезьян! — ответила она, бросив взгляд на своего секретаря.

Странно, что после такого возбуждающего начала обед прошел очень чопорно. После обеда мы вернулись в гостиную с орангутангом и маркиза послала за своей гадалкой. Та явилась в высокой, остроконечной шляпе и плаще, как у колдуньи, и стала нам гадать на картах.

Затем вошел д`Аннунцио. Он очень суеверен и верит всем гадалкам. Эта ворожея рассказала ему совершенно невероятные вещи. Она сказала:

— Вы полетите по воздуху и совершите страшные вещи. Потом упадете и будете у врат смерти. Но вы ее избегнете и через нее достигнете вершин славы.

Мне же она сказала:

— Вы распространите среди народов новую религию и положите основание храмам по всему миру. Но небо вам покровительствует, и как только является опасность, ангелы вас защищают. Вы достигнете преклонных лет и жить будете вечно.

Когда мы вернулись в гостиницу, д`Аннунттио мне сказал:

— Я буду к вам приходить каждую полночь. Я победил всех женщин мира, но еще не победил Айседоры.

И каждую ночь ровно в двенадцать часов он появлялся в моей комнате.

— Я буду исключением, — решила я, — буду единственной женщиной в мире, не уступившей д`Аннунттио.

Он мне рассказал удивительные события из своей жизни, говорил о своей юности, об искусстве.

— Айседора, я больше не могу! Возьми, возьми меня!

Я была так потрясена его талантом, что в такие минуты не знала, как поступить, и, взяв его нежно за руку, выводила из комнаты. Так продолжалось около трех недель. Я дошла до совершенно безумного состояния и однажды, бросившись на

вокзал, уехала первым поездом.

Иногда он меня спрашивал:

— Почему ты не можешь меня любить?

— Из-за Элеоноры.

В гостинице «Трианон» у д`Аннунттио была золотая рыбка, которую он очень любил Она жила в прелестной хрустальной чаше, и д`Аннунттио часто ее кормил и с ней разговаривал, а золотая рыбка, точно отвечая, двигала жабрами и то открывала, то закрывала рот… Однажды, остановившись в «Трианоне», я спросила метрдотеля:

— Где золотая рыбка д'Аннунцио?

— О, сударыня, это печальный рассказ! Д'Аннунцио уехал в Италию и поручил нам за ней ухаживать. «Эта золотая рыбка, — сказал он, — очень близка моему сердцу. Она — символ моего счастья». И часто телеграфировал: «Как поживает мой любимый Адольф?» В один прекрасный день Адольф стал медленнее плавать вокруг чаши и перестал справляться о д'Аннунцио; тогда я его взял и выбросил за окно. Но вдруг пришла телеграмма от д'Аннунцио: «Чувствую, что Адольфу плохо». Я ответил: «Адольф умер вчера вечером». Д'Аннунцио снова телеграфировал: «Похороните в саду. Устройте могилу». Я взял сардинку, обернул ее в серебряную бумагу, похоронил в саду и поставил крест с надписью: «Здесь лежит Адольф». Вернувшись, д'Аннунцио спросил: «Где могила моего Адольфа?»

Я ему показал могилу в саду, он принес массу цветов и долго стоял, проливая над ней слезы.

Один из наших праздников кончился трагично. Мастерская была убрана, как тропический сад, и столики на двоих были спрятаны в густой зелени и в цветах. Тем временем я успела познакомиться с различными парижскими интригами и поэтому могла соединять парочки по их желанию, заставляя таким образом плакать некоторых жен. Гости все были в персидских костюмах, и мы танцевали под цыганский оркестр.

Среди гостей находился Анри Батайль и Берта Бади, его знаменитая интерпретаторша, мои друзья с давних пор.

Как я уже говорила, ателье походило на часовню и было до высоты пятнадцати метров задрапировано моими голубыми занавесями, но на хорах было маленькое помещение, превращенное искусством Пуарэ в настоящее жилище Цирцеи. Черные бархатные занавеси отражались в золотых стенных зеркалах, черный ковер и диван с подушками из восточных тканей довершали убранство; окна были наглухо закрыты, а двери представляли собой странные отверстия, напоминавшие этрусские могилы. Сам Пуарэ заметил, окончив работу: «Вот

место, вызывающее на не совсем обыденные речи и поступки».

Он был прав. Комнатка была прекрасна, полна чар ивто же время опасности. Есть же какая-то разница в характере мебели, позволяющая отличать добродетельную кровать от преступного ложа и почтенный стул от грешного дивана! Как бы то ни было, Пуарэ не ошибался. В этом помещении говорилось и чувствовалось иначе, чем в моем ателье, похожем на часовню.

В этот вечер шампанское лилось широкой рекой, как и на всех праздниках, устраиваемых Лоэнгрином. В два часа утра я оказалась рядом с Анри Батайлем на диване в комнате, украшенной Пуарэ, и писатель, относившийся всегда ко мне по-братски, теперь под влиянием чарующей обстановки говорил и действовал иначе. И вдруг появился Лоэнгрин. Увидев меня с Анри Батайлем на золотом диване, отраженными в бесконечном ряде зеркал, он бросился вниз в ателье и стал поносить меня перед гостями, говоря, что уезжает и никогда не вернется.

Это немного отрезвило гостей и моментально изменило мое настроение в сторону трагизма. «Скорей, — сказала я Генеру Скину, — сыграйте «Смерть Изольды», а не то вечер будет испорчен».

Быстро скинув вышитую тунику, я надела белое одеяние и танцевала до зари под аккомпанемент Скина, который играл еще талантливее обычного.

Но этот вечер должен был иметь трагичные последствия. Несмотря на нашу невиновность, Лоэнгрин никогда в нее не поверил и поклялся со мной больше не встречаться. Напрасны были мои мольбы, напрасно Анри Батайль, очень взволнованный происшедшим, дошел до того, что написал Лоэнгрину письмо. Ничто не могло помочь. Лоэнгрин согласился повидать меня только в автомобиле. Мои уши воспринимали его проклятия, как звон дьявольских колоколов. Внезапно он перестал браниться и, открыв дверцу автомобиля, вытолкнул меня в темноту. Долго блуждала я по улицам одна в каком-то оцепенении. Прохожие подмигивали мне и делали двусмысленные предложения. Мир в одно мгновение превратился в кромешный ад.

Два дня спустя я узнала об отъезде Лоэнгрина в Египет.

25

Моим лучшим другом и утешителем в эти дни был музыкант Генер Скин. Он был странный человек, презиравший успех и личное честолюбие, и, обожая мое искусство, был счастлив, только когда играл для меня. Никто не восторгался мною так, как он. Поразительный пианист со стальными нервами, он играл мне ночи напролет то симфонию Бетховена, то весь цикл кольца от «Золота Рейна» до «Гибели богов». В январе 1913 года мы вместе с ним совершили турне по России. Странное событие отметило это турне. Приехав в Киев утром, на заре, мы наняли сани, чтобы ехать в гостиницу. Еще не вполне проснувшись, я увидела по обе стороны дороги ряд гробов, но не обычных, а детских. Я схватила Скина за руку.

— Посмотрите, — сказала я, — дети, мертвые дети!

Он стал меня разубеждать:

— Там ничего нет.

— Как! Неужели вы не видите?

— Нет ничего, кроме снега, куч снега, сваленных по обе стороны дороги. Какая странная галлюцинация. Это от усталости.

В тот же день, чтобы отдохнуть и успокоить свои нервы, я отправилась в русскую баню. В России бани состоят из жарко натопленных комнат с несколькими рядами длинных деревянных полок. Я лежала на полке, и когда банщица вышла, у меня от жары закружилась голова и я упала на мраморный пол.

Меня, потерявшую сознание, пришлось на руках отнести в гостиницу. Послали за доктором, который определил легкое сотрясение мозга.

— У вас высокая температура — вы не можете танцевать сегодня вечером…

— Но я терпеть не могу обманывать публику, — сказала я и настояла на том, чтобы танцевать.

Программа состояла из произведений Шопена. К ее концу я неожиданно сказала Скину:

— Сыграйте «Похоронный марш» Шопена.

— Но почему? — удивился он, — вы ведь его никогда не танцевали?

— Не знаю — сыграйте!

Я так упорствовала, что он согласился, и я протанцевала марш. Я изображала женщину, идущую медленными неуверенными шагами и несущую умерших к месту последнего упокоения. Я показала опускание тел в могилу, расставание духа со своей темницей — плотью — и стремление его ввысь к свету —

к воскресению.

Когда я кончила и занавес опустился, наступила странная тишина. Я взглянула на Скина. Он был мертвенно-бледен, дрожал, и его руки, пожавшие мои, были холодны как лед.

— Никогда не заставляйте меня играть это, — попросил он. — Сама смерть коснулась меня своим крылом. Я даже вдыхал запах белых цветов — погребальных цветов — и видел детские гробы, гробы.

Оба мы были потрясены и нервно расстроены, и мне кажется, что в тот вечер какой-то дух вселил в нас предчувствие того, что должно было произойти.

После нашего возвращения в Париж в апреле 1913 года Скин по окончании длинного спектакля в «Трокадеро» снова сыграл для меня этот марш. После нескольких минут благоговейной тишины публика разразилась бешеными аплодисментами. Некоторые женщины рыдали, другие были близки к истерике.

По-моему, прошлое, настоящее и будущее похоже на длинную дорогу. Она продолжается за каждым поворотом, но мы ее не видим и принимаем за будущее, которое уже подстерегает нас.

После «Похоронного марша» в Киеве меня стало томить предчувствие грядущей беды, сильно меня угнетавшее. По возвращении в Берлин я дала несколько спектаклей, и снова какое-то внутреннее побуждение заставило меня создать танец, изображавший человека, внезапно придавленного горем и в ранах, поднимающегося к новой надежде после этого жестокого удара судьбы.

Мои дети, которые во время поездки по России гостили у Елизаветы, теперь приехали ко мне в Берлин. Они дышали здоровьем, были веселы, танцевали и олицетворяли живую радость. Мы вместе вернулись в Париж, в мой обширный дом в Нельи. Итак, я снова была дома вместе с детьми. Часто я стояла на балконе и, незаметно от Дердре, наблюдала, как она создает собственные танцы. Она танцевала под стихи собственного сочинения. Я как сейчас помню маленькую детскую фигурку в огромном голубом ателье и нежный детский голос, говорящий: «Сейчас я птица и лечу высоко в облаках» или «Сейчас я цветок, который смотрит на птицу и качается из стороны в сторону». Следя за ее грацией и красотой, я мечтала, что она продолжит мое дело, каким я его себе представляла. Она была моей лучшей ученицей.

Патрик тоже начинал танцевать под жуткую музыку собственного сочинения, но никогда не позволял себя учить. «Нет, — заявил он торжественно, — Патрик танцует один собственный танец Патрика».

Живя в Нельи, работая в ателье, часами читая у себя в библиотеке, играя в саду с детьми или уча их танцевать, я была вполне счастлива и избегала новых гастролей, которые разлучили бы меня с детьми. Девочка и мальчик хорошели с каждым днем, и все труднее становилось решаться их покинуть. Я всегда предсказывала, что когда-нибудь явится великий артист, который соединит в себе два таланта, композитора и танцора, и теперь, когда танцевал мой мальчик, мне казалось, что из него выйдет тот, кто будет творить новые танцы, рожденные новой музыкой.

Меня связывали с этими чудными детьми не только крепчайшие узы плоти и крови, но в еще большей степени священные узы искусства. Оба страстно любили музыку и просили разрешения оставаться в ателье, когда играл Скин или я работала, причем сидели так тихо, с такими напряженными лицами, что я пугалась, как такие маленькие создания могут так сосредоточиться.

Помню, как однажды выдающийся артист Рауль Пюньо играл Моцарта и дети вошли на цыпочках и стали по обе стороны рояля. Когда он кончил, дети дружно просунули свои белокурые головки ему под руки и стали глядеть на него с таким восторгом, что он растерялся и воскликнул:

— Откуда явились эти ангелы, ангелы Моцарта?

Дети рассмеялись, влезли на колени к пианисту и спрятали лица в его густой бороде.

С нежным волнением я любовалась прелестной группой, но что бы со мной было, если бы я знала, как близки все трое к тому царству теней, откуда «не возвращается ни один путник».

Стоял март. Я танцевала попеременно в «Шателе» и в «Трокадеро», но несмотря на то, что, если судить по внешним признакам, жизнь моя текла счастливо, я постоянно страдала от необъяснимого гнета.

Я еще раз танцевала «Траурный марш» Шопена в «Трокадеро» под аккомпанемент Скина, игравшего на органе, и снова почувствовала на своем лбу холодное дыхание смерти и вдыхала сильный запах белых тубероз и других похоронных цветов. Прелестная маленькая фигурка в центральной ложе, Дердре, расплакалась, точно ее сердечко разрывалось на части, и вскричала: «Зачем моя мама такая печальная?»

Эта была первая слабая нота прелюдии к трагедии, которая вскоре навсегда положила конец всем моим надеждам на нормальную радостную жизнь. Мне кажется, что есть горе, которое убивает, хотя человек и кажется живым. Тело еще может влачиться по тяжелому земному пути, но дух подавлен, подавлен навсегда. Я слышала, как некоторые утверждают, что горе

облагораживает. Я могу только сказать, что последние дни перед поразившим меня ударом были последними днями моей духовной жизни. С тех пор у меня одно желание — бежать, бежать, бежать от этого ужаса, и мое вечное стремление скрыться от страшного прошлого напоминает скитание Вечного жида и Летучего голландца. Вся жизнь моя — призрачный корабль в призрачном океане.

По странному стечению обстоятельств явление психической жизни часто находит отражение в явлениях жизни реальной. Пуарэ на каждой золотой двери того экзотического и таинственного покоя, о котором уже шла речь, поместил двойной черный крест. Сначала это украшение казалось мне оригинальным, но понемногу двойные черные кресты стали влиять на меня очень странно.

Я жила под необыкновенным гнетом, похожим на зловещее предчувствие, и часто по ночам вскакивала, охваченная внезапным страхом. Я стала зажигать на ночь лампадку и однажды увидела при ее слабом мерцании отделившуюся от креста напротив кровати черную фигуру, приблизившуюся к моим ногам и глядевшую на меня грустными глазами. На несколько секунд я оцепенела от ужаса, затем зажгла свет. Фигура исчезла. Эта странная галлюцинация, первая в моей жизни, стала повторяться время от времени. Я так была встревожена видениями, что однажды за обедом у моего милого друга г-жи Рашель Бойер поделилась с ней моими страхами. Она забеспокоилась и с обычной отзывчивостью настояла на том, чтобы немедленно вызвать по телефону своего доктора. «У вас, наверное, какая-нибудь нервная болезнь», — заявила она.

Приехал молодой и красивый доктор Рене Баде, и я ему рассказала о своих видениях.

— У вас нервное переутомление; на несколько дней вам придется уехать в деревню.

— Но у меня контракт на спектакли в Париже, — отвечала я.

— Тогда поезжайте в Версаль — это так близко, что вы можете приезжать в город на автомобиле.

На следующий день мы уже уложили наши чемоданы и готовились сесть в автомобиль. Внезапно у калитки показалась стройная фигура в трауре и медленно стала приближаться. Была ли это игра моего расстроенного воображения или действительно передо мной был призрак, являвшийся мне по ночам? Фигура подошла ко мне.

— Я убежала, — сказала она, — чтобы вас повидать. Последнее время вы стали мне сниться, и я чувствовала, что должна на вас посмотреть.

Тут только я узнала в ней бывшую неаполитанскую королеву, у которой всего лишь несколько дней тому назад я была с Дердре. Помню, как я сказала дочери:

— Дердре, мы едем в гости к королеве.

— О, тогда я должна надеть свое парадное платье, — ответила девочка.

Так она называла замысловатое творение Пуарэ — платьице со множеством оборок.

Я потратила много времени на то, чтобы научить ее делать настоящий придворный реверанс. Дердре была в восторге, но в последнюю минуту расплакалась, заявив: «О, мама, я боюсь ехать в гости к настоящей королеве!»

Вероятно, бедная малютка думала, что ей придется иметь дело с настоящим двором, таким же, как на сцене, но когда в домике у Булонского леса ее представили тоненькой очаровательной женщине с седыми волосами, уложенными в виде короны, она храбро пыталась сделать придворный реверанс, но вдруг рассмеялась и бросилась в раскрытые королевские объятия, нисколько не испугавшись королевы, этого воплощения доброты и благоволения.

Теперь, увидев перед собой королеву, я сообщила ей, что мы уезжаем в Версаль, и объяснила причину отъезда Она заметила, что будет очень рада нам сопутствовать, так как очень любит неожиданные приключения По дороге внезапным нежным движением она обняла моих двух крошек, прижимая их к груди. При виде белокурых головок, прикрытых траурной вуалью, я снова испытала гнетущее состояние, так часто мучившее меня в последнее время. В Версале мы вместе с детьми весело напились чаю, а затем я проводила королеву домой. Я никогда не встречала женщины милее, симпатичнее и умнее, чем сестра злополучной Елизаветы.

Проснувшись на следующее утро и увидев в окно чудный парк гостиницы «Трианон», я почувствовала, что все мои страхи и предчувствия сразу рассеялись. Доктор был прав, я нуждалась в свежем воздухе. Увы! Если бы здесь был хор греческой трагедии, он бы напомнил мне случай с несчастным Эдипом, который свернул с намеченного пути, чтобы избежать преследовавшего меня пророческого предчувствия смерти, — дети три дня спустя не погибли бы по дороге туда.

Этот вечер мне запомнился особенно отчетливо, так как я танцевала лучше, чем когда-либо. Я перестала быть женщиной, а превратилась в пламя радости, в огонь, в летающее искорки, в клубы дыма, стремящиеся к небу. На прощание, после многочисленных бисов, я протанцевала Moment Musical. Во время

танца что-то пело в моем сердце: «Жизнь и любовь — высший экстаз. И все это мое, чтобы раздать нуждающимся». Мне казалось, что Дердре и Патрик сидят у меня на плечах в полной гармонии и совершенной радости, и глядя на них во время танца, я встречала их веселый смеющийся детский взор — детскую улыбку, и ноги мои не знали усталости.

* * *

После этого танца меня ожидал большой сюрприз. Лоэнгрин, которого я не видела со времени его отъезда в Египет несколько месяцев тому назад, неожиданно вошел в мою уборную. Он казался глубоко потрясенным моим выступлением и нашей встречей и предложил присоединиться к нам за ужином в комнатах Августина, жившего в гостинице «Елисейские поля».

Мы стали его ждать, стол был уже накрыт, шли минуты, часы, а он все не приезжал. Я разнервничалась до крайности. Хотя я и знала, что он ездил в Египет не один, все-таки была очень рада его видеть, так как не переставала его любить и жаждала показать ему сына, который за отсутствие отца успел подрасти и стать сильным и красивым. Пробило три часа, его все не было, и я, горько разочарованная, уехала к детям в Версаль.

Я была совершенно разбита волнениями спектакля и томительным ожиданием и, бросившись в кровать, крепко заснула.

На следующее утро дети, как обычно, разбудили меня очень рано, вскочив с громким хохотом ко мне на кровать. Затем, как и всегда, мы вместе позавтракали. Патрик был особенно шаловлив, опрокидывал стулья и громко кричал от радости, когда они падали.

Затем произошла странная вещь. Накануне кто-то, оставшийся мне неизвестным, прислал два чудно переплетенных экземпляра произведений Варбей Дорвильи. Я взяла один из томов со стола и только что собиралась сделать Патрику замечание за шум, как взор мой случайно упал на имя Ниобея и на слова: «Прекрасная мать достойных тебя детей, ты улыбалась, когда с тобой говорили об Олимпе. Стрелы богов в виде возмездия упали на головы любящих тебя детей, которых тебе не удалось прикрыть даже собственной грудью».

Даже воспитательница заметила: «Не шуми так громко, Патрик, ты беспокоишь маму». Она была милой, доброй женщиной, самой терпеливой на свете и обожала обоих детей. «Оставьте его! — вскричала я, — подумайте, чем была бы жизнь,

если бы они не шумели».

И мне отчетливо представилось, как пуста и темна была бы жизнь без них, наполнявших мою жизнь счастьем больше, чем это делало искусство, и в тысячу раз больше, чем это могла сделать любовь мужчины. Я продолжала читать: «Когда не оставалось больше другой груди, кроме твоей, ты стремительно повернулась в сторону, откуда сыпались удары… И стала ждать… Но напрасно, благородная и несчастная женщина. Разящая рука богов не знала к тебе пощады. И так ты ждала, ждала всю жизнь в мрачном и спокойном отчаянии. Ты не испускала криков, свойственных людям. Ты ждала неподвижно и, как говорят, превратилась в утес, чтобы выразить непреклонность своего сердца».

Внезапный страх сжал мое сердце, и я закрыла книгу. Я раскрыла объятия, позвала детей, и слезы затуманили мои глаза, когда Дердре и Патрик прижались ко мне. Я помню каждое слово и каждое движение этого утра. Как часто в бессонные ночи я вновь переживала каждый миг этого дня, беспомощно удивляясь, почему я не почувствовала того, что должно было случиться, и не предотвратила несчастья.

Стоял теплый серенький день. Окна в парк были открыты, виднелись деревья в цвету. Впервые за этот год меня охватила та буйная радость, которая овладевает нами ранней весной, и теперь весна и вид детей, румяных, прелестных и счастливых, произвели на меня такое впечатление, что я выскочила из кровати и начала с ними танцевать. Все трое заливались веселым смехом, и воспитательница тоже улыбалась.

Внезапно раздался телефонный звонок. Лоэнгрин просил меня приехать в город, чтобы встретиться с ним и привести с собой детей: «Я хочу их видеть». Прошло уже четыре месяца, как он с ними расстался. Я была в восторге, считая, что свидание приведет к примирению, которого я так жаждала, и сообщила новость Дердре.

— О, Патрик! — вскричала она. — Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?

Как часто я теперь слышу детский голос: «Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?»

Бедные мои, хрупкие, прекрасные дети, если бы я только знала, какая жестокая судьба подстерегала вас в этот день! Куда, куда вы отправились?

Вмешалась воспитательница и заметила: «Сударыня, мне кажется, будет дождь. Не лучше ли им остаться дома?» Как часто, точно в страшном кошмаре, звучала впоследствии в моих ушах ее фраза, и как проклинала я себя, что не послушалась, но я думала

тогда, что свидание с Лоэнгрином пройдет много глаже в присутствии детей.

Во время этой последней поездки из Версаля в Париж на автомобиле, прижимая к себе два маленьких тела, я вся горела новой надеждой и верой в жизнь. Я знала, что, увидев Патрика, Лоэнгрин забудет всякие личные счеты со мной, и мечтала, что любовь наша вспыхнет вновь, чтобы создать что-нибудь поистине великое. Перед отъездом в Египет Лоэнгрин купил в центре Парижа большой участок земли и собирался там построить театр для моей школы, театр, который стал бы местом встречи и приютом всех великих артистов мира. Я мечтала, что Дузе найдет там рамку, достойную своего божественного таланта, и что Мунэ-Сюлли наконец осуществит свой давно взлелеянный план — выступить подряд в трилогии «Царь Эдип», «Антигона» и «Эдип в Колонне». Обо всем этом я думала по дороге в Париж, и сердце мое билось легко и радостно, окрыленное надеждами на новые достижения искусства. Постройке театра не было суждено осуществиться, Дузе так и не нашла храма, достойного ее, а Мунэ-Сюлли умер, не исполнив своего заветного желания — сыграть трилогию Софокла. Почему всегда стремление художника оказывается невыполнимой мечтой?

Все прошло, как я и ожидала. Лоэнгрин был в восторге увидеть своего мальчика и Дердре, которую он нежно любил. Мы весело позавтракали в итальянском ресторане, ели спагетти, пили «Кьянти» и говорили о будущем необыкновенном театре. «Это будет театр Айседоры», — сказал Лоэнгрин. «Нет, — отвечала я, — это будет театр Патрика, так как Патрик — тот великий композитор, который создаст танец под музыку будущего».

Когда кончился завтрак, Лоэнгрин сказал: «Я в прекрасном настроении, не пойти ли в салон юмористов?» Но у меня была репетиция, и потому Лоэнгрин пошел в салон с нашим юным другом де С., который завтракал вместе с нами, а я с детьми и воспитательницей вернулась в Нилье. У входа в дом я спросила гувернантку: «Не хотите ли войти с детьми и подождать меня?» «Нет, сударыня, — возразила она, — мне кажется, лучше вернуться. Малютки устали». Я поцеловала детей и обещала скоро вернуться. В момент отъезда маленькая Дердре прижалась губами к стеклу автомобиля, и я нагнулась, чтобы поцеловать ее губы через стекло. Холод гладкой поверхности оставил неприятное впечатление.

Я вошла к себе в ателье. Для репетиции было еще слишком рано. Я решила немного отдохнуть и, поднявшись в свою комнату, бросилась на кушетку. Поблизости стояли кем-то присланные цветы и коробка конфет. Я стала лениво жевать

конфету, думая о том, что я очень счастлива, может быть, самая счастливая женщина в мире. Искусство, успех, богатство, любовь и, главное, прелестные дети.

Я лениво уничтожала конфеты и, улыбаясь самой себе, размышляла о том, что Лоэнгрин вернулся и все будет хорошо, как вдруг услышала странный нечеловеческий крик.

Я обернулась. Лоэнгрин стоял в дверях, качаясь как пьяный. Его колени подогнулись, и, падая передо мной, он простонал:

— Дети... дети... погибли!

* * *

Помню, что на меня нашло странное спокойствие, и только в горле жгло так, точно я проглотила горящий уголь. Я не понимала. Я нежно с ним разговаривала, старалась его успокоить, уверяла, что это неправда.

Затем вошли другие люди, и все же я не могла постичь случившегося. Пришел человек с черной бородой. Мне сказали, что это доктор. «Это неправда, — заявил он, — яих спасу».

Я ему поверила и хотела с ним пойти к детям, но меня удержали, и только теперь я знаю почему — скрывали, что нет надежды. Боялись, что удар сведет меня с ума, но я была в неестественно приподнятом состоянии. Хотя все вокруг меня плакали, глаза мои оставались сухими, и мне хотелось всех утешать. Оглядываясь на прошлое, я не могу понять моего тогдашнего состояния духа. Было ли это ясновидением и я понимала, что смерти нет и что эти две холодные восковые фигурки не мои дети, а только их внешние оболочки; что их души живут в сиянии и будут вечно жить?

Только два раза — при рождении и смерти ребенка — мать слышит свой собственный крик как бы со стороны. И когда я взяла в свои руки эти холодные ручки, которые уже никогда больше не ответят на мое пожатие, я снова услышала свой крик — тот же крик, который я слышала при родах. Почему тот же, раз в одном случае этот крик высшей радости, а в другом крик тоски и горя? Не знаю, но знаю, что тот же. Не потому ли, что в этом мире существует только один крик, содержащий в себе радость, печаль, восторг, агонию — материнский крик созидания?

* * *

С раннего детства я всегда чувствовала глубокую антипатию

ко всему, что так или иначе имело отношение к церкви или церковным догмам. Чтение произведений Ингерсоля и Дарвина, так же как и языческая философия, еще усилили эту враждебность. Я противница современных законов о браке и считаю современные похороны ужасными, безобразными и граничащими с варварством. Имев храбрость отказаться от брака и крещения детей, я и теперь воспротивилась шутовству, называемому христианскими похоронами. Мне хотелось одного — превратить этот ужасный случай в красоту. Горе было слишком велико для слез, ияне могла плакать. Толпы друзей приходили в слезах выразить соболезнование, толпы рыдающих людей стояли в саду и на улице, но слез у меня не было, и я только жаждала, чтобы эти люди в траурных одеждах нашли путь к красоте. Я не облеклась в траур — зачем менять платье? Я всегда считала ношение траура нелепым и ненужным. Августин, Элизабет и Раймонд угадали мои желания, наполнили ателье грудами цветов, и первое, что было воспринято моим сознанием, были звуки дивной жалобы из глюковского «Орфея» в исполнении оркестра Колонна.

Но невозможно в один день изменить уродливые обычаи и создать красоту.

Если бы я могла устроить все по-своему, не было бы ни мрачных людей в черных цилиндрах, ни катафалков, ни вообще ничего из той бесполезной некрасивой мишуры, которая повергает душу в мрак, вместо того, чтобы ее возвышать. Как красив был поступок Байрона, когда он сжег тело Шелли на костре у морского берега! Но в условиях нашей цивилизации единственным, хотя и далеко не идеальным выходом являлся крематорий. Как мне хотелось, прощаясь с прахом моих детей и их милой гувернантки, какой-нибудь красоты, какого-нибудь света!.. Многие верующие христиане считали меня бессердечной и черствой, потому что я решилась проститься со своими любимыми в обстановке гармонии, света и красоты и повезла их останки в крематорий, вместо того чтобы предать их земле на съедение червям. Как долго придется нам ждать, чтобы хоть немного разума проникло в нашу жизнь, в любовь, в смерть?

Я приехала в сумрачный крематорий и увидела гробы, в которых покоились златокудрые головки, ласковые, похожие на цветы ручки и быстрые ножки — все то, что я любила больше всего на свете, — теперь предаваемое пламени, чтобы навсегда превратиться в жалкую горсточку пепла.

Когда я возвращалась в свое ателье в Нилье, я твердо решила покончить с жизнью. Как могла я оставаться жить, потеряв детей? И только слова окруживших меня в школе маленьких учениц:

«Айседора, живите для нас. Разве мы — не ваши дети?» — вернули мне желание утолять печаль этих детей, рыдавших над потерей Дердре и Патрика. Я бы легко перенесла это горе, случись оно в более ранний период моей жизни; произойди оно позже, удар бы не был так страшен, но теперь, находясь в полном расцвете жизни, я была совершенно потрясена и подорвана. Единственным спасением была бы сильная любовь, которая захватила бы меня целиком, но Лоэнгрин не ответил на мой призыв.

Раймонд и его жена Пенелопа уезжали в Албанию, чтобы работать среди беженцев, и уговорили меня присоединиться к ним. Я отправилась с Элизабет и Августином в Корфу. Во время ночлега в Милане мне отвели ту же комнату, в которой четыре года тому назад я провела несколько часов внутренней борьбы в связи с появлением на свет Патрика. И вот он родился, явился ко мне с лицом ангела из моего видения в храме Св. Марка и исчез навсегда. Когда я снова взглянула в жуткие глаза дамы на портрете, которые, казалось, говорили: «Разве я этого не предсказывала — все ведет к смерти?» — меня охватил такой ужас, что я бросилась к Августину, умоляя его переехать в другую гостиницу.

В Вриндизи мы сели на пароход и вскоре в чудный солнечный день высадились на Корфу. Вся природа радовалась и улыбалась, нояв этом не находила утешения. Мои спутники рассказывают, что я целые дни и недели проводила, сидя с глазами, устремленными в одну точку. Я не отдавала себе отчета во времени, так как попала в тоскливую страну безнадежности, где не существует жажды жизни и движения. У того, кто поражен истинным горем, не бывает ни фраз, ни жестов. Подобно Ниобее, превращенной в камень, я сидела и мечтала о смерти. Лоэнгрин был в Лондоне. Я думала, что приезд его может меня спасти от страшного состояния отупения, похожего на смерть. Мне казалось, что его теплые любящие руки могут вернуть меня к жизни.

Однажды, запретив себя беспокоить, я заперлась в комнате со спущенными шторами и легла на кровать, крепко сжав руки на груди. Я дошла до последнего предела отчаяния и не переставая повторяла призыв к Лоэнгрину:

— Приди ко мне. Ты мне нужен. Я умираю. Если ты не придешь, я последую за детьми.

Я повторяла это бесконечное число раз, точно слова молитвы. Наступила полночь, и я забылась тяжелым сном. На следующее утро меня разбудил Августин с телеграммой в руке: «Ради Бога телеграфируйте об Айседоре. Немедленно выезжаю в Корфу.

Лоэнгрин».

Все следующие дни я провела, озаренная лучом надежды, впервые блеснувшим из тьмы. Он наконец приехал, бледный и взволнованный. «Я думал, что вы умерли», — сказал он. Он сообщил, что в тот самый день, когда мне было так плохо, я явилась ему в виде туманного видения в ногах кровати и произнесла слова столь часто повторенного призыва: «Приди ко мне, приди ко мне, я в тебе нуждаюсь. Если ты не придешь, я умру».

Получив доказательство телепатической связи между нами, я стала надеяться, что порыв любви заставит нас забыть прошлое, что я снова почувствую в себе жизнь и дети вернутся утешать меня на земле. Но мечте не суждено было осуществиться. Мои страстные желания, мое горе были слишком сильны для Лоэнгрина. Однажды утром он внезапно уехал, даже не предупредив. Я увидела пароход, исчезающий вдали, и знала, что он уносит Лоэнгрина. И снова я осталась одна.

Тогда я сказала себе: или следует немедленно покончить с жизнью, или найти средство жить, несмотря на постоянную грызущую тоску, мучащую меня и днем и ночью. Каждую ночь во сне или наяву я переживала то страшное утро, слышала голос Дердре: «Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?» и слова гувернантки: «Не лучше ли им остаться дома?» И в полубезумном отчаянии отвечала: «Вы правы. Держите их, держите их, не выпускайте их сегодня!»

Раймонд приехал из Албании, как всегда, в приподнятом настроении. «Вся страна охвачена нуждой. Деревни опустошены; дети голодают. Как ты можешь здесь сидеть, погруженная в эгоистичное горе? Приезжай и помоги кормить детей, утешать женщин». Его упреки оказали свое действие. Снова надев греческую тунику и сандалии, я последовала за Раймондом в Албанию. Он изобрел очень оригинальный способ организации лагеря для спасения албанских беженцев. На рынке в Корфу он купил невыделанной шерсти, погрузил ее на нанятый маленький пароход и повез в Санта-Кваранту, главный пункт скопления беженцев.

— Но, Раймонд, — спросила я, — как же ты накормишь голодных шерстью?

— Погоди, — ответил Раймонд, — и ты увидишь. Привезенного хлеба хватило бы только на сегодняшний день, а шерсть обеспечит будущее.

Мы высадились на скалистом берегу Санта-Кваранты, где Раймонд устроил центр помощи. Объявление гласило: «Желающие прясть шерсть будут получать драхму в день». Скоро

образовалась очередь несчастных, худых, изголодавшихся женщин. За драхму они получали кукурузу, которую греческое правительство продавало в порту.

Потом Раймонд снова отправился на своем пароходике в Корфу, заказал там прядильные станки и, вернувшись в Санта-Кваранту, предложил желающим прясть шерсть по узорам за драхму в день.

Толпы голодающих откликнулись на зов. Узоры были составлены по рисункам на древних греческих вазах. Скоро у моря сидел длинный ряд прядильщиц, и Раймонд научил их петь в такт жужжанию веретена. По окончании работы Раймонд оказался обладателем художественных покрывал для кроватей, которые он отправил в Лондон и там продал с прибылью в 50 процентов. На эту прибыль он открыл пекарню и стал продавать белый хлеб на пятьдесят процентов дешевле, чем греческое правительство продавало кукурузу. Так образовывался его поселок.

Мы жили в палатке у моря и купались каждое утро на восходе солнца. Иногда у Раймонда оставался лишний хлеб и картофель, и тогда мы отправлялись в горы и раздавали по деревням продукты голодающим. Албания — странная, трагическая страна. Когда-то там возвышался первый алтарь Зевсу-Громовержцу, называвшийся так потому, что в этой стране круглый год, и зимой, и летом, непрерывные грозы с сильными ливнями. В эти бури мы ходили в туниках и сандалиях, и я убедилась, что быть умытой дождем подбадривает больше, чем прогулка в макинтоше. Я видела много трагичного: мать, сидящую под деревом с ребенком на руках и окруженную тремя или четырьмя другими детьми — все голодные и без крова, лишенную мужа, убитого турками, дома, уничтоженного огнем, потерявшую угнанные стада и разграбленные запасы зерна. Таким несчастным Раймонд раздавал много мешков картофеля. Мы возвращались в лагерь усталые, но удовлетворение проникало в мою душу. Мои дети погибли, но существовали другие, голодные и страдающие — ия могла жить для них.

В Санта-Кваранте не было парикмахеров, и тут только я срезала волосы и бросила их в море. Когда вернулись ко мне здоровье и силы, жизнь среди беженцев мне стала казаться невозможной. Несомненно, большая разница между жизнью художника и жизнью святого. Во мне проснулась душа артистки, и к тому же я понимала, что не мне с моими ограниченными средствами побороть нищету албанских беженцев.

26

В один прекрасный день я почувствовала, что должна покинуть эту страну бурь, гор и огромных скал, и сказала Пенелопе: «Я не могу больше смотреть на всю эту нищету. Меня тянет в мечеть, озаренную мягким светом лампы, — меня тянет почувствовать персидский ковер под ногами. Я устала от здешних дорог. Поедем со мной ненадолго в Константинополь».

Пенелопа пришла в восторг. Мы сменили туники на скромные платья и сели на пароход, идущий в Константинополь. День я провела в своей палубной каюте, а когда стемнело и все пассажиры заснули, вышла, набросив шаль на голову, полюбоваться лунной ночью. Опираясь на перила и тоже любуясь луной, стоял молодой человек весь в белом, вплоть до белых лайковых перчаток, и держал в руке черную книжечку, в которую он изредка заглядывал и затем произносил что-то вроде заклинания. На его лице, бледном и исхудалом, горели великолепные темные глаза, а голову, точно короной, увенчивали волосы цвета вороньего крыла. Когда я приблизилась, незнакомец заговорил со мной.

— Я осмеливаюсь к вам обратиться потому, — сказал он, — что страдаю так же, как и вы, и направляюсь теперь в Константинополь, чтобы утешить горюющую мать. Месяц тому назад она узнала о трагичном самоубийстве моего старшего брата, а две недели спустя покончил с собой и второй. Я — единственный оставшийся в живых. Но разве я могу послужить утешением матери, я, который сам нахожусь в таком отчаянном настроении, что с радостью последовал бы за братьями?

Мы разговорились, и я узнала, что он актер, а книжечка в его руке — «Гамлет», роль которого он сейчас готовил.

На следующий вечер мы снова встретились на палубе и оставались там до зари, как два несчастных призрака, каждый углубленный в собственные мысли, но все же находя утешение в присутствии другого. В Константинополе его встретила и обняла высокая красивая женщина в глубоком трауре.

Пенелопа и я остановились в гостинице «Пера Палас» и провели первые два дня в прогулках по Константинополю, в особенности по узким улицам старого города. На третий день меня посетила неожиданная гостья. Это была мать моего печального пароходного знакомого. Она пришла ко мне в сильнейшем волнении и, показывая фотографии двух красавцев — старших сыновей, которых она потеряла, сказала:

— Они погибли, ия не могу их вернуть. Но я пришла просить

вас помочь мне спасти последнего, Рауля. Я чувствую, что и он последует за братьями.

— Чем я могу помочь? — спросила я. — Ив чем кроется опасность?

— Он уехал из города и живет в полном одиночестве в вилле в деревушке Сан-Стефано, а судя по выражению его лица, с которым он уезжал, я могу ожидать только худшего. Вы произвели на него такое сильное впечатление, что, мне кажется, могли бы показать ему всю преступность его намерения, могли бы заставить его пожалеть мать и вернуться к жизни.

— Но что привело его в такое отчаяние? — сказала я.

— Не знаю, как и не знаю, почему покончили с собою его братья. Что их побудило к самоубийству, молодых, красивых, богатых?

Растроганная просьбой матери, я обещала поехать в деревушку Сан-Стефано и сделать все от меня зависящее, чтобы образумить Рауля. Швейцар мне сказал, что дорога в Сан-Стефано вся в рытвинах и почти недоступна для автомобиля, поэтому я отправилась в порт и наняла маленький буксирный пароход. Дул ветер, воды Босфора были неспокойны, но мы благополучно добрались до деревушки. Руководствуясь указаниями его матери, я без труда нашла виллу Рауля, белый дом в саду неподалеку от старинного кладбища. Звонка не было, и я стала стучать, но безрезультатно Я толкнула дверь, которая оказалась незапертой, и вошла в дом. Нижняя комната оказалась пуста, и, поднявшись по невысокой лестнице, я нашла Рауля в небольшой выбеленной комнате с белыми стенами, полом и дверьми. Он лежал на белой кушетке в белом костюме, как и на пароходе, и в белых перчатках. Около кушетки стоял столик, на котором находилась белая лилия в хрустальной вазе, а рядом с ней револьвер.

Мальчик, который, как мне показалось, не ел уже два или три дня, витал в какой-то далекой стране, куда почти не достигал мой голос. Я начала его трясти, стараясь вернуть к жизни и напоминая ему, что сердце матери изранено смертью двух других сыновей, и в конце концов, взяв за руку, силой повела на свой пароходик, предусмотрительно позабыв захватить револьвер.

Весь обратный путь он плакал не переставая и отказывался вернуться в дом к матери. Поэтому я убедила его зайти ко мне в «Пера Палас», где и попыталась узнать причину его безнадежной скорби, так как мне казалось, что смерть братьев не может служить оправданием его намерения. Наконец он прошептал:

— Да, вы правы: это не смерть братьев. Это Сильвио.

— Кто такая Сильвио и где она? — спросила я.

— Сильвио — самое прекрасное существо в мире, — отвечал

он. — Он здесь в Константинополе со своей матерью.

Узнав, что Сильвио — юноша, я была несколько поражена, но я много изучала Платона, считаю его «Федру» самой совершенной песней любви, когда-либо написанной, и поэтому не была так возмущена, как были бы другие. Я нахожу, что высшая любовь является чисто духовным горением и не зависит от пола.

Но я решила спасти Рауля любой ценой и потому, не говоря ничего лишнего, спросила:

— Какой номер телефона у Сильвио?

Вскоре я услышала в трубке голос Сильвио — нежный голос, казалось, исходивший от мягкой души. «Вы должны немедленно приехать сюда», — заявила я.

Юноша не заставил себя ждать. Ему было лет восемнадцать, и он был прекрасен, словно Ганимед, когда последний смутил покой самого великого Зевса. Мы пообедали и провели вечер вместе. Позже я имела радость увидеть на балконе, выходящем на Босфор, Рауля и Сильвио в нежной, интимной беседе, что меня убедило, что жизнь Рауля на этот раз спасена. Я протелефонировала его матери, чтобы сообщить ей об успешном окончании моих хлопот. Бедная женщина была вне себя от радости и не знала, как меня благодарить.

Прощаясь с друзьями в этот вечер, я почувствовала, что сделала благое дело, избавив красивого юношу от смерти, но несколько дней спустя мать снова ко мне пришла в отчаянии:

— Рауль опять уединился в Сан-Стефано. Вы должны его спасти.

Я подумала, что это уже слишком, но не могла устоять против мольбы матери. Но на этот раз, боясь качки, рискнула поехать на автомобиле. Затем я вызвала Сильвио и приказала ему ехать со мной.

— В чем дело? Чем вызвано это безумие? — спросила я его.

— Видите ли, — отвечал Сильвио, — я, конечно, люблю Рауля, но не так сильно, как он меня, и он считает, что лучше ему не жить.

Мы выехали на закате солнца и после ужасной тряски и подбрасывания остановились у виллы в Сан-Стефано. Мы снова атаковали ее и снова отвезли меланхоличного Рауля обратно в гостиницу, где до поздней ночи вместе с Пенелопой обсуждали, как найти действительное средство, чтобы вылечить юношу от его странной болезни. На следующий день мы с Пенелопой забрели в темный узенький переулок. Там Пенелопа заметила объявление, написанное на армянском языке — этот язык был ей знаком — и гласившее, что здесь принимает гадалка. «Посоветуемся с ней», — предложила Пенелопа.

Мы вошли в старый дом, поднялись по витой лестнице и, пройдя по длинным коридорам с осыпающимися комьями грязи, нашли в отдаленной комнате очень древнюю старуху, сидевшую над котлом, из которого неслись странные запахи. Она была армянкой, но говорила по-гречески, и Пенелопа могла ее понять. Старуха рассказала нам, как во время последней резни армян она в этой самой комнате была свидетельницей убийства всех своих сыновей, дочерей и внуков до последнего ребенка и стала с этой минуты ясновидящей, получив дар узнавать будущее.

— Что ждет меня в будущем? — спросила я через Пенелопу.

Старуха некоторое время всматривалась в пар, поднимавшийся из котла, а затем произнесла слова, которая Пенелопа тут же перевела.

— Она вас приветствует как дочь солнца. Вы посланы на землю, чтобы дать много радости людям. Из этой радости возникнет целый культ. После многих странствий к концу вашей жизни вы построите храмы по всему миру. С течением времени вы вернетесь и в этот город, где вы также построите храм.

Все эти храмы будут посвящены красоте и радости, потому что вы дочь солнца.

В то время это поэтическое пророчество показалось мне очень диким. Пенелопа в свою очередь попросила ей погадать.

Старуха стала говорить, и я заметила, что Пенелопа побледнела и казалась очень испуганной.

— Что она говорит? — спросила я.

— То, что она говорит, меня очень беспокоит, — ответила Пенелопа. — Она говорит, что у меня есть ягненок, она, вероятно, имеет в виду моего мальчика Меналкаса. Она говорит, что я мечтаю еще об ягненке, вероятно, это дочь, которую я так хочу иметь, но что это желание никогда не исполнится. Я будто бы скоро получу телеграмму, что любимый мною человек тяжело болен, а другой находится при смерти. А затем, — продолжала Пенелопа, — моя жизнь будет коротка, я предамся последнему размышлению на возвышенном месте и покину этот мир.

Пенелопа была сильно потрясена. Дав старухе немного денег и простившись с нею, она схватила меня за руку и почти бегом бросилась по коридорам, вниз по лестнице, пока не очутилась на узкой улице, где мы сели в экипаж и поехали обратно в гостиницу. Когда мы вошли, швейцар подал нам телеграмму. Пенелопа в полуобмороке склонилась ко мне на плечо, и мне пришлось отвести ее в номер, где я распечатала телеграмму. Она гласила: «Меналкас очень болен. Раймонд очень болен. Приезжайте немедленно».

Бедная Пенелопа была в отчаянии. Поспешно упаковав вещи в

чемоданы, я спросила, когда идет следующий пароход в Санта-Кваранту. Швейцар отвечал, что на закате солнца. Но даже в этой суматохе я вспомнила мать Рауля и написала ей: «Если вы хотите спасти сына от угрожающей ему опасности, вы должны немедленно услать его из Константинополя. Не спрашивайте меня — почему, но если возможно, привезите его на пароход, которым я уезжаю сегодня в пять часов дня».

Я не получила ответа, но когда пароход готовился отчалить, появился Рауль, бледный и похожий на мертвеца, и с чемоданом в руках быстро поднялся по сходням. Я спросила его, есть ли у него каюта или билет, но он не подумал ни о том, ни о другом. Но пароходы на востоке удобны, а капитаны любезны, и мне удалось устроить Рауля в салоне занимаемого мною помещения.

Прибыв в Санта-Кваранту, мы нашли Раймонда и Меналкаса, лежащих в лихорадке. Я употребила все усилия, чтобы убедить Раймонда и Пенелопу покинуть мрачную Албанию и вернуться со мной в Европу. Я даже прибегла к помощи пароходного доктора, но Раймонд отказался бросить своих беженцев и свой поселок, а Пенелопа, конечно, не пожелала расстаться с ним. Поэтому я была вынуждена оставить их на унылой скале под защитой маленькой палатки, которую немилосердно трепал настоящий ураган.

Пароход продолжал свой путь в Триест. Рауль и я были глубоко несчастны, и юноша не переставал плакать. Я телеграфировала, чтобы мой автомобиль встретил нас в Триесте, так как мне была неприятна встреча с другими пассажирами в поезде, и мы двинулись на север через швейцарские горы. Мы остановились на некоторое время у Женевского озера. Оба, углубленные в собственное горе, мы являлись странной парой и, может быть, поэтому находили удовольствие в обществе друг друга. Целыми днями мы катались в лодке по озеру, пока я наконец не добилась от Рауля торжественной клятвы, что ради матери он никогда не наложит на себя рук. И вот как-то утром я проводила его на вокзал. Он вернулся в свой театр, и с тех пор я его никогда не видела, но слышала позднее, что он сделал блестящую карьеру и производил большое впечатление своим исполнением роли Гамлета. Я его хорошо понимала, так как кто бы мог произнести строки «Быть или не быть?» с большим пониманием, чем бедный Рауль? Но он был очень молод и, надеюсь, с тех пор нашел счастье.

Оставшись одна в Швейцарии, я предалась чувству усталости и меланхолии. Я не могла долго оставаться в одном месте и, мучимая тоской, путешествовала в автомобиле по всей Швейцарии, пока наконец, подчиняясь непреодолимому порыву,

не поехала обратно в Париж. Я была совершенно одна, так как не выносила общества людей. Даже брат Августин, присоединившийся ко мне в Швейцарии, не мог на меня повлиять. Я дошла до такого состояния, что самый звук человеческого голоса был мне отвратителен, а люди, входившие в мою комнату, казались неживыми и далекими. И вот ночью я подъехала к дверям своего парижского дома в Ниель. Все было пустынно, и только у ворот в сторожке жил старик, присматривавший за садом.

Я вошла в свое обширное ателье, и на мгновение вид моих голубых занавесей напомнил мне искусство и мою работу, и я решила попытаться вернуться к ней. С этой целью я послала за моим другом и аккомпаниатором Генером Скином, но звуки знакомой музыки только вызвали слезы. Я заплакала впервые после смерти детей. Всев этом месте остро напоминало мне дни, когда я была счастлива. Скоро меня стали преследовать галлюцинации, мне слышались голоса детей в саду, и когда однажды я вошла в домик, где они жили, и увидела разбросанные игрушки и платья, я совершенно обессилела и поняла, что не могу оставаться в Ниелье. Все же я заставила себя пригласить несколько друзей.

По ночам я не была в состоянии спать и все время чувствовала роковую близость реки. Будучи не в силах дольше жить в такой атмосфере, я снова села в автомобиль и отправилась на юг. Только в автомобиле, мчавшемся со скоростью семидесяти или восьмидесяти километров в час, могла я найти успокоение от грызущей меня тоски. Я перевалила через Альпы и стала странствовать по Италии, то оказываясь в гондоле на каналах Венеции и плавая целую ночь, то блуждая по старинному городу Римини. Я провела одну ночь во Флоренции, где, как я знала, проживает Крэг, и мечтала послать за ним, но он был женат и затянут семейной жизнью, и я, подумав, что это может вызвать семейные раздоры, отказалась от своей мысли.

Однажды, остановившись в приморском городке, я получила телеграмму следующего содержания: «Айседора, я знаю, что вы странствуете по Италии. Прошу вас, посетите меня. Я сделаю все, чтобы вас утешить. Элеонора Дузе». Я так и не узнала, как она открыла мое местопребывание, чтобы отправить телеграмму, но, прочитав магическое имя, я поняла, что Элеонора Дузе — единственный человек, которого я хочу видеть. Телеграмма была из Виареджио, как раз по другую сторону мыса, где я находилась. Я немедленно выехала в автомобиле, послав предварительно благодарственный ответ Элеоноре, чтобы предупредить о своем приезде. Я приехала в Виареджио ночью во время страшной бури.

Элеонора занимала маленькую виллу вдали от населенных мест, но в «Гранд-Отеле» оставила мне записку с просьбой ехать прямо к ней.

27

На следующее утро я поехала к Дузе, которая жила в вилле розового цвета за виноградником. Она вышла мне навстречу, словно сияющий ангел, по аллее, увитой виноградом. Она меня приняла в свои объятия, и ее удивительные глаза излучали на меня столько любви и нежности, что я почувствовала себя, как должен был себя почувствовать Данте, когда встретил божественную Беатриче.

Я поселилась в Виареджио, находя поддержку в лучистых глазах Элеоноры.

Она меня баюкала в своих объятиях, успокаивая мою боль, и даже не столько утешала, сколько, казалось, принимала мое горе на себя. Я поняла, что не могла переносить общества других людей, потому что все они разыгрывали комедию, стараясь меня развеселить и делая вид, что все забыто. Элеонора же сказала: «Расскажите мне о Дердре и Патрике» — и заставила меня повторить все их словечки, описать их привычки и показать фотографии, которые целовала и над которыми плакала. Она никогда не советовала перестать горевать, но горевала вместе со мной, и впервые со дня смерти детей я почувствовала, что я не одна. Элеонора Дузе была сверхчеловеком. Ее сердце было так велико, что могло вместить всю трагедию мира, а дух сиял через всю тьму земных страданий. Во время прогулок у моря мне часто казалось, что ее голова касается звезд, а руки дотрагиваются до вершин гор.

Элеонора преклонялась перед Шелли и иногда в конце сентября, во время постоянных бурь, когда беспрестанные молнии освещали мрачные волны, указывала на море, говоря: «Смотрите — вот отблеск пепла Шелли, он там. Он ходит по волнам».

Преследуемая любопытными взорами в гостинице, я наняла виллу. Но что могло заставить меня сделать такой выбор? Это был большой красный кирпичный дом в глубине унылого, хвойного леса, окруженный со всех сторон высокой стеной. Грустный снаружи, внутри он был так печален, что не поддается описанию. Когда-то, по рассказам окрестных жителей, там жила дама, охваченная несчастной страстью к высокой особе австрийского двора, некоторые даже уверяли, к самому Францу-Иосифу. Этой даме пришлось увидеть постепенно впадающим в безумие сына, родившегося от этой связи. В верхнем этаже виллы находилась маленькая комната с окнами, защищенными решеткой, и с маленьким квадратным отверстием в двери, через которое, по-видимому, подавалась пища бедному молодому

безумцу, когда он становился опасен. На крыше была большая открытая терраса с видом на море и на горы. Это мрачное жилище, вмещавшее в себя по крайней мере шестьдесят комнат, привлекло мое внимание, и я его наняла. Мне понравился хвойный лес, окруженный стеной, и вид с террасы. Я предложила Элеоноре там поселиться, но она вежливо отказалась и переехала из своей летней виллы в маленький белый домик поблизости.

Дузе относилась очень своеобразно к переписке с друзьями. Живя в другой стране, она не чаще одного раза в три года посылала длиннейшую телеграмму, живя же под боком, ежедневно, а иногда и по два, по три раза в день писала очаровательные записки Мы встречались и часто гуляли по берегу моря, и Дузе говорила: «Муза трагического танца гуляет с музой трагедии». Как-то во время прогулки по морскому берегу Дузе повернулась ко мне. Заходящее солнце озарило ее голову светом, точно огненным ореолом. Она долго и внимательно рассматривала меня.

— Айседора, — сказала она наконец, задыхаясь, — не ищите, не ищите больше счастья. На вашем челе лежит печать земного несчастья. То, что с вами произошло, только пролог. Не искушайте больше судьбы.

О, Элеонора, если бы я послушалась вашего предупреждения! Но надежда — цветок, который трудно убить, и сколько бы ни срывать и ни уничтожать листьев, он всегда будет выпускать новые ростки.

Дузе была тогда великолепным существом в полном расцвете жизни и ума. Идя по морскому берегу, она шагала широкими шагами, не так, как ходят все другие женщины. Она не носила корсета, и ее фигура, в те времена очень широкая и полная, огорчила бы любителя мод, но зато выражала благородное величие. Во всем сказывалась ее великая и измученная душа. Часто она мне читала отрывки из греческих трагедий или из Шекспира, и однажды, когда она мне прочла несколько строк из «Антигоны», я подумала, какое преступление, что это дивное чтение пропадает для мира. Неверно то, что Дузе покинула сцену в расцвете своего таланта, как некоторые предпочитают думать, вследствие несчастной любви, или какой-либо другой сентиментальной причины, или вследствие болезни Правда, позорная правда в том, что никто не оказал ей помощи и у нее не было средств на осуществление своих взглядов об искусстве, как она этого желала. Мир, «любящий искусство», в течение пятнадцати лет позволил величайшей артистке Вселенной мучиться в бедности и одиночестве. Когда Моррис Гест наконец это понял и устроил ей турне по Америке, было слишком поздно.

Она умерла во время этой поездки, трогательно стараясь набрать деньги, необходимые для ее работы, которой она ждала столько лет.

* * *

Я взяла напрокат рояль и отправила телеграмму своему верному другу Скину с просьбой приехать, что он немедленно исполнил. Элеонора страстно любила музыку, и каждый вечер он стал ей играть Бетховена, Шопена, Шумана и Шуберта. Иногда низким голосом прелестного тембра она пела свою любимую вещь: «In questa tomba oscura, lascia mia pianga». При последних словах «Ingrata, Ingrata» ее голос и выражение лица принимали такой трагический оттенок, что трудно было, глядя на нее, удержаться от слез.

Однажды в сумерки я порывисто встала и, попросив Скина сыграть адажио из «Патетической сонаты» Бетховена, начала танцевать впервые с 19 апреля, дня смерти детей. Обняв меня, Дузе поблагодарила нежным поцелуем.

— Айседора, — сказала она, — что вы тут делаете? Вы должны вернуться к искусству. В нем одном ваше спасение.

Элеонора знала, что за несколько дней до того я получила предложение на турне по Южной Америке.

— Подпишите контракт, — убеждала она меня. — Жизнь коротка, и вы не знаете, что это значит, когда годы тянутся, полные скуки, скуки, сплошной скуки! Бегите от горя и тоски, бегите!

«Fuir, fui», — повторяла она, но на сердце моем камнем лежала тоска. Я могла сделать несколько гармоничных движений перед Элеонорой, но выступить снова перед публикой мне казалось невозможным — до того исстрадалось и измучилось все мое существо, неотвязчиво преследуемое одной мыслью о детях. В обществе Элеоноры я немного успокаивалась, но ночи в пустой вилле, в мрачных комнатах которой раздавалось только эхо, проводила, томительно поджидая наступления рассвета. Тогда я вставала и шла к морю купаться. Мне хотелось заплыть так далеко, чтобы не быть в состоянии вернуться, но тело не повиновалось и само поворачивало обратно к берегу — такова жажда жизни в молодом существе!

В один серый осенний день, когда я шла одна по песчаному берегу, я внезапно увидела впереди своих детей, Дердре и Патрика, идущими, держась за руки. Я стала их звать, но они, смеясь, отбежали дальше. Я бросилась за ними следом, звала их

— и вдруг они исчезли в туманных брызгах волн. Меня охватил безумный страх — неужели я сошла с ума, раз уже мне начали являться мои дети? Несколько мгновений мне казалось, что уже я одной ногой переступила грань, отделяющую безумие от здравомыслия. Предо мной встал дом умалишенных, тоскливая однообразная жизнь, и в порыве отчаяния я бросилась лицом на землю и стала громко рыдать.

Не знаю, как долго я пролежала в таком положении, но очнулась от прикосновения нежной руки к моей голове. Подняв глаза, я увидела того, кого я сперва приняла за одну из дивных фигур Сикстинской часовни. Он стоял, только что вышедший из воды, и спросил:

— Почему вы всегда плачете? Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?

— Да, — отвечала я. — Спасите меня, спасите не только мою жизнь, но и мой разум. Дайте мне ребенка.

В тот же вечер мы стояли вдвоем на крыше моей виллы и глядели, как заходит солнце, встает луна и лучи ее заливают серебристым светом мраморный склон горы. Когда же я почувствовала его сильные молодые руки вокруг своего тела, когда его губы прижались к моим, когда меня унесла его страсть итальянца, я поняла, что спасена от горя и смерти и что возвращена к жизни, к свету, к любви.

Элеонора нисколько не удивилась, когда на следующее утро я ей рассказала о случившемся. Артистке, постоянно живущей в сказочной стране фантазии, казалось вполне естественным, чтобы юноша, созданный Микеланджело, явился из моря меня утешать, и хотя она ненавидела встречи с незнакомыми людьми, Дузе все же согласилась познакомиться с моим юным Анджело и даже посетить вместе со мной его ателье: он был скульптором.

— Вы действительно думаете, что он талантлив? — спросила она меня после осмотра его работ.

— Я в этом не сомневаюсь, — отвечала я. — Он, вероятно, станет вторым Микеланджело.

Молодость удивительно гибка и готова поверить всему решительно. Я была убеждена, что новая любовь победит мое горе и избавит от вечных страданий. Постоянно перечитывая одно из стихотворений Виктора Гюго, я в конце концов уверила себя в том, что дети вернутся. Они только и ждут, чтобы ко мне вернуться. Но увы! Самообольщение продолжалось недолго.

Оказалось, что мой новый друг принадлежит к итальянской семье с очень строгими моральными устоями и был помолвлен с девушкой из такой же семьи. При встрече он мне этого не рассказывал, но вскоре сообщил в прощальном письме. Я на него

ничуть не сердилась, ясно отдавая себе отчет, что он спас мне разум. Кроме того, я знала, что уже не одна, и с этого времени ушла в крайний мистицизм. Дух детей витал вокруг меня, и я глубоко верила, что они вернутся на землю и будут меня утешать.

С приближением осени Элеонора переехала в свою квартиру во Флоренции, и я также покинула мрачную виллу в Виареджио. Заехав по пути во Флоренцию, я отправилась в Рим, где решила остаться на всю зиму и где провела Рождество, правда, довольно грустное, но я успокаивала себя мыслью, что лучше быть в Риме, чем в могиле или доме умалишенных. Мой верный друг Скин не покидал меня; никогда не задавая вопросов, никогда во мне не сомневаясь, он дарил мне свою дружбу, поклонение и музыку.

Рим — удивительный город для грустного человека. В то время как Афины с их ослепительной яркостью красок и безупречной красотой только обострили мою тоску, Рим с его величавыми развалинами, гробницами и дивными статуями, свидетелями стольких ушедших поколений, незаметно смягчал мою боль. В особенности любила я бродить ранним утром по Аппиевой дороге.

По ночам Скин и я отправлялись гулять и часто подолгу простаивали перед многочисленными фонтанами, питаемыми щедрыми горными источниками. Я любила сидеть у фонтана и прислушиваться к журчанию и всплескам воды, порой тихо проливая слезы, в то время как мой милый спутник, не зная, как мне выразить свое сочувствие, держал мои руки в своих и нежно их пожимал.

Среди этих печальных прогулок я была в один прекрасный день смущена длинной телеграммой от Лоэнгрина, умолявшего меня во имя искусства вернуться в Париж, и эта просьба побудила меня сесть в поезд. По дороге мы проезжали Виареджио, и из окна вагона я увидела среди сосен крышу красной кирпичной виллы и подумала о проведенных мною там месяцах то отчаяния, то надежды и о моем божественном друге Элеоноре, которую теперь покидала.

Лоэнгрин приготовил мне роскошное помещение, все заставленное цветами, в Крильоне с видом на площадь Согласия. Когда я рассказала ему о своих переживаниях в Виареджио, о мистических мечтах о перевоплощении детей и о возвращении их на землю, он закрыл лицо руками и после минутной внутренней борьбы произнес:

— Я пришел к вам впервые в 1908 году, чтобы вам помочь, но вспыхнула любовь и повлекла за собой трагедию. Давайте теперь создавать вашу школу, как вы этого хотели, чтобы дать немного красоты на этой печальной земле и другим.

Затем он мне сообщил, что купил огромную гостиницу «Бельвю» с террасами, откуда открывался вид на Париж, с садами, спускавшимися к реке, и с количеством комнат, рассчитанных на тысячу детей. Существование школы зависело только от меня.

— Если вы согласны оставить в стороне всякие личные отношения и жить только ради идеи, — заключил Лоэнгрин.

Я согласилась потому, что жизнь принесла мне сложную цепь катастроф и несчастий, и только моя идея продолжала сиять светло и ярко.

На следующее утро мы осмотрели «Бельвю», и с этого момента обойщики и декораторы стали работать под моим наблюдением, чтобы превратить довольно шаблонную гостиницу в храм танцев будущего. Пятьдесят новых кандидаток были избраны на конкурсе, устроенном в центре Парижа; кроме них в школе оказались прежние ученицы и их воспитательницы.

Столовые гостиницы превратились в залы для танцев, задрапированные моими голубыми занавесами. По середине длинной залы я распорядилась устроить возвышение со ступеньками, которым могли бы пользоваться как зрители, так и авторы. Я пришла к заключению, что жизнь в обыкновенной школе монотонна и скучна отчасти потому, что всюду ровные полы; поэтому между многими комнатами я устроила поднимающиеся и опускающиеся переходы. Столовая была похожа на зал заседаний английской палаты общин: по обоим сторонам комнаты поднимались амфитеатром ряды скамей, причем дети сидели внизу, а старшие ученицы и воспитательницы наверху.

Я снова нашла в себе мужество преподавать среди этой кипучей, бьющей ключом жизни, и ученицы усваивали мои уроки с поразительной быстротой. Через три месяца после открытия школы они достигли такого искусства, что приводили в удивление и восторг всех художников, приходивших на них посмотреть. Суббота была посвящена артистам. Утром с одиннадцати до часу происходил публичный урок, после чего с обычной для Лоэнгрина щедростью подавался обильный завтрак для артистов и детей. В хорошую погоду завтрак сервировался в саду, а затем начинались музыка, чтение стихов и танцы.

Часто у нас бывал Роден, дом которого находился напротив на холме, в Медоне. Скульптор садился в зале для танцев и делал наброски с танцующих девушек и детей. Однажды он сказал мне:

— Почему у меня не было таких моделей, когда я был молод? Моделей, которые могут двигаться сообразно с законами природы и гармонии! Правда, у меня бывали красивые модели, но никто из них не понимал так искусства движения, как ваши ученицы.

Я купила детям разноцветные накидки, и во время танцев и беготни в лесу они напоминали стаю прекрасных птиц. Я верила, что школа в «Бельвю» не прекратит своего существования, что я там проведу всю свою жизнь и там оставлю результаты своей работы.

В июне месяце мы устроили праздник в «Трокадеро». Я сидела в ложе и смотрела на танцы своих учениц. В некоторых местах публика вскакивала, и раздавались крики радости и восторга, а по окончании программы — безумные аплодисменты. Мне кажется, что этот необыкновенный восторг перед танцами детей, которые не были ни профессионалами, ни художниками, являлся лишь выражением надежды на возникновение нового течения, которое я смутно предвидела. Это были движения, предсказанные Ницше:

— Заратустра — танцор, Заратустра — воздушный, манящий крыльями, готовый к полету, призывающий птиц, всегда готовый, блаженный легкий дух…

Именно такими были будущие танцоры Девятой симфонии Бетховена.

28

Утром жизнь в «Бельвю» начиналась взрывом радости. Слышался бег легких ножек по коридорам, пение детских голосов. Когда я спускалась в столовую, меня встречал дружный крик: «Доброе утро, Айседора!» Кто мог оставаться мрачным в такой обстановке? И хотя часто, не видя в толпе двух милых детских лиц, я уходила к себе, чтобы поплакать в одиночестве, я все-таки находила в себе силу воли заниматься с детьми ежедневно. Прелестная грация их танцев давала мне бодрость для дальнейшего существования.

За сто лет до Рождества Христова на одном из холмов Рима возвышалась школа, известная под названием «Римская семинария танцующих жрецов». Ученики этой школы набирались из самых патрицианских семей и должны были обладать рядом поколений незапятнанных предков. Их обучали всем искусствам и философским доктринам, но все же танцы представляли собой главную основу их занятий. Они танцевали четыре раза в год в театре: весной, летом, осенью и зимой. Они спускались со своего холма в Риме и принимали участие в некоторых церемониях, танцуя с целью очистить тех, кто на них смотрел. Эти юноши танцевали с таким радостным пылом и чистотой, что их танцы возвышали зрителей и исцеляли их, словно лекарство. О таком танце я и мечтала, когда впервые основывала свою школу, и считала, что «Бельвю», расположенный на холме около Парижа, может иметь такое же значение для этого города и его художников, как и «Семинария танцующих жрецов» для Рима.

Группа художников еженедельно приходила в «Бельвю», вооруженная тетрадями для зарисовок, так как школа уже оказывалась источником вдохновения. Лоэнгрин занялся мыслью о постройке на холме Бельвю театра, беседы о котором были так трагически прерваны. Он решил создать симфонический оркестр и праздничный театр, куда могла бы стекаться парижская толпа в дни великих праздников.

Он снова пригласил к себе архитектора Луи Сю. Чертежи и планы театра, в последнее время заброшенные, снова очутились в библиотеке. В этом театре я надеялась осуществить свою мечту — соединить искусства музыки, трагедии и танца в их чистом виде. Здесь Мунэ-Сюлли, Элеонора Дузе или Сюзанна Депрэ должны были играть Эдипа, Антигону или Электру, а ученицы моей школы изображать древний хор.

Целыми часами я занималась с ученицами и иногда, утомившись до того, что не могла стоять, ложилась на кушетку и

учила их движениями рук. Мои способности к преподаванию в самом деле как будто граничили с чудесным.

Мне стоило только протянуть руки к детям — и они начинали танцевать. Было похоже на то, что я даже не учу их, а просто открываю путь, по которому входит в них дух танца. Мы готовились выступить в «Вакханках» Еврипида; мой брат Августин должен был играть роль Диониса: он знал ее наизусть. Он читал ее нам по вечерам, так же, как пьесы Шекспира или «Манфреда» Байрона. ДУАннунцио, восторженно относившийся к школе, часто у него завтракал или обедал. Маленькая группа учениц первой школы, успевших превратиться в стройных девушек, помогала мне учить маленьких, и я с умилением смотрела на происшедшую в них огромную перемену и на то, с какой уверенностью и с какими знаниями они продолжали начатое иное дело.

В июле 1914 года земля стала испытывать странный гнет. Я чувствовала его так же, как и дети. Сидя на террасе, с которой был виден Париж, дети вдруг замолкали и становились какими-то подавленными. Огромные черные тучи нависали над головой. Жуткое затишье охватило страну. Я его ощущала настолько, что даже движения ребенка, которого я носила, казались мне не такими определенными и сильными, чем движения первых моих детей.

Возможно, что меня к тому же сильно утомил резкий переход от грусти и траура к новой жизни. В конце июля Лоэнгрин предложил отправить всю школу в Англию, в его девонширский дом на летний отдых. И вот в одно прекрасное утро все девочки парами явились попрощаться со мной. Они должны были провести август у моря и вернуться в сентябре. Когда все уехали, дом сразу опустел, и несмотря на все усилия справиться с собой, я предалась сильной хандре. Я очень устала и долгие часы проводила на террасе, глядя на Париж и все более и более убеждаясь, что грозная опасность надвигается с востока.

Как-то утром пришло трагическое известие об убийстве Кальмета, повергшее весь Париж в состояние возбужденного волнения. Это был печальный случай, предвестник еще большей трагедии. Кальмет всегда был лучшим другом моего искусства и школы, и меня очень потрясла и огорчила эта новость. Неопределенный страх мучил меня, и я нигде не находила себе места. Теперь, после отъезда детей, «Бельвю» казался пустым, а большая зала для танцев выглядела одиноко и грустно. Я старалась успокоить себя мыслями о скором рождении ребенка, о возвращении детей, о том, что «Бельвю» скоро снова станет центром жизни и радости, но часы текли медленно, пока однажды ко мне не вошел мой друг д-р Боссон, гостивший у нас в то время.

В его руках была газета, сообщавшая об убийстве эрцгерцога. Поползли слухи, которые вскоре сменились уверенностью в неизбежности войны. Как верно, что тень грядущих событий их опережает. Теперь я поняла, что темная тень, которая омрачала «Бельвю», была тенью войны. Пока я строила планы возрождения искусства в театре и торжества человеческой радости, другие силы готовили войну, смерть и несчастья, силы, с которыми — увы! — не могла справиться моя слабость.

Первого августа я почувствовала начало родовых мук. Под окном газетчики выкрикивали сообщения о мобилизации. День был жаркий, и окна распахнуты настежь. Мои крики и страдания сопровождались барабанным боем и голосом глашатая.

Мой друг Мэри принесла в комнату колыбель, убранную белой материей, колыбель, с которой я не сводила глаз. Я была убеждена, что ко мне возвращается Дердре или Патрик. Барабанный бой продолжался: мобилизация — война — война. «Есть ли вообще война?» — думала я. Но ребенок мой должен быть рожден, каких бы страданий это ни стоило. На место моего друга Боссона, уехавшего в армию, был приглашен другой доктор, который все повторял: «Побольше мужества, сударыня». Зачем говорить «побольше мужества» несчастному существу, раздираемому страшной болью? Было бы лучше, если бы он сказал: «Забудьте, что вы женщина и должны с достоинством переносить эти муки, забудьте всю эту чепуху, забудьте все — кричите, войте, орите…» — а еще лучше, если бы у него хватило человечности дать мне немного шампанского. Но у этого доктора была своя система, заключавшаяся в советах быть мужественной. Сиделка же в волнении все повторяла: «Это война, это война, сударыня». А я думала: «У меня будет мальчик, и он будет слишком молод, чтобы идти на войну».

Наконец я услышала детский крик — ребенок кричал, ребенок жил. Как ни велики были мое горе и ужас за последний год, все теперь поглотил порыв безграничной радости. Грусть, тоска и слезы, долгое ожидание и боли исчезли в эту минуту блаженства. Если Бог существует, то Он — великий режиссер.

Долгие часы печали сменились ликованием, когда мне подали прекрасного мальчика.

Но барабаны продолжали выбивать дробь: «Мобилизация — война — война».

«Существует ли война? — думала я. — Не все ли мне равно? Ребенок мой тут, в безопасности, в моих объятиях. Пусть делает войну кто хочет, мне все равно».

Так эгоистична человеческая радость. Под окном и за дверью происходило непрерывное движение, раздавались голоса,

женский плач, кого-то звали, кто-то спорил о мобилизации, но я прижимала к себе ребенка и имела смелость рядом с общей бедой наслаждаться всей полнотой счастья, и, возносимая к небесам нездешней радостью, снова держать в объятиях собственного ребенка.

Наступил вечер. Комната моя наполнилась людьми, радовавшимися появлению ребенка. «Вы снова будете счастливы», — говорили они. Затем все один за другим покинули меня, и я осталась наедине с ребенком. «Кто ты? Дердре или Патрик? — прошептала я. — Ты ко мне вернулся». Внезапно маленькое создание слабо ахнуло, точно задыхаясь, и из его похолодевших губ вырвался долгий свистящий вздох. Я позвала сиделку. Она подошла, посмотрела, испуганно схватила ребенка на руки, выбежала в соседнюю комнату. Оттуда доносились требования кислорода, горячей воды.

После часа мучительного ожидания вошел Августин и сказал:

— Бедная Айседора. Твой ребенок. умер.

Мне кажется, что в эту минуту я испытала наибольшие страдания, которые могут быть назначены человеку на земле, так как в этой смерти как будто повторялась смерть двух первых детей, повторялись прежние муки и к ним присоединились еще новые.

Вошла мой друг Мэри и, плача, вынесла колыбель. Из соседней комнаты донеслись звуки молотка, заколачивавшего маленькую коробку, ставшую единственной колыбелью моего несчастного сына. Эти удары молотка, казалось, выстукивали по моему сердцу последние аккорды невыносимого отчаяния. Пока я лежала там, истерзанная и беспомощная, тройной поток крови, слез и молока истек из меня.

Ко мне пришли знакомые и сказали: «Что значит ваше личное горе? Война требует сотен жертв, и с фронта уже привозят раненых и умирающих». И мне показалось совершенно естественным отдать «Бельвю» под госпиталь.

В те первые дни войны все были охвачены одинаковым энтузиазмом. Кто может ответить на вопрос, насколько нужен был этот поразительный вызов, этот удивительный порыв, который привел к опустошению громадных пространств и к многочисленным кладбищам? Конечно, в настоящее время все это кажется бессмысленным, но можем ли мы правильно судить? Ведь Ромен Роллан, живший в то время в Швейцарии и стоявший выше разгоревшихся страстей, привлекал на свою задумчивую голову проклятия одних и благословения других. Во всяком случае, с самой первой минуты мы разгорелись пламенным восторгом, и даже художники говорили: «Что такое искусство? Мы видим, как

юные солдаты жертвуют своею жизнью. Что такое по сравнению с этим искусство?» Если бы в то время я сохранила хоть немного разума, я должна была бы ответить: «Искусство выше жизни», — и оставаться в ателье, продолжая работу. Но я пошла за остальным миром и заявила: «Возьмите эти кровати, возьмите дом, созданный для искусства, и устройте госпиталь для раненых».

Однажды два санитара зашли ко мне, предложили осмотреть мой госпиталь и понесли меня из комнаты в комнату на носилках, так как я была не в силах ходить. Я увидела, что во всех палатах сняты со стен мои барельефы, изображавшие вакханок, танцующих фавнов, сатиров и нимф, так же, как и все драпировки и занавесы, и заменены дешевыми фигурами черного Христа на золотом кресте, пожертвованными одним из католических учреждений, которое в течение войны раздало тысячи таких распятий. Я подумала: насколько приятно было бы несчастным раненым солдатам, придя в себя, увидеть комнаты в том виде, в каком они были прежде. Зачем показывать страдающего черного Христа, пригвожденного к золотому кресту? Какое грустное для них зрелище!

Из моего прелестного зала для танцев исчезли голубые занавесы, зато появились бесконечные ряды коек, ожидавшие прибытия несчастных. Библиотека, на полках которой когда-то стояли произведения поэтов, теперь была превращена в операционную, приготовленную для мучеников. Вид всего этого в моем тогдашнем состоянии расслабленности подействовал на меня очень сильно. Я почувствовала, что Дионис потерпел окончательное поражение. Наступило царство распятого Христа.

Вскоре после этого я услышала в первый раз тяжелые шаги санитаров, вносивших раненых.

«Бельвю»! Мой Акрополь, который должен был служить источником вдохновения, святилищем высшей жизни, освещенной философией, поэзией и музыкой! С этого дня исчезли искусство и гармония, и в твоих стенах послышались мои крики — крики раненой матери и ребенка, испугавшегося барабанного боя и покинувшего мир. Мой храм искусства превратился в Голгофу, в бойню, полную кровавых ран и смерти. Там, где прежде в ушах моих звучала райская музыка, сейчас раздавались хриплые крики боли.

Бернард Шоу говорит, что до тех пор, пока люди продолжают мучить и убивать животных, чтобы питаться их мясом, войны не прекратятся. Мне кажется, что все нормальные и мыслящие люди должны присоединиться к его мнению. В моей школе все дети были вегетарианцами и росли красивыми и сильными на диете из овощей и фруктов. Иногда во время войны, слыша стоны раненых,

я вспоминала крики животных на бойне и понимала, что боги мучают нас совершенно так же, как мы мучаем этих несчастных беззащитных животных.

Кто любит этот ужас, именуемый войной? Вероятно, потребители мяса, которые, убив, чувствуют потребность убивать и дальше: убивать птиц, животных, охотиться на лисиц, преследовать робких боязливых газелей…

* * *

Когда я снова оказалась в состоянии двигаться, мы с Мэри покинули «Бельвю» и отправились на берег моря. Мы проехали через военную зону. Со мной обращались очень любезно после того, как я сообщала свое имя. Когда солдат на посту пропускал меня, говоря: «Это Айседора», я принимала это как величайшую честь, когда-либо мне оказанную.

Мы поехали в Довиль и поселились в гостинице «Нормандия». Я чувствовала себя очень больной и усталой и рада была найти тихую пристань. Недели проходили, а я все оставалась в том же состоянии полного упадка сил, настолько, что еле передвигала ноги, гуляя по берегу и дыша ветром, дующим с океана. В конце концов, сознавая, что я действительно больна, я послала в госпиталь за доктором. К моему удивлению, он не пришел, а только прислал уклончивый ответ, и я продолжала жить в гостинице «Нормандия» без чьего-либо ухода, слишком больная, чтобы думать о будущем.

В то время гостиница служила убежищем для многих выдающихся парижан. Рядом со мной помещалась графиня де ла Бородьер, у которой гостил поэт граф Робер де Монтескиу, и часто после обеда до меня доносился его высокий фальцет, декламировавший стихи. Было странно среди непрекращающихся известий о кровопролитной резне слушать, с каким упоением он воспевает силу красоты. Саша Гитри также гостил в отеле «Нормандия» и каждый вечер развлекал в салоне радостно настроенную публику непрерывным потоком анекдотов и рассказов. И лишь когда приходили газеты, полные известий о мировой трагедии, наступал жуткий час отрезвления.

Эта жизнь мне скоро опротивела и, чувствуя себя не в силах путешествовать, я сняла меблированную виллу. Она называлась «Черное и Белое», и все в ней: ковры, портьеры, и мебель — были черные с белым. Снимая ее, я подумала, что это очень нарядно, и, только поселившись там, увидела, насколько гнетуще действует такое сочетание… Я оказалась перенесенной из «Бельвю»,

связанного с надеждами о школе, искусстве и будущей новой жизни, в маленький чернобелый домик у моря, одинокая, больная и заброшенная. Но хуже всего была болезнь. Мне не хватало сил даже на короткую прогулку по берегу. Наступила осень и с ней сентябрьские бури. Лоэнгрин сообщил мне в письме, что перевез школу в Нью-Йорк, рассчитывая найти там приют, пока не окончится война.

Однажды, ощущая особенное одиночество, я отправилась в госпиталь, чтобы разыскать доктора, который отказался ко мне прийти. Меня провели к человеку небольшого роста с черной бородой, и в тот момент мне показалось, что при виде меня он повернулся, чтобы скрыться. Я подошла, к нему и сказала:

— Доктор, что вы имеете против меня, что не хотите меня навестить, когда я вас приглашаю? Разве вы не знаете, что я действительно больна и нуждаюсь в помощи?

Он пробормотал несколько извинений и с видимой неохотой обещал прийти на следующий день. Утром поднялась буря. Море было бурное, и лил дождь. Наконец явился доктор.

Я тщетно старалась зажечь дрова в камине, но труба дымила. Доктор пощупал пульс и задал обычные вопросы. Я ему рассказала о своем горе — о ребенке, не захотевшем жить. Он продолжал на меня смотреть отсутствующим взором.

Внезапно он схватил меня в объятия и покрыл поцелуями.

— Вы не больны! — вскричал он, — больна только ваша душа, больна без любви. Единственное, что может вас вылечить, — любовь, любовь и еще раз любовь!

Одна, измученная и грустная, я могла быть только благодарна за этот порыв внезапной и страстной нежности. Я глубоко заглянула в глаза доктора, увидела в них любовь и откликнулась на нее со всей болезненной силой израненных души и тела.

Каждый день после работы в госпитале он приходил в мою виллу и рассказывал мне о тяжелых впечатлениях дня, о страданиях раненых, о зачастую безнадежных операциях — о всех ужасах этой ужасной войны. Иногда я отправлялась с ним на ночное дежурство в огромный спящий госпиталь в казино, освещенный одной лампочкой. То там, то сям метался, страдая бессонницей, томящийся мученик, испуская жалобные стоны и тяжко вздыхая. Доктор переходил от одной койки к другой, говоря слова утешения, утоляя жажду и успокаивая боль благодетельными наркотиками.

После тяжелых дней и томительных ночей этот странный человек нуждался в любви и страсти, одновременно нежной и свирепой. Мое тело крепло и здоровело, покидая его пламенные

объятия, после многих часов безумных наслаждений. Я снова могла гулять у моря. Как-то ночью я спросила странного доктора, почему он не откликнулся на первый мой зов. Он не ответил на вопрос, но в его глазах отразилась такая трагическая боль, что я побоялась продолжать говорить на эту тему. Но любопытство мое росло. Тут скрывалась тайна. Я чувствовала, что мое прошлое каким-то образом связано с его отказом отвечать на расспросы.

Первого ноября, в День поминовения усопших, я стояла у окна виллы и вдруг заметила, что клумбы, обложенные белыми и черными камнями, имеют вид двух могил. Это становилось похожим на галлюцинацию, и я не могла без дрожи смотреть в сад. Я была словно поймана в сеть страдания и смерти.

Поезда один за другим приходили в Довиль, привозя трагический груз — раненых и умирающих. Когда-то модное казино, где еще в прошлом сезоне звучал джазбанд и раздавался смех, теперь превратилось в огромный постоялый двор страдания. Я все сильнее и сильнее впадала в меланхолию, а по ночам страсть Андрэ становилась все мрачнее в своей фантастической напряженности. Часто, когда я встречала его отчаянный взгляд, взгляд человека, преследуемого страшным воспоминанием, он отвечал на мои расспросы: «Если я вам скажу, мы должны будем расстаться. Вы не должны меня спрашивать».

Однажды, проснувшись ночью, я увидела, что он нагнулся надо мной и глядит, как я сплю. Отчаяние, выражавшееся в его взоре, было так безгранично, что я не могла стерпеть.

— Скажите мне, в чем дело, — взмолилась я. — Я не могу выносить этой жуткой тайны.

Он пододвинулся ко мне и, опустив голову, остановился — невысокий квадратный человек с черной бородой.

— Неужели вы меня не узнаете? — спросил он.

Я пристально поглядела на него. Туман рассеялся, и я вскрикнула. Ужасный день. Доктор, который пришел, чтобы меня обнадежить. Тот самый, который хотел спасти детей.

— Теперь вы знаете, — сказал он, — что я переживаю. Когда вы спите, вы выглядите совсем как ваша девочка, когда она там лежала. А я так старался ее спасти — часами старался вдохнуть в нее собственное дыхание — вернуть ей жизнь — передать частицу своей жизни в ее бедный маленький ротик…

Его слова причинили мне такие муки, что я беспомощно проплакала остаток ночи, а его страдания, казалось, не уступали моим. С этой ночи я поняла, что люблю этого человека страстью, которой сама прежде не подозревала, но по мере того, как росли наша любовь и взаимные желания, росло также и его нервное расстройство. Проснувшись раз ночью, я снова встретила этот

страшный, тоскливый взгляд. Я поняла, что его издерганность может довести нас обоих до сумасшествия.

На следующий день я пошла по берегу, уходя все дальше и дальше с единственным желанием никогда не возвращаться ни в печальную виллу «Черное и Белое», ни к любви, похожей на смерть, которая меня там ждала. Я зашла так далеко, что не заметила наступления сумерек, и только застигнутая полной темнотой, сообразила, что надо вернуться. Стремительно надвигался прилив, и волны уже лизали мои ноги. Несмотря на холод, мне захотелось пойти навстречу морю и идти без конца, чтобы навсегда покончить с невыносимым горем, от которого я не находила облегчения ни в искусстве, ни в новом материнстве, ни в любви. Каждый раз, когда я пыталась уйти от грызущей меня тоски, я встречала разрушение, агонию и смерть.

На полдороге к вилле меня встретил Андрэ. Он очень волновался, так как нашел мою шляпу, потерянную по рассеянности на берегу, и решил, что я нашла конец своим страданиям в волнах. Когда, пройдя несколько миль, он встретил меня живую, он заплакал, как ребенок. Мы вернулись в виллу и старались утешить друг друга, но поняли, что должны расстаться, если не хотим кончить безумием, так как наша любовь с ее психозом доведет нас до смерти или до дома умалишенных.

Еще одно событие усилило мою тоску. Я распорядилась, чтобы мне прислали из «Бельвю» сундук с теплыми вещами. Сундук действительно прибыл, но отправители ошиблись и прислали мне одежду Дердре и Патрика. Когда я ее увидела перед собой — платьица, которые они надевали, пальто, туфли и шапочки, я снова услышала тот крик, который раздался, когда я увидела детей мертвыми. — странный, длительный, воющий крик, непохожий на мой голос, крик смертельно раненного животного, крик, вырывавшийся из моей человеческой груди.

Андрэ нашел меня в обмороке, лежащую над открытым сундуком и крепко сжимающую в руках крошечные одежды. Он отнес меня в соседнюю комнату и убрал сундук, которого я больше уже не видела.

29

Когда Англия вступила в войну, Лоэнгрин превратил свой девонширский замок в госпиталь и чтобы уберечь детей моей школы, которые принадлежали к различным национальностям, отправил их, как я уже отметила, в Америку. Августин и Элизабет, переехавшие в Нью-Йорк вместе со школой, постоянно присылали мне телеграммы и звали к себе, на что я в конце концов и решилась.

Андрэ отвез меня в Ливерпуль и посадил на большой океанский пароход, отправлявшийся в Нью-Йорк. Я так грустила и была так утомлена, что всю дорогу выходила из каюты на палубу только по ночам, когда все пассажиры спали. Августин и Элизабет, встретившие меня в Нью-Йорке, были поражены происшедшей во мне переменой и моим нездоровым видом. Я застала свою школу счастливым сборищем военных беженцев. Наняв огромное ателье на Четвертой авеню, я задрапировала его своими голубыми занавесами и снова принялась за работу.

Приехав из героической и истекавшей кровью Франции, я была возмущена внешним безразличием Америки к войне и однажды ночью, под самый конец спектакля в опере «Метрополитен», завернулась в красную шаль и стала импровизировать «Марсельезу». На следующий день газеты с восторгом отзывались о моем выступлении. Одна из них писала: «Мисс Айседора Дункан заслужила бурные овации, исполнив с необыкновенным порывом «Марсельезу» в конце программы. Публика встала с мест и несколько минут подряд приветствовала ее криками «ура»… Она подражала классическим фигурам на Триумфальной арке в Париже. Ее плечи были обнажены так же, как и один бок до пояса, и перед зрителями воочию предстала дивная статуя знаменитой арки. Публика разразилась аплодисментами и криками «браво» в честь благородного искусства».

Мое ателье вскоре стало местом встречи поэтов и художников. С этой минуты ко мне вернулась моя бодрость, и, узнав, что театр «Сентюри» сдается внаймы, я его оставила за собой на сезон и приступила к созданию своего «Дионисиона». Но здание театра раздражало меня своим снобизмом. Чтобы придать ему вид греческого театра, я убрала кресла из партера и разостлала голубой ковер, по которому мог проходить хор. Безобразные ложи были закрыты широкими голубыми занавесами, ия во главе труппы из тридцати пяти актеров, восьмидесяти музыкантов и сотни хористов поставила трагедию

«Эдип» с братом Августином в главной роли, причем сама со школой изображала хор.

Театр посещался больше всего обитателями восточных кварталов, которые являются истинными любителями искусства в современной Америке. Меня так тронуло лестное внимание восточных кварталов, что я отправилась туда со всей школой и оркестром и дала даровой спектакль в театре «Идиш». Будь у меня средства, я бы вечно танцевала перед этими людьми, душа которых создана для музыки и поэзии. Но увы, моя грандиозная затея оказалась очень дорогой и совершенно меня разорила. Когда же я обратилась за поддержкой к некоторым нью-йоркским миллионерам, мне отвечали: «Что за охота вам ставить греческую трагедию?»

В это время весь Нью-Йорк был охвачен безумием джаза. Мужчины и дамы лучшего общества, как старые, так и молодые, проводили время в огромных салонах гостиниц, танцуя фокстрот под варварское тявканье и вопли негритянского оркестра. Я получила приглашение на один или два парадных бала того времени и не могла удержаться от возмущения при мысли о том, что здесь творится, в то время как Франция истекает кровью и нуждается в помощи Америки. Вся атмосфера американской жизни 1915 года была мне отвратительна, и я решила вернуться со школой в Европу.

Но у меня не хватало денег, чтобы заплатить за наши билеты. Я заказала места на пароходе «Данте Алигьери», но не знала, чем расплатиться. За три часа до отхода парохода у меня все еще не было необходимых средств, как вдруг в ателье вошла скромно одетая молодая американка и спросила, уезжаем ли мы сегодня в Европу?

— Вот видите, — указала я на детей, уже одетых в дорожные костюмы, — мы совсем готовы, но еще не нашли денег, чтобы заплатить за билеты.

— Сколько вам нужно?

— Около двух тысяч долларов, — отвечала я.

Необыкновенная молодая женщина вынула из сумки два билета по тысяче долларов и положила на стол, говоря:

— Я очень рада, что могу вам быть полезной в этом небольшом деле.

Пораженная, я смотрела на незнакомку, которую я никогда прежде не встречала и которая давала мне такую крупную сумму, даже не требуя расписки. Я могла только заключить, что это какая-то неизвестная миллионерша. Но позже выяснилось, что это не так. Чтобы прийти мне на помощь, ей пришлось накануне обратить в наличные все свои сбережения, состоявшие из

процентных бумаг и акций. Она пришла нас проводить среди многих других. Ее звали Руфью — той Руфью, которая сказала: «Твой народ будет моим народом, твои пути — моими путями». И такой Руфью она сделалась для меня на всю жизнь.

Так как нам запретили дальнейшее исполнение «Марсельезы» в Нью-Йорке, мы все запаслись маленькими французскими флажками, дети спрятали их в рукава, и я распорядилась, чтобы, когда раздастся гудок и пароход отойдет от пристани, все, стоя на палубе, дружно взмахнули флажками и запели «Марсельезу», что мы и сделали к своему большому удовольствию и к великому волнению всех представителей администрации, стоявших на пристани.

Мой друг Мэри, которая пришла меня проводить, не могла в последнюю минуту расстаться со мной, бросилась на пароход без вещей и без паспорта и стала петь вместе с нами, заявив: «Я еду с тобой.» И вот под пение «Марсельезы» мы покинули богатую, падкую на удовольствия Америку 1915 года и с моей кочующей школой отправились в Италию. Мы приехали туда в день большого возбуждения. Италия решила присоединиться к союзникам. Мы все были рады нашему возвращению и устроили прелестный деревенский праздник. Помню, что я обратилась к толпе окружавших нас любопытных крестьян и рабочих со словами: «Благодарите небо за то, что живете в такой прекрасной стране, и не завидуйте Америке. Здесь, на вашей удивительной родине, где небо вечно голубое, где растет виноград и оливковые деревья, вы богаче любого американского миллионера».

В Неаполе мы стали спорить о том, куда ехать дальше. Меня очень тянуло в Грецию, где я хотела расположиться до конца войны лагерем на Ко паносе. Но это пугало моих старших учениц, у которых были немецкие паспорта, и поэтому я решила искать приюта в Швейцарии, где представлялась возможность устроить целый ряд выступлений.

Мы приехали в Цюрих. В гостинице «Бар-дю-Лак» жила дочь известного американского миллионера. Я подумала, что это очень удобный случай пробудить в ней интерес к моей школе, и в один прекрасный день дети выступили перед ней на лужайке. Это было такое прелестное зрелище, что я не сомневалась в успехе, но когда я намекнула ей о том, что школа нуждается в поддержке, я услышала ответ: «Да, они прелестны, но совершенно меня не интересуют. Я интересуюсь только изучением собственной души». Она несколько лет занималась под руководством д-ра Юнга, последователя знаменитого Фрейда, и каждый день проводила несколько часов, записывая сны, виденные накануне.

Это лето, чтобы быть ближе к своим ученицам, я жила в отеле

«Бориваж» в Уши. У меня была хорошенькая комната с балконом, выходившим на озеро. Я наняла нечто вроде огромного барака, который прежде служил рестораном, и, завесив стены неизменным источником вдохновения — голубыми занавесами, превратила его в храм, где учила детей и сама танцевала по вечерам. Однажды мы имели счастье принимать у себя Вейнгартнера и его жену и целый вечер танцевали им Глюка, Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Со своего балкона я каждое утро видела собиравшихся на другом большом балконе, выходившем тоже на озеро, красивых юношей в блестящих шелковых кимоно. Они как будто группировались вокруг более зрелого человека — высокого блондина, напоминавшего фигурой Оскара Уайльда. Они мне улыбались со своего балкона и как-то вечером пригласили меня ужинать. Они оказались прелестными и талантливыми мальчиками — беженцами, среди которых за ужином выделялся красивый молодой герцог С. В другой раз они меня повезли вечером кататься на моторной лодке по поэтичному Женевскому озеру. В лодке искрилось шампанское. Мы высадились, как и часто впоследствии, в Монтре в четыре часа утра, и там нас накормил ужином загадочный итальянский граф. Этот зловеще-красивый, сухой человек спал целый день и вставал только ночью. Он часто вынимал из кармана маленький серебряный шприц и, пока все отворачивались, хладнокровно вонзал его в свою белую худую руку. После вспрыскивания его остроумие и веселость не знали пределов, но говорят, что днем он испытывал страшные страдания.

Забавное общество этих прелестных юношей развлекало меня в моем печальном и одиноком состоянии, но их очевидное безразличие к женским чарам укололо мое самолюбие. Я решила испробовать свои силы и действовала так успешно, что в одну прекрасную ночь уехала в сопровождении одной только молодой подруги-американки в чудном автомобиле с главарем этого содружества. Ночь была дивная. Мы мчались по берегу Женевского озера, пронеслись через Монтре, а я все восклицала: «Дальше, дальше!» — пока на заре мы не очутились во Вьеже. Я продолжала просить: «Дальше, дальше!» — и мы стали подниматься по вечным снегам Сен-Тотардского перевала.

Я смеялась, думая о прелестной свите молодых красавцев моего друга, когда они к своему изумлению узнают утром, что их султан исчез и к тому же с представительницей ненавистного пола. Я пустила в ход все способы обольщения, и вскоре мы спускались в Италию. Мы не останавливались, пока не приехали в Рим, а оттуда продолжали свой путь в Неаполь. Но при первом

взгляде на море меня охватило пылкое желание снова увидеть Афины.

Мы наняли маленький итальянский пароход, и одно дивное утро снова увидело меня поднимающейся по белым мраморным ступенькам Пропилеи к храму божественной и мудрой Афины. Мне отчетливо припомнилось мое последнее посещение этого места, ияне могла не почувствовать стыда при мысли о том, как далеко я ушла от мудрости и гармонии за этот промежуток времени и — увы! — ценой какого страдания я заплатила за порывы страсти.

Новые Афины волновались. В день нашего приезда стало известно о падении Венизелоса и считали возможным, что королевская семья станет на сторону кайзера. В тот вечер я устроила очаровательный обед, на котором в числе других гостей присутствовал секретарь короля, г. Мелас. Середину стола я украсила грудой красных роз, под которыми спрятала маленький граммофон. В том же зале обедала группа высокопоставленных лиц из Берлина. Внезапно за их столом раздался тост: «Да здравствует кайзер!» Тогда я раздвинула розы, пустила граммофон, который заиграл «Марсельезу», и провозгласила тост: «Да здравствует Франция!» Секретарь короля выглядел испуганно, но в душе радовался, так как был горячим сторонником дела союзников.

Тем временем большая толпа собралась в сквере перед открытыми окнами ресторана. Высоко держа над головой фотографию Венизелоса, сопровождаемая моей молодой американской подругой с граммофоном, продолжавшим храбро играть «Марсельезу», я вышла на середину сквера и под музыку маленького граммофона и пение восторженной толпы протанцевала гимн Франции. Затем я обратилась к толпе:

— У вас второй Перикл — великий Венизелос. Зачем вы позволяете его трогать? Почему вы не следуете на ним? Ведь он поведет Грецию к славе.

Потом мы двинулись процессией к дому Венизелоса и там пели под его окнами то «Марсельезу», то греческий гимн, пока солдаты с ружьями наперевес довольно невежливо не разогнали наш импровизированный митинг.

После этого случая, который доставил мне большое удовольствие, мы пароходом вернулись в Неаполь, а оттуда на автомобиле в Уши.

До самого конца войны я делала отчаянные попытки сохранить школу, думая, что после заключения мира нам удастся вернуться в «Бельвю». Но война все продолжалась, и мне пришлось занимать деньги у ростовщиков за пятьдесят процентов

годовых, чтобы платить за содержание школы в Швейцарии. С целью добыть средства яв 1916 году подписала контракт на турне по Южной Америке и отправилась в Буэнос-Айрес.

По мере того как эти воспоминания приближаются к концу, я все больше и больше сознаю невозможность правдиво описывать собственную жизнь или, вернее, жизнь всех тех различных существ, которыми я была. Случаи, которые, как мне кажется, продолжались целую вечность, занимают только несколько страниц; промежутки времени, которые казались тысячами лет страданий и боли и после которых я в целях простой самозащиты делалась совершенно другим человеком, здесь становятся короткими. Часто я задаю себе в отчаянии вопрос: кто из моих читателей будет в состоянии облечь в плоть тот скелет, который я ему представила? Я стараюсь писать правду, но она убегает и прячется от меня. Как ее найти? Будь я писателем и опиши свою жизнь в двадцати или более романах, я бы ближе подошла к истине. Но после романов мне пришлось бы писать историю артистки, совершенно независимую от всего прежде написанного. Моя артистическая жизнь и мысли об искусстве развивались да и развиваются до сих пор отдельным организмом, вполне свободным от того, что я называю своей волей.

И все-таки я продолжаю писать правду о том, что со мной происходило, но боюсь, что получится ужасная смесь. Я доведу начатое дело до конца, дам подробный отчет о своей жизни, хотя и сейчас уже мне слышатся голоса так называемых добродетельных женщин всего мира, говорящих: «Возмутительный рассказ. Все ее несчастья являются достойным возмездием за грехи». Но я не считаю себя согрешившей. «Женщина — зеркало», — говорит Ницше, а я только отражала людей и реагировала на силы, бравшие меня в плен и, как героиня «Метаморфоз» Овидия, меняла оболочку и характер согласно приказаниям бессмертных богов.

Когда пароход зашел в Нью-Йорк, ко мне присоединился Августин, очень недовольный моим намерением совершить одной во время войны такое далекое путешествие, и его общество явилось для меня большим утешением. На пароходе ехало также несколько молодых боксеров с Тедом Льюисом во главе, вставших ежедневно в шесть часов утра для тренировки и затем плававших в большом пароходном бассейне. Я тренировалась вместе с ними по утрам и танцевала им по вечерам, так что путешествие прошло очень весело и сравнительно быстро.

Байя был первым полутропическим городом, который мне пришлось посетить, и он показался мне полным тепла, зелени и влаги. Хотя постоянно лил дождь, женщины, гулявшие по улицам

в промокших коленкоровых платьях, совершенно облепивших их формы, казалось, не замечали его и относились с безразличием к тому, насколько их тела мокры. Тут впервые я также наблюдала равнодушие по отношению к цвету кожи. В ресторане, где мы завтракали, сидели за одним столом негр с белой девушкой, а за другим белый с негритянкой. В маленькую церковь женщины приносили крестить мулатов-детей.

В каждом саду цвели красные цветы, и весь город дышал любовью белой и черной расы. В некоторых кварталах Баии из окон притонов высовывались ленивые черные, белые и желтые женщины, но они не имели того запуганного и жалкого вида, которым отличаются *еепзогеб*тки крупных центров.

* * *

Через несколько дней после нашего приезда в Буэнос-Айрес мы отправились вечером в студенческое кабаре. Это была длинная прокуренная комната с низким потолком, в которой толпились смуглые молодые люди, обнимавшиеся с такими же смуглыми девицами и танцевавшие с ними танго. Я никогда еще не танцевала танго, но молодой аргентинец, служивший нам проводником, уговорил меня попробовать. С первого робкого шага я почувствовала, как все мое существо откликнулось на томный привораживающий ритм этого сладострастного танца, нежного, как длительная ласка, опьяняющего, как любовь под небом юга, опасного и жестокого, как манящий тропический лес. Таковы были мои ощущения, пока рука чернооkого юноши двусмысленно руководила мною, а взгляд его смелых глаз утопал в моем.

Меня узнали, студенты окружили меня. Они объяснили, что сегодня ночью аргентинский праздник свободы, и попросили меня протанцевать их гимн. Я всегда люблю доставлять удовольствие студентам, поэтому я согласилась и, выслушав перевод текста аргентинского гимна, завернулась в аргентинский флаг и попыталась изобразить им страдание когда-то порабощенной колонии и освобождение ее от ига тирана. Мой успех был головокружителен. Студенты, незнакомые с такого рода танцами, пришли в неистовый восторг и без конца требовали повторения гимна.

Я вернулась в гостиницу, раскрасневшаяся от успеха и очень довольная Буэнос-Айресом, но увы! — моя радость была преждевременна. На следующее утро, прочитав в газетах сенсационный отчет о моем выступлении у студентов, мой

импресарио пришел в бешенство и заявил, что считает наш контракт расторгнутым. Все лучшее общество Буэнос-Айреса возвращало в кассу свои билеты и собиралось бойкотировать мои спектакли. Таким образом, вечер, который привел меня в такой восторг, оказался роковым для моих гастролей.

Основной целью моего турне было собрать достаточно средств, чтобы содержать мою школу во время войны. Представьте же себе мое огорчение, когда я получила из Швейцарии телеграмму с сообщением, что вследствие ограничений военного времени мой перевод не дошел до назначения. Ввиду того, что хозяйка пансиона, где жили девочки, не могла содержать их бесплатно, им угрожала опасность быть выброшенными на улицу. С обычной стремительностью я уговорила Августина немедленно ехать в Женеву спасать моих учениц, не сообразив, что он увезет с собой все деньги и лишит меня возможности даже расплатиться в гостинице. Возмущенный импресарио уехал с опереточной труппой в Чили, и я вместе с сопровождавшим меня пианистом Дюменилем оказалась брошенной на произвол судьбы.

Публика здесь была холодная, тяжелая на подъем и не ценящая искусства. Единственный успех, выпавший на мою долю в Буэнос-Айресе, был в ту ночь, когда я в кабаре танцевала гимн свободе. Мы были принуждены бросить наши вещи в гостинице и отправиться в Монтевидео. К счастью, мои туники не представляли ни малейшей ценности для хозяев гостиниц!

В Монтевидео публика оказалась совершенно непохожей на аргентинскую и встречала нас с энтузиазмом, так что нам удалось поехать дальше в Рио-де-Жанейро. Мы приехали туда без денег и без вещей, но директор городского театра был настолько любезен, что немедленно назначил спектакли. Местная публика оказалась настолько понятливой и отзывчивой, что побуждала артиста дать лучшее, на что он способен.

Тут я познакомилась с поэтом Хуаном де Рио, кумиром всей молодежи; каждый юноша в Рио — поэт. Когда мы вместе шли по улице, нас провожала толпа молодых людей с криками: «Вива Хуан де Рио! Вива Айседора!»

* * *

Я оставила Дюмениля в Рио, где он произвел такой фурор, что не хотел уезжать, и вернулась в Нью-Йорк. Путешествие было одинокое и грустное, потому что я беспокоилась о школе. Несколько боксеров, ехавших со мной в Южную Америку, теперь

возвращались обратно в качестве лакеев на том же пароходе, на котором возвращалась я. Им не повезло, и они возвращались, ничего не заработав. Среди пассажиров был вечно пьяный американец по фамилии Вилкинс, который каждый вечер за обедом говорил лакею ко всеобщему ужасу: «Отнесите эту бутылку «Поммери» 1911 г. на столик Айседоры Дункан».

В Нью-Йорке меня никто не встретил, так как вследствие военного времени моя телеграмма не была доставлена. Случайно я вспомнила об Артуре Генте. Он был не только талантливым человеком, но и колдуном. Он бросил живопись ради фотографии; его снимки были жуткие и таинственные. Хотя его аппарат снимал живых людей, но выходили не сами позировавшие, а их образы в том виде, в каком он себе их представлял. Я изображена на многих его снимках, но на них запечатлено не мое физическое тело, а состояние моей души, на одном же из них даже сама душа. Он всегда был моим большим другом. и поэтому, оказавшись одна на пристани, я вызвала его по телефону. Каково было мое удивление, когда мне ответил знакомый голос, но не голос Артура. Это был Лоэнгрин, который по странному стечению обстоятельств как раз в это утро зашел навестить Генте. Узнав, что я одна на пристани, без денег и без друзей, он сейчас же вызвался прийти мне на помощь. Через несколько минут он приехал. Когда я увидела его высокую повелительную фигуру, во мне шевельнулось сознание уверенности и покоя. Мы очень обрадовались друг другу.

Читатель, вероятно, заметил из этой автобиографии, что я никогда не изменяла своим привязанностям и никогда не покинула бы ни одного из своих любовников, если бы они сохраняли мне верность. Как я их любила когда-то, так люблю их теперь и буду любить вечно. В том, что я порвала со многими, можно винить только легкомыслие мужчин и жестокость судьбы… Итак, после стольких бед я была счастлива снова встретить моего Лоэнгрина, еще раз приходящего мне на помощь. Он быстро выручил мои вещи из таможни, а затем повез меня в ателье Генте, откуда мы втроем отправились завтракать. Мы все были в восторге от нашей встречи и на радостях выпили много шампанского. Я чувствовала, что мое возвращение в Нью-Йорк принесет мне счастье. После завтрака Лоэнгрин помчался нанимать оперный театр «Метрополитен», а остаток вечера провел в рассылке приглашений всему артистическому миру на большой даровой парадный спектакль. Этот спектакль явился одним из самых чудных переживаний моей жизни. Присутствовали все художники, артисты и музыканты Нью-Йорка, и я испытала радость танцевать, не интересуясь состоянием

кассы. Конечно, как и всегда во время войны, я закончила программу «Марсельезой», после которой мне устроили грандиозную овацию в честь Франции и союзников.

Я рассказала Лоэнгрину о том, что отправила Августина в Женеву и что очень беспокоюсь за судьбу школы, и он со свойственным ему необыкновенным великодушием послал телеграфный перевод, достаточный для переезда школы в Нью-Йорк. Но увы, для части моих учениц деньги пришли слишком поздно: всех младших девочек родители взяли домой. Это раздробление школы, которой я посвятила многие годы работы, причинило мне сильную боль, но приезд Августина и шестерых старших детей меня немного утешил.

Настроение Лоэнгрина не изменялось, он был добр и великодушен, и ничто не казалось ему слишком хорошим для меня и для детей. Он нанял большое ателье в Медисон-сквер-гарден, и там мы работали каждый день. По утрам он возил нас на автомобиле далеко вниз по реке Гудзон. Он делал всем подарки, и благодаря магической силе денег жизнь на время стала прекрасной.

Но по мере того как проходила суровая нью-йоркская зима, здоровье мое стало ухудшаться, и Лоэнгрин предложил мне поехать на Кубу, дав мне в спутники своего секретаря. О Кубе у меня сохранились самые восхитительные воспоминания. Секретарь, молодой шотландец, был поэтом. Мое здоровье не позволяло мне танцевать, и мы провели три недели в Гаване, разъезжая по побережью и любуясь живописной природой. Помню один трагикомический случай. Приблизительно в двух километрах от Гаваны находился старинный дом, окруженный высокой стеной и занятый убежищем для прокаженных.

Стена не была достаточно высока, чтобы скрывать от нас ужасные человеческие маски, изредка глядевшие оттуда. Власти поняли, что такому учреждению не место рядом с модным зимним курортом, и решили перенести лепрозорий в другое место. Но прокаженные отказались подчиниться: они хватались за стены и за двери, влезали на крышу и крепко за нее цеплялись; прошел слух, что некоторые из них бежали в Гавану и там спрятались. Перевозка этого приюта для прокаженных напоминала мне странную, жуткую пьесу Метерлинка.

Я посетила однажды жилище представительницы одного из местных самых древних родов, имевшей странное пристрастие к мартышкам и гориллам. Сад при старом доме был наполнен клетками, где жили любимцы этой дамы. Ее дом был интересен для всех. Хозяйка принимала гостей с самым широким гостеприимством, встречая их с мартышкой на плече и держа

гориллу за руку. Звери эти были самыми ручными в ее коллекции, но другие, сидевшие в клетках, не были столь безобидны, и когда кто-нибудь проходил мимо них, трясли решетки, кричали и скалили зубы. Я спросила, не опасны ли обезьяны, на что хозяйка небрежно заметила, что они нисколько не опасны, если не считать того, что изредка вырываются из клеток и душат садовника. Это сообщение меня несколько взволновало, и я обрадовалась, когда наступило время отъезда. Самое странное — это то, что эта женщина была очень красива, с большими, выразительными глазами, на редкость умна я начитанна и собирала в своем доме все наиболее яркое из мировой литературы и искусства. Чем же объяснить ее нелепое пристрастие к мартышкам и гориллам? Она мне сообщила, что завещала всю свою коллекцию обезьян Пастеровскому институту для производства опытов лечения рака и туберкулеза, что, по-моему, является довольно странной манерой выражать свою любовь после смерти.

У меня осталось еще одно интересное воспоминание о Гаване. Как-то в праздник, когда все кабаре и кафе кипели жизнью, мы отправились около трех часов утра в типичное гаванское кафе после нашей ежедневной поездки по пампасам и берегу моря. Здесь был налицо обычный подбор морфиноманов, кокаинистов, курильщиков опиума, алкоголиков и других отверженных. Мы заняли место за маленьким столиком в накуренной, тускло освещенной комнате с низкими потолками. Мое внимание было привлечено бледным человеком с ввалившимися щеками, свирепыми глазами и видом существа, преследуемого галлюцинациями. Он дотронулся длинными тонкими пальцами до клавиш рояля, и к моему удивлению, раздался прелюд Шопена, сыгранный с удивительным пониманием и талантом. Я некоторое время слушала молча, а затем подошла к нему, но в ответ услышала только несвязные слова. Моя попытка заговорить привлекла внимание всего кафе, и когда я сообразила, что меня здесь никто не знает, меня охватило дикое желание протанцевать перед этой необыкновенной публикой. Завернувшись в свою накидку и указывая пианисту, что играть, я протанцевала несколько прелюдий. Постепенно посетители маленького кафе замолкли, и мои танцы не только привлекли их внимание, но и довели многих до слез. Пианист тоже очнулся от своего угара морфиниста и играл вдохновенно. Я танцевала до утра и когда уезжала, все меня обнимали. Я гордилась этим успехом больше, чем успехом в каком-либо театре, так как здесь встретила настоящую оценку моего таланта без помощи импресарио или рекламы.

Спустя немного времени я с моим другом поэтом села на пароход, шедший во Флориду, и высадилась в Пальм-Бич, откуда послала телеграмму Лоэнгрину, который присоединился к нам.

* * *

Самый тяжелый период большого горя не тогда, когда наносится первый удар, вызывающий нервное напряжение, парализующее скорбь, но период, наступающий значительно позже, когда окружающие начинают говорить: «О, она все забыла!» Или: «Теперь она успокоилась, она пережила». Когда во время веселого обеда ледяная тоска сжимает сердце или огненные когти страдания впиваются в горло. Лед и пламя, ад и отчаяние затемняют ум, и человек с бокалом шампанского в руке пытается заглушить свое горе, лишь бы забыться.

Я дошла теперь именно до этого состояния. Все друзья говорили: «Она забыла, она успокоилась», а между тем вид ребенка, входящего в комнату и зовущего мать, раздирал мое сердце на части и вселял в мое существо такую тоску, что мозг мог только стремиться к забвению и мечтать о Лете. И из этих нечеловеческих мук я пыталась создать новую жизнь, создать искусство. Как я завидую смирению монахинь, которые ночи напролет шепчут беспрерывные молитвы перед гробом чужого человека, Такой темперамент — мечта артистки, которая протестует: «Хочу любви, любви, хочу создать радость!» Какой ад!

Лоэнгрин привез с собой в Пальм-Бич американского поэта Перси Маккэй и однажды, сидя вместе с нами на веранде, набросал план будущей школы в соответствии с моими идеями. Он между прочим сообщил, что приобрел Медисон-сквер-гарден как место для школы. Хотя я восторженно относилась к проекту школы вообще, но не хотела начинать дело в таком широком масштабе во время войны, и это в конце концов до того рассердило Лоэнгрина, что по нашем возвращении в Нью-Йорк он с обычной несдержанностью уничтожил купчую на Гардене.

30

В начале 1917 года мне пришлось гастролировать в опере «Метрополитен». В то время я верила, как и многие другие, что осуществление надежд всего мира на свободу, возрождение и культуру зависело от победы союзников, и поэтому по окончании каждого спектакля я танцевала «Марсельезу», на которую публика смотрела стоя. Это не мешало мне включать в программу музыку Рихарда Вагнера, и я думаю, со мной согласятся все разумные люди, что бойкот немецких артистов во время войны был несправедливым и глупым.

В день, когда стало известно о русской революции, все поклонники свободы были охвачены радостной надеждой, и в тот вечер я танцевала «Марсельезу» в том настоящем первоначальном революционном духе, в каком она была написана. Вслед за ней я исполнила «Славянский марш», в котором слышны звуки императорского гимна, и изобразила угнетенного раба, согнувшегося под ударом бича. Этот диссонанс, вернее, расхождение жеста с музыкой, вызвал бурю в публике.

Странно, что на протяжении всей моей артистической карьеры меня больше всего привлекали отчаяние и бунт. В красной тунике я постоянно изображала революцию и звала униженных к оружию.

В вечер русской революции я танцевала со страшной, яростной радостью. Сердце мое разрывалось от счастья при мысли об освобождении тех, которые страдали, которых мучили и которые умирали за человечество. Не удивительно, что Лоэнгрин, смотревший каждый вечер из своей ложи на мои танцы, почувствовал в конце концов беспокойство и стал спрашивать себя, не превратится ли та школа красоты и изящества, покровителем которой он состоял, в нечто более опасное, угрожающее ему самому и его миллионам. Но мой художественный импульс был слишком силен, чтобы я могла с ним справиться даже ради удовольствия человека, которого любила.

Лоэнгрин устроил праздник в мою честь. Праздник начался обедом, а затем последовали танцы и изысканный ужин.

К этому торжеству он мне подарил чудное бриллиантовое ожерелье. Я никогда не носила драгоценностей, но он казался таким счастливым, что я разрешила ему надеть мне на шею бриллианты. Под утро, когда были выпиты дюжины бутылок шампанского и голова моя слегка кружилась от веселья и вина, мне пришла в голову несчастная мысль научить одного из гостей,

очень красивого юношу, танго апашей, как его танцевали при мне в Буэнос-Айресе. Внезапно железные тиски сжали мою руку. и, обернувшись, я увидела Лоэнгрина с лицом, перекошенным от бешенства.

Это был единственный раз, что я надела это роковое ожерелье, так как вскоре после описанного случая Лоэнгрин исчез в новом припадке бешенства. Я осталась одна с огромным неоплаченным счетом в гостинице и со всеми расходами по содержанию школы на своих плечах. Напрасно я молила Лоэнгрина о помощи — мне пришлось заложить знаменитое бриллиантовое ожерелье и расстаться с ним навсегда. Таким образом, я оказалась в Нью-Йорке без средств в конце сезона, когда всякая деятельность была почти невозможна. К счастью, у меня было горностаевое манто и поразительный изумруд, купленный Лоэнгрином у сына индусского магараджи, который проиграл все свои деньги в Монте-Карло. Говорили, что камень прежде украшал голову знаменитого идола. Я продала манто известной певице, изумруд — другой и наняла на лето виллу в Лонг-Бич, поселив там и своих учениц в ожидании осени, когда снова могло стать возможным делать деньги.

С моей обычной беспечностью, имея деньги на виллу, автомобиль и повседневную жизнь, я мало заботилась о будущем. Конечно, в том состоянии безденежья, в котором я находилась, было бы разумнее купить на вырученные от продажи мехов и драгоценностей средства некоторое количество процентных бумаг, но это, разумеется, мне не пришло в голову, и мы провели довольно приятное лето в Лонг-Бич, принимая, как и всегда, множество артистов. В числе гостей, живших у нас по несколько недель, находился талантливый скрипач Исаи, который по утрам и вечерам услаждал наш слух своей удивительной игрой. У нас не было ателье, но мы танцевали на берегу и устроили там специальный праздник в честь Исаи, который радовался, как мальчик.

Понятно, что после приятно проведенного лета я оказалась по возвращении в Нью-Йорк абсолютно без денег и после двух тяжелых месяцев принуждена была подписать контракт на гастроли в Калифорнии.

Во время этого турне я заехала в свой родной город. Перед самым приездом туда я узнала из газет, что скончался Роден. Мысль, что я больше никогда не увижу своего верного друга, меня так расстроила, что я долго плакала, и раньше, чем выйти из вагона и не желая показывать свои распухшие глаза репортерам, ожидавшим меня для интервью на перроне в Окланде, я закрыла лицо черной кружевной вуалью, что дало им повод написать на

следующий день, будто я окружаю себя тайной.

Прошло двадцать два года с тех пор, как я покинула Сан-Франциско в поисках счастья, и вы легко себе представите мое волнение при виде родного города, который настолько изменился после землетрясения и пожара 1906 года, что я с трудом его узнавала. Хотя избранная и богатая публика в театре «Колумбия» так же, как и критика, была очень любезна и оценила мое искусство по достоинству, я все-таки чувствовала себя неудовлетворенной, потому что хотела танцевать в широком масштабе для народа. Но когда я попросила предоставить мне для этой цели «Греческий театр», мне в этом было отказано. Причина отказа так и осталась мне неясна, и я не узнала, виноват ли был недостаточно ловкий антрепренер или просто ко мне лично отнеслись недоброжелательно.

В Сан-Франциско я снова встретилась со своей матерью, которую не видела уже несколько лет, потому что из непонятного чувства тоски по родине она упорно отказывалась жить в Европе. Она казалась очень постаревшей и утомленной. Однажды, завтракая вместе с ней и увидя наши лица в зеркале, я не могла не сравнить свое грустное лицо и изможденное лицо матери с лицами двух отважных путешественниц, отправившихся почти двадцать два года тому назад искать славы и богатства. Итон другое было найдено — чем же объяснить печальный результат? Вероятно, тем, что это — естественное явление в нашем несовершенном мире, где самые основы жизни враждебны человеку. Я встречала многих великих артистов, умных людей и так называемых баловней судьбы, но ни одного из них нельзя было бы назвать счастливым, хотя некоторые очень удачно притворялись счастливыми. Но под внешней личиной при некоторой наблюдательности можно было угадать ту же неудовлетворенность и страдание. Возможно, что так называемого счастья вообще не существует в мире. Бывают только его проблески.

Такие проблески я испытала в Сан-Франциско, когда встретила музыкального близнеца моей души — пианиста Гарольда Бауэра. К моему удивлению и восторгу, он заявил, что я больше музыкантша, чем танцовщица, и что мое искусство научило его понимать значение таинственных фраз Баха, Шопена и Бетховена. Мы провели две чудесных недели в удивительном артистическом сотрудничестве. Подобно тому, как я открывала ему тайны музыки, так и он мне указывал толкования моего творчества, о которых я раньше и не мечтала. Гарольд вел утонченную интеллектуальную жизнь, высоко возвышаясь над толпой. В отличие от других музыкантов, его кругозор не

ограничивался одной музыкой, но обнимал тонкое знание всякого искусства вообще и широкое интеллектуальное понимание поэзии и глубин философии. Когда встречаются два искателя высшего идеала в искусстве, их охватывает своего рода опьянение. Целыми днями, не прибегая к вину, мы жили в состоянии высшего опьянения, каждый нерв дрожал волнующей надеждой, и когда наши глаза встречались в осуществлении этой надежды, мы испытывали такую бурную радость, что восклицали, словно страдая от боли: «Воспринимали ли вы это место Шопена именно так?» — «Да-да, так и еще иначе. Я вам передам это в движении». — «Какое откровение! Теперь я вам его сыграю!» — «Какой восторг, какая высшая радость!»

Мы выступили вместе в театре «Колумбия» в Сан-Франциско, и этот спектакль я считаю одним из самых счастливых событий моей артистической карьеры. Встреча с Гарольдом Бауэром погрузила меня вновь в ту удивительную атмосферу света и радости, которая встречается только при общении со светлой душой. Я надеялась, что это будет продолжаться и дальше и что нам удастся открыть совершенно новую область музыкальных достижений. Но увы! — яне приняла в расчет стечения обстоятельств. Наше сотрудничество было прервано насильственно и окончилось драматическим прощанием.

Несмотря на восторг избранной публики, наполнявшей театр, я огорчалась, что мой родной город не откликается на призыв поддержать мой идеал будущей школы. В Сан-Франциско была уже целая толпа моих подражателей и несколько созданных по моему образцу школ, которыми жители, казалось, были вполне удовлетворены и даже, по-видимому, опасались, что мое более строгое искусство может вызвать нежелательные результаты. Мои подражатели были слащавы и приторны и проповедывали ту часть моего учения, которую называли «гармоничной и красивой», отбрасывая все более выдержанное и строгое, т. е. отказываясь от настоящего его значения и истинного источника.

31

В моей жизни встречаются дни, когда все кажется золотой сказкой, унизанной драгоценными камнями, полем, усеянным тысячей цветов, сияющим от любви и счастья утром, когда я не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг и радость жизни, когда мысль о школе кажется гениальным откровением и я начинаю верить в возрождение искусства. Но точно также в ней есть и дни отчаяния и тоски. После долгой борьбы за существование школы я со стесненным сердцем, одинокая и потерявшая надежду на будущее, решила вернуться в Париж, чтобы там попытаться достать средства путем продажи моего имущества. Мэри вернулась из Европы и вызвала меня но телефону из гостиницы «Бильтмор». Я описала ей мое положение, и она ответила: «Завтра уезжает мой большой друг Гордон Сельфридж. Если я его попрошу, он, наверное, купит вам билет».

Я была так утомлена борьбой и разочарованиями, постигшими меня в Америке, что с радостью согласилась на это предложение и на следующее утро покинула Нью-Йорк. Но меня преследовало несчастье, и в первый же вечер, гуляя по палубе парохода, где все огни из-за войны были потушены, я упала в люк глубиной в пятнадцать футов и довольно серьезно разбилась. Гордон Сельфридж очень галантно предоставил в мое распоряжение на все путешествие свою каюту и самого себя и был во всех отношених добр и очарователен. Я ему напомнила свою первую встречу с ним двадцать лет тому назад, когда голодная девочка явилась к нему просить в кредит платье для выступления.

Таким было мое первое знакомство с этим решительным человеком. Меня поразило, насколько у меня взгляд на жизнь отличается от взгляда тех художников и мечтателей, которых я знала, словно он принадлежал к другому полу; вероятно, все мои любовники были с женственными наклонностями. Я всегда вращалась в обществе людей более или менее неврастеничных, то чрезмерно мрачных, то под влиянием вина возбужденных неестественной радостью, в то время как Сельфридж отличался необыкновенно ровным и веселым настроением, что меня очень удивляло, потому что он никогда не притрагивался к вину, а я никогда не могла понять, как можно находить жизнь саму по себе приятным явлением. Я всегда считала, что будущее сулит только эфемерные радости, вызванные любовью или искусством, а этот человек находил счастье в самом жизненном процессе.

Я приехала в Лондон все еще больная после своего падения. У меня не было денег для поездки в Париж, я сняла поэтому

квартиру на улице Дьюк и послала телеграммы многим друзьям в Париже, на которые не получила ответов, вероятно, вследствие военного положения. Я провела без денег несколько страшных и мрачных недель в этой унылой квартире. Одинокая и больная, я сидела по ночам у темного окна, вспоминая свою закрытую школу, думая о том, что война никогда не кончится, и следя за налетами аэропланов в надежде, что бомба избавит меня от затруднений. Самоубийство заманчиво. Я часто о нем думала, но меня всегда что-то удерживало. Я думаю, что если бы яд продавался в аптеках так же свободно, как противоядие, интеллигенция всего мира в один прекрасный день исчезла бы с лица земли.

В отчаянии я телеграфировала Лоэнгрину, но не получила ответа. Импресарио устроил несколько гастролей для моих учениц, собиравшихся делать карьеру в Америке. Впоследствии они выступали в качестве танцовщиц Айседоры Дункан, но я не получала никакого дохода от этих спектаклей и вскоре очутилась в отчаянном положении. Случайно я познакомилась с одним милым французским дипломатом, который сжалился надо мной и повез меня в Париж. Там я поселилась в «Палэ д'Орсэ» и обратилась за необходимыми средствами к ростовщикам.

Каждое утро в пять часов нас будил громкий гул разрыва снаряда «Большой Берты» — подходящее начало для мрачного дня, полного грозных вестей с фронта. Смерть, кровопролитие и человеческая бойня отравляли дни, а по ночам все со страхом ждали налета неприятельских аэропланов. Единственным отрадным воспоминанием этого времени является встреча со знаменитым пианистом Гарросом в доме наших общих друзей, где он играл Шопена, а я танцевала. Он меня проводил пешком домой из Пасси до Кэ д'Орсэ. Мы шли во время воздушного налета и следили за аэропланами, что не помешало мне танцевать для своего спутника на площади Согласия. Он сидел на краю фонтана, аплодируя мне, и падавшие невдалеке от нас ракеты освещали его грустные темные глаза. В ту ночь он мне признался, что мечтает о смерти и ищет ее. Спустя короткое время ангел смерти действительно унес его далеко-далеко от этой жизни.

Дни проходили уныло и монотонно. Я с радостью стала бы сестрой милосердия, но понимала бесполезность прибавить лишнего человека к длинной очереди желавших ухаживать за ранеными. Поэтому я решила вернуться к искусству, хотя на сердце лежала такая тяжесть, что, казалось, ноги не выдержат ее. У Вагнера есть песня, которую я люблю, «Ангел», и в ней говорится о душе, поверженной в полное горе и уныние, к

которой является ангел света. Такой светлый ангел пришел ко мне в те мрачные дни в образе Вальтера Руммеля, пианиста, введенного в мой дом одним из моих друзей. Увидев его, я подумала, что это молодой. Лист, вышедший из рамы портрета. Он был высок, строен, с каштановым локоном, ниспадавшим на лоб, и с глазами, похожими на глубокие, ослепительно сверкающие колодцы. Я слушала его игру и назвала своим Архангелом. Мы работали в фойе театра, которое Режан любезно предоставила в мое распоряжение.

Читатель не должен забывать, что эти записки обнимают целый ряд лет и что когда меня охватывала новая любовь к простому смертному, ангелу или демону — безразлично, я верила, что это единственный, которого я так долго ждала, и что эта любовь окончательно меня возродит. Но, вероятно, любовь всегда порождает такую уверенность. Каждое увлечение моей жизни могло бы послужить темой для романа, который бы имел хороший конец и продолжался бы вечно, как кинематографическая лента со счастливым исходом!

Летом мы стали искать тихого уединения на юге. Около порта Сен-Жан на мысе Феррато мы поселились в малонаселенной гостинице и устроили ателье в пустом гараже, где целый день и вечер мой друг играл божественные мелодии, а я танцевала. Счастливое время настало для меня, время, озаренное присутствием моего Архангела, полное музыки и в непосредственной близости от моря. Это походило на мечты католиков о жизни в раю после смерти. Жизнь — маятник: чем глубже страдание, тем сильнее счастье; безумная печаль сменяется еще более безумным порывом радости. Изредка мы покидали наше убежище, чтобы дать благотворительный спектакль в пользу обездоленных или концерт для раненых, но большей частью оставались одни, и через музыку и любовь, через любовь и музыку моя душа возносилась к высшему блаженству.

В соседней вилле жил почтенный священник со своей сестрой г-жой Жиральди; сам он когда-то был миссионером в Южной Африке. Они были нашими единственными друзьями, и я часто им танцевала под вдохновенную и возвышенную музыку Листа. К концу лета мы нашли ателье в Ницце и, когда было заключено перемирие, переехали в Париж.

Война кончилась. Мы наблюдали шествие в честь победы под Триумфальной аркой и кричали: «Мир спасен!» Мы все на время стали поэтами, но увы! — подобно тому, как поэт очнулся от своих грез, чтобы искать хлеба с сыром для возлюбленной, так и мир пришел в себя и погрузился в коммерческие расчеты.

Мой Архангел взял меня под руку и повел к «Бельвю». Дом

разваливался, но все-таки, подумали мы, почему не привести его в порядок? И провели несколько месяцев в бесплодной погоне за средствами для осуществления этой невозможной затеи. Наконец мы убедились, что это невыполнимо, и согласились на предложение французского правительства, которое хотело купить дом, считая, что он подходит для фабрики удушливых газов в предвидении будущей войны. Я уже видела превращение моего «Дионисиона» в госпиталь и теперь должна была примириться с мыслью, что он станет орудием подготовки будущих войн. Потеря «Бельвю» была для меня большим ударом…

Однако вместо того чтобы удовлетвориться найденным счастьем, я снова загорелась желанием приняться за создание школы и с этой целью телеграфировала своим ученицам в Америку. По приезде их я собрала вокруг себя нескольких верных друзей и сказала: «Поедем все вместе в Афины, полюбуемся на Акрополь и подумаем, нельзя ли основать школу в Греции». Как извращают человеческие побуждения! В 1927 году один журналист писал об этой поездке в The New Yorker: «Ее экстравагантность не знала пределов. Она повезла съехавшихся к ней гостей сперва в Венецию, а затем в Афины».

Горе мне! Приехали мои ученицы, молодые, хорошенькие и преуспевающие. Мой Архангел взглянул на них и пал — пал к ногам одной из них. Как описать путешествие, ставшее для меня Голгофой любви? Я увидела зарождающуюся симпатию впервые в гостинице на Лидс, где мы провели несколько недель, убедилась в ней на пароходе, направлявшемся в Грецию, и эта уверенность в конце концов мне навсегда отравила счастье любоваться Акрополем при лунном свете — вот отдельные этапы этой Голгофы любви.

В Афинах все, казалось, благоприятствовало существованию школы. Благодаря любезности Венизелоса в мое распоряжение был отдан «Запион». Там я устроила ателье и каждое утро работала со своими ученицами, пытаясь их вдохновить на создание танцев, достойных Акрополя. Мой план был подготовить тысячу детей для участия в грандиозных празднествах в честь Диониса на стадионе.

Мы ежедневно отправлялись в Акрополь, и, вспоминая свое первое посещение его в 1904 году, я глубоко волновалась при виде юных тел моих учениц, осуществлявших своими танцами часть моей мечты, взлелеянной шестнадцать лет тому назад. Теперь все словно предвещало возможность устройства школы в Афинах, теперь, когда война была счастливо закончена. Ученицы, приехавшие из Америки с некоторыми неприятными мне привычками и манерами, быстро освободились от них под

влиянием голубого неба Афин, вдохновляющих гор и моря и великого искусства.

Однажды вечером, при заходе солнца, когда мой Архангел, все более и более принимавший человеческий облик, заканчивал марш из «Гибели богов» и последние аккорды замирали в воздухе, точно растворяясь в огненных лучах, откликались эхом на Гиметтусе и тонули в море, я внезапно подметила встречу двух взоров, одинаково горевших в огненном закате. Меня охватил такой бурный порыв ярости, что я испугалась. Я ушла из дому и всю ночь бродила по холмам Гиметтуса во власти безумного отчаяния. Конечно, и прежде в моей жизни меня посещала ревность, чудовище с зелеными глазами, клыки которого причиняют такую нестерпимую боль, но никогда еще мною не обуревала такая бешеная страсть, как в этот раз. Я любила ивто же время ненавидела их обоих.

Теперь я понимала тех несчастных, которые убивают возлюбленного, толкаемые на преступление невыразимыми муками ревности. Больше того, я им сочувствовала. Чтобы избежать такой беды, я повела небольшую группу своих учениц и своего друга Эдуарда Штейхена по замечательной дороге мимо древних Фив в Халкис, где увидела те самые золотые пески, на которых, по преданию, танцевали девушки Эвбеи в честь рокового брака Ифигении.

Но с той поры все величие Эллады не могло вытеснить из моей души огненного демона, который мною овладел, беспрестанно вызывая в моем уме образы влюбленных, оставшихся в Афинах, грыз мои внутренности и разъедал мозг, точно кислота. Когда мы возвращались, вид их обоих, сиявших молодостью и взаимным влечением, на длинной террасе, тянувшейся перед окнами наших спален, довершил мое горе. Теперь я не понимаю такого наваждения, но тогда оно опутало меня, словно сетями, и от него нельзя было освободиться, как нельзя предотвратить скарлатину или оспу. И все-таки я продолжала заниматься с ученицами и строить планы создания школы в Афинах, планы, которым все как будто улыбалось. Венизелос очень им покровительствовал, а афинское население восторженно приветствовало.

Однажды мы получили приглашение на большую манифестацию в честь молодого короля и Венизелоса, которая состоялась в Стадионе. Пятьдесят тысяч человек приняло участие в этом торжестве, так же, как и все греческое духовенство без исключения. Молодой король и Венизелос при своем появлении в Стадионе были встречены бурными овациями. Шествие патриархов в их шитых золотом негнущихся парчевых одеждах,

ослепительно сверкавших на солнце, было поразительным по красоте зрелищем.

Когда я вошла в Стадион, задрапированная нежными складками пеплума и сопровождаемая группой оживших статуэток Танагра, ко мне приблизился приветливый Константин Мелас и поднес мне лавровый венок, говоря:

— Вы, Асейдора, приносите нам бессмертную красоту Фидия и возрождаете век величия Эллады.

— Помогите же мне обучить тысячу танцовщиц, чтобы они своими дивными плясками в Стадионе привлекли сюда весь мир и вызвали бы всеобщее удивление и восторг, — отвечала я.

Сказав эти слова, я заметила, что Архангел восхищенно держит свою любимицу за руку, и на мгновение успокоилась.

Что значат мелкие страсти по сравнению с моими великими грезами, думала я и озаряла их светом любви и прощения. Но в ту же ночь, увидев в лунном свете их прильнувшие друг к другу силуэты, я опять стала жертвой жалкого человеческого чувства и так была им потрясена, что, как зверь, ушла и бродила целую ночь. Долго я просидела на скале Парфенона, думая повторить гибельный прыжок Сафо.

Нельзя словами описать мучительную страсть, которая меня пожирала, и нежная красота окружавшей меня природы только усиливала мои страдания. Казалось, из положения не было выхода. Разве возможно было допустить, чтобы земная страсть разбила бессмертные планы великой совместной музыкальной работы? С другой стороны, я не могла прогнать мою ученицу из школы, где она получила воспитание, а наблюдать за их растущей с каждым днем любовью, не высказывая своего горя, казалось мне невыносимым. Я попала в тупик. Оставалось одно — отрешиться от всего этого и подняться на духовные высоты. Однако, несмотря на мое отчаяние, аппетит у меня, под влиянием постоянной гимнастики танца, продолжительных горных прогулок и ежедневного купания в море, был отличный, и я с трудом могла побороть земные желания.

Так я и жила, стараясь учить своих девочек красоте, спокойствию, философии и гармонии, в то время как сама извивалась в тисках смертельной муки. Я не знаю, чем разрешить такое положение вещей. Все, что мне оставалось — это прикрыться щитом преувеличенной веселости и пытаться потопить свои страдания в дурманящих греческих винах по вечерам, за ужином у моря. Конечно, существовали и более благородные пути, но я не была в состоянии их отыскать. Спас положение укус злобной обезьяны, укус которой оказался роковым для молодого короля.

Несколько дней он находился между жизнью и смертью, а затем пришла весть о его кончине, которая вызвала такие народные волнения, что Венизелосу и его партии пришлось отказаться от власти. Нам тоже пришлось уехать, так как мы приехали в Грецию в качестве гостей павшего министра и таким образом стали жертвами политических осложнений. Все деньги, истраченные на перестройку Копаноса и оборудование ателье, оказались потерянными. Мы вынуждены были отказаться от мечты создать школу в Греции и сесть на пароход, чтобы ехать через Италию во Францию.

Какие странные мучительные воспоминания остались у меня от этого последнего посещения Афин в 1920 году, от возвращения в Париж, от непрекращающихся мук, от последнего прощания и отъезда Архангела и от расставания с моей ученицей, тоже покинувшей меня навсегда. Оказалось, что хотя жертвой этих событий была я, ученица моя думала обратное и горько упрекала меня за мои чувства и отсутствие смирения.

Когда наконец я осталась одна в доме на Рю-де-ла-Помп с Бетховенским залом, приготовленным для музыкальной работы моего Архангела, мое отчаяние не могло быть выражено словами. Я не могла выносить вида дома, в котором была так счастлива, и меня тянуло бежать от него и скрыться от мира, так как в ту минуту я верила, что мир и любовь для меня больше не существуют. Как часто в жизни приходишь к этому заключению! Но если бы мы знали, что лежит за первым холмом жизни, нам стала бы видна цветущая долина полного счастья. Особенно возмущает меня вывод многих женщин, которые считают, что после сорокалетнего возраста любовь несовместима с достоинством человека. Ах, какая это ошибка.

Весной 1921 года я получила телеграмму от советского правительства:

«Одно только русское правительство может вас понять. Приезжайте к нам; мы создадим вашу школу».

Откуда явилась ко мне эта весть? Из того места, которое Европа считала «преисподней» — от советского правительства в Москве. И, оглядев свой пустой дом, где не было ни Архангела, ни надежды, ни любви, я ответила:

— Да, я приеду в Россию и буду учить ваших детей, если вы мне дадите ателье и все нужное для работы.

Ответ был положительный, и в один прекрасный день я очутилась на пароходе, направлявшемся по Темзе из Лондона в Ревель, откуда я должна была ехать в Москву. Перед отъездом из Лондона я зашла к гадалке, которая сказала: «Вы едете в далекое путешествие. Вас ждут странные переживания, неприятности. Вы

выйдете замуж…»

Но при слове «замуж» я прервала ее слова смехом. Я? Я всегда была против брака и никогда не выйду замуж. «Подождите, увидите», — возразила гадалка.

По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир. Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я верила, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, отчаявшегося в попытках претворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась ступить в идеальное царство коммунизма. Я не взяла с собой туалетов, так как в своем воображении должна была провести остаток жизни, одетая в красную фланелевую блузку среди товарищей, одинаково просто одетых и преисполненных братской любовью. По мере того как пароход уходил на север, я с жалостью и презрением вспоминала старые привычки и основы жизни буржуазной Европы, которую покидала. С этого времени я должна была стать товарищем среди товарищей и выполнять обширную работу для блага человечества. Прощай, неравенство, несправедливость и жестокость старого мира, которые сделали создание моей школы невозможным.

Когда пароход наконец бросил якорь, сердце мое сильно забилось. Вот вновь созданный прекрасный мир! Вот мир равенства, в котором осуществилась мечта, родившаяся в голове Будды, мечта, прозвучавшая в словах Христа, мечта, являвшаяся конечной целью всех великих художников, мечта, которую Ленин великим чудом воплотил в действительность. Я вступала в эту жизнь, чтобы мое существование и работа стали частью ее славных обетований.

Прощай, Старый Мир! Привет тебе, Мир Новый!

Есенин и Дункан

В данной части книги представлены воспоминания современников Есенина и Дункан, ставших вольными или невольными свидетелями зарождения, расцвета и угасания необыкновенной истории любви. Воспоминания людей, живших почти сто лет назад, в другом веке, другом государстве, разных по взглядам на мир, на любовь, на поэзию. Зачастую небеспристрастные, но всегда интересные и драгоценные для ныне живущих. И от этого «палитра» отношений между двумя великими представляется яркой ив то же время раскрашенной полутонами, а герои — земными людьми, любящими, страдающими, подчас ошибающимися.

Первое знакомство Айседоры Дункан и Сергея Есенина, по воспоминаниям ближайшего друга Есенина и поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа, произошло на вечеринке у известного живописца и скульптора Георгия Якулова, давнего приятеля Сергея Александровича, 3 октября 1921 года:

«Сидели в парке Эрмитажа. Подошел Жорж Якулов.

— Хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?

— Где она?.. Где? — Есенин даже привскочил со скамьи.

И как ошалелый, ухватив Якулова за рукав, стал таскать по Эрмитажу из Зеркального зала в Зимний, из Зимнего в Летний. Ловили среди публики, выходящей из оперетты, с открытой сцены.

Есенин не хотел верить, что Дункан ушла. Был невероятно раздосадован и огорчен без меры.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.

Месяца три спустя Якулов устроил вечеринку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный, мягкими складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Angel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

На другой день мы были у Дункан.

Она танцевала нам танго «Апаш».

Апашем была Изадора Дункан, а женщиной — шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами сдавливала горло. Беспощадно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин был ее повелителем, ее господином. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней».

Айседора Дункан, прилетевшая по приглашению Советского правительства, к тому времени уже была всемирно известной балериной, танцующей в необычном жанре, изобретенном ею. Ее манера, ее внешность, ее личность воспринимались людьми двояко.

Итак, они встретились, в московских кафе все чаще можно было увидеть эту пару: красивая, чуть уже стареющая танцовщица и светловолосый обаятельный молодой человек, и это стало главной темой для обсуждениях в артистических кругах.

«Улыбка у Есенина была светлая, притягательная, а смех — детский, заразительный. Когда Сергей Александрович смеялся, окружающим хотелось мягко и нежно улыбаться, будто глядишь на проказы милого и счастливого ребенка.» (По воспоминаниям писательницы и редактора Анны Берзиной.)

Современник Есенина, писатель Матвей Ройзман с уважением и искренней радостью делится впечатлением от разговора с Есениным о Дункан и об их отношениях.: «Сергей рассказывал об Айседоре с любовью, с восторгом передавал ее заботу о нем. Думается, Есенин своим горячим молодым чувством пробудил в Айседоре вторую молодость. Конечно, не обошлось в этих отношениях и без возникшего у Дункан материнского чувства по

отношению к Сергею, который был намного моложе ее. Кстати, когда в разговоре зашел вопрос об ее возрасте, он ответил, что она старше его лет на десять. Я с умыслом упоминаю об этом, потому что в тот год Айседоре (если взглянуть хотя бы на ее фотографию) можно было дать намного меньше лет, чем было на самом деле. Я уже писал о том, как Есенин любил детей. В этом сказывалась тоска по своим детям — Косте и Тане. Скорбела и Дункан по своим детям: сыну Патрику и дочери Дердре, погибшим в автомобильной катастрофе. Она работала с детьми, а ведь делать это без любви к ним нельзя. И эта обоюдная любовь к детям сближала Сергея и Айседору. Конечно, их взаимному чувству способствовало и то, что они по существу, как все великие люди, были одинокими, да еще по натуре бунтарями. С умилением рассказывал мне Сергей, как Изадора обожает своих маленьких учениц и считает каждый свой урок праздником».

Впрочем, ни об одной любовной паре не было столь противоречивых воспоминаний, как об Айседоре Дункан и Сергее Есенине. Разница в возрасте, социальном статусе, языке, взглядах на жизнь — все эти факторы вызывали бурный интерес общественности и злых языков, которые нашли в необычном союзе повод для новых сплетен.

В отличие от добродушной характеристики Городецкого, поэт Надежда Вольпин, когда-то близкая подруга Сергея Есенина, не столь однозначна в выводах. Она считала отношение Есенина к Дункан излишне расчетливым, при этом упрекая в мнительности: «В страстную искреннюю любовь Изадоры я поверила безоглядно. А в чувство к ней Сергея?

Сильное сексуальное влечение? Да, возможно. Но любовью его не назовешь. К тому же мне, как и многим, оно казалось далеко небескорыстным. Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу. Если и был он влюблен, то не так в нее, как во весь антураж: тут и увядающая, но готовая воскреснуть слава. И мнимое огромное богатство Дункан (он получает о нем изрядно перевранный отчет), и эти чуть не ежевечерние банкеты на Пречистенке для всей театрально-литературной братии. И шумные романы её в недалеком прошлом. И мужественно переносимая гибель (насильственная, если верить молве) двух ее детей. Если и живет в нем чувство к этой стареющей женщине, то по-своему великолепное, но очень уж опосредованное. И ещё добавлю: не последним было здесь и то, что Есенин ценил в Айседоре Дункан яркую, сильную личность. Думая так, я вспоминала ещё весной двадцатого года сказанные мне Сергеем слова: «Ведь там, где нет личности, там невозможно искусство».

Поэт и мемуарист Рюрик Ивнев так воспринимал Айседору Дункан: «Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один — образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображения, другой — образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.

Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных (мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем — Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе. Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:

— Она все понимает, все, ее не проведешь».

Ко времени встречи с Дункан Есенин был членом поэтической группы имажинистов. Поэт Сергей Городецкий так вспоминает о тогдашних устремлениях Сергея Александровича: «Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уйальдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни». И кто знает, не была ли отчасти подпитана любовь к Дункан стремлением простого в прошлом крестьянского паренька обладать сердцем знаменитой иностранки.

Да и ведь недаром в своей книге «Роман без вранья» Анатолий Мариенгоф пишет: «Есенин пленился не Айседорой Дункан, а ее мировой славой. Он и женился на ее славе, а не на ней — отяжелевшей, но красивой женщине, с искусно окрашенными в темно-красный цвет волосами. Ему было лестно ходить с этим «мировым именем» по Петровке, появляться в кафе поэтов, на театральных премьерах и слышать за своей спиной шепот, в котором сочетались слова: «Дункан — Есенин. Есенин — Дункан».

Однако его вдова, актриса Анна Никритина, в гостях у которой часто бывали Есенин и Айседора, пишет (в машинописи своих воспоминаний):

«Сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина.

весь вечер они не расставались и. уехали оттуда мы уже вдвоем с Мариенгофом, а Есенин уехал с Дункан. Это как удар молнии, удар судьбы. Его все в ней полонило — и страсть, и откровенность, и ее слава. Всемирно известная Изадора Дункан влюбилась в него. В ее славе тоже было что-то дополнительно возбуждающее.»

Франц Элленс, бельгийский писатель, хорошо знакомый и с Айседорой Дункан, и с Сергеем Есениным, предлагает свой взгляд на отношения двух знаменитых людей искусства. В его знаменитом эссе «Сергей Есенин и Айседора Дункан» литератор, с одной стороны, подчеркивает подлинность поэтического таланта Сергея Александровича, а с другой — ощущает всю трагичность отчаянного и непредсказуемого романа Есенина и Дункан:

«Я имел также возможность с некоторым смущением наблюдать этот союз молодого русского поэта и уже клонившейся к закату танцовщицы, показавшийся мне сначала, как я уже говорил, почти чудовищным. Я думаю, что ни одна женщина на свете не понимала свою роль вдохновительницы более по-матерински, чем Айседора. Она увезла Есенина в Европу, она, дав ему возможность покинуть Россию, предложила ему жениться на ней. Это был поистине самоотверженный поступок, ибо он был чреват для нее жертвой и болью. Мне вспоминается вечер, когда одновременно раскрылись и драма этих двух людей, и подлинный характер Есенина.

Я пришел, когда они были еще за столом, и застал их в каком-то странном и мрачном расположении духа. Со мной едва поздоровались. Они были поглощены друг другом, как юные любовники, и нельзя было заметить, что они находятся в ссоре. Несколько мгновений спустя Айседора мне рассказала, что слуги отравляют им жизнь, что этим вечером здесь разыгрались отвратительные сцены, которые привели их в смятение. Поскольку его жена показала себя более раздраженной, чем обычно, и утратила то замечательное хладнокровие, то чувство меры, тот ритм, который был основой и ее искусства, и самой ее натуры, что по обыкновению так хорошо воздействовало на поэта, Есенин решил ее подпоить. Никаких дурных намерений у него не было. <.> Я все яснее читал на лице танцовщицы отчаяние, которое обычно она умела скрывать под спокойным и улыбающимся видом. Отчаяние выражалось также и в чисто физическом упадке ее сил.

Внезапно Айседора снова подобралась и, сделав над собой усилие, пригласила нас пройти в ее студию — в тот огромный зал, где находилась эстрада и вдоль стен стояли диваны с подушками. Она попросила меня прочитать только что

законченный мной французский перевод «Пугачева», строки которого — это и действующие лица, и толпы народа, ветер, земля и деревья. Я прочитал, хотя и неохотно, потому что боялся испортить своей робостью и неважной дикцией великолепную поэму, одновременно резкую и нежную. Айседора, очевидно, не была удовлетворена моей декламацией, потому что тотчас же обратилась к Есенину с просьбой прочитать поэму по-русски. Какой стыд для меня, когда я его услышал и увидел, как он читает! И я посмел прикоснуться к его поэзии! Есенин то неистовствовал, как буря, то шелестел, как молодая листва на заре. Это было словно раскрытие самих основ его поэтического темперамента. Никогда в жизни я не видел такой полной слиянности поэзии и ее творца. Эта декламация во всей полноте передавала его стиль: он пел свои стихи, он вещал их, выплевывал их, он то ревел, то мурлыкал со звериной силой и грацией, которые пронзали и околдовывали слушателя.

В тот вечер я понял, что эти два столь несхожих человека не смогут расстаться без трагедии».

Илья Шнейдер, автор известных мемуаров «Встречи с Есениным», с теплотой вспоминает о начале отношений Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Необычайно романтичное начало их бурного романа пока не предвещало последующей разрушительной страсти: «Было за полночь. Я спросил Айседору, собирается ли она домой. Гости расходились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Такси в Москве тогда не было. Я оглянулся: ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженный цугом. Есенин сел с нею рядом.

— Очень мило, — сказал я. — А где же я сяду? Айседора смущенно и виновато взглянула на меня и, улыбаясь, похлопала ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал. Потом похлопал по своим коленкам. Он не знал ни меня, ни того, почему Айседора приехала на вечер со мной, ни того, почему мы уезжаем вместе. Может, в своем неведении даже. приревновал Айседору.

Я пристроился на облучке, почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айседоры. Пролетка тихо протарахтела по Садовым, уже освещенным первыми лучами солнца, потом за Смоленским свернула и выехала не к Староконюшенному инек Мертвому переулку, выходящему на Пречистенку, а очутилась около большой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было

совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевести что-то.

Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айседорой в пролетке. Дункан, не выносившая медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но возница, дернув вожжами, причмокнул и, протянув знаменитое «но-о-о», успокоился. Айседора снова попросила поторопить его. Вся «процедура» повторилась с прежним результатом.

— Вы не то говорите ему, — рассердилась Айседора. — Вот Езенин (она так произносила его фамилию) говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро.

Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он-де «не кислое молоко везет», и даже поинтересовался, «не крысу ли он удавил на вожжах», но и это не помогло.

— Нет-нет, — сказала Айседора, — это не те слова. Езенин говорит что-то очень короткое, энергичное. Я не могу вспомнить. Ну, вот как при игре в шахматы. После этого они сразу гонят лошадей.

Помнится, я все же не рискнул применить этот «лексикон» в присутствии Айседоры.

Но в то первое утро ни Айседора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.

— Эй, отец! — тронул я его за плечо. — Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, третий раз едешь.

Есенин встрепенулся и, узнав в чем дело, радостно рассмеялся.

— Повенчал! — раскачивался он в хохоте, ударяя себя по колену и поглядывая смеющимися глазами на Айседору.

Она захотела узнать, что произошло, и, когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула:

— Mariage. [2]

Наконец извозчик выехал Чистым переулком на Пречистенку и остановился у подъезда нашего особняка.

Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались.

Айседора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь:

— Иля Илич… ча-ай?

— Чай, конечно, можно организовать, — сказал я, и мы все вошли в дом».

Также Шнейдер подробно описывает совместную поездку Дункан и Есенина к юным «дунканятам» — воспитанникам

Айседоры:

«Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвинове, машина то и дело стала останавливаться на проселке и наконец, въехав уже в сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров, и я предложил идти пешком. Таки сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев.

Это розовое сиянье быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно несших в хрустальном гробу Белоснежку. Факелы приближались и, внезапно ринувшись прямо на нас, образовали огненный круг, шумевший, и кричавший, и осветивший радостные лица и сияющие глаза «дунканят» в их красных туниках и со смоляными факелами в руках. Они направились навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к ним их Айседору.

А она, как завороженная, смотрела расширившимися, счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья.

Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айседоре и Есенину: потащили их в парк.

Взволнованно смотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопая руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом.

В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать».

Образно, коротко ивто же время емко высказана причина неизбежного соединения двух судеб исследователями творчества Есенина — Станиславом и Сергеем Кунаевыми: «Их встреча была, что называется, предрешена. С первого мгновения они ощутили не просто взаимную душевную близость. Нет, это была встреча особей одной человеческой породы, одного типа. Оба искали того, «чего в мире нет», строили свою жизнь по образцу выстроенных ими воздушных замков. И потянулись они друг к другу не столько как мужчина и женщина, сколько как два человека схожего душевного склада. Каждый ценил друг в друге

нечто высшее, чем собственно мужское или женское. Они были очарованы друг другом с первой же минуты».

«Скажу наперед, что по всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли». (Сергей Городецкий — поэт, беллетрист, переводчик.)

Уже после ухода Есенина от Дункан, принимая поэта у себя в дома, Галина Бениславская, литературный секретарь Есенина, так писала в своих подробных, хотя во многом и пристрастных воспоминаниях:

«Я стала спрашивать о Дункан. Какая она, кто и т. д. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил также о своем отношении к ней: «Была страсть, и большая страсть, целый год это продолжалось, а потом всё прошло — и ничего не осталось, ничего нет. Какая страсть была, ничего не видел, а теперь. Боже мой, какой же я был слепой.

Да, она меня очень любила, и я знаю — любит. А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на её погибшего сына. В ней вообще очень много нежности».

Во время разговора я решила спросить, любит ли он Дункан теперь. Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за неё. В таком случае не надо порывать с ней, он твердо, прямо и отчетливо сказал: «Нет. Это совсем не так. Там для меня конец. Совсем конец. К Дункан уже ничего нет и не может быть. Пусто, понимаете. Совсем пусто». Я рассказала ему свои сомнения. «Галя. Поймите же, что вам я верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда нужно, а не толкать меня обратно».

Отношения Бениславской и поэта Есенина складывались непросто. Сергей Александрович несколько раз сходился с Галиной, но быстро порывал отношения. По наиболее распространенному мнению современников, литературный секретарь и подруга претендовала на главную роль в жизни Сергея Есенина. Именно поэтому она оставила резкие мемуары о своей жизни и общении с литературной богемой, а после смерти Есенина вскоре совершила самоубийство.

По мнению жены Мариегофа, Анны Никритиной, еще в самом начале, в момент зарождения чувства окружающие наблюдали явный перекос отношений в сторону опеки, постоянного контроля над Сергеем Есениным. Конечно, это шло исключительно от страсти, захватившей Айседору, но. В машинописи своих

мемуаров актриса вторит Бениславской:

«Ему от Дункан некуда было деться. Она везде его настигала, повторяю, со всей откровенностью, даже с бесстыдством.

Она ничего не стеснялась, и в этом была ее сила, ее право. Я помню, Новый год встречали у Изадоры. Есенин убегает к Якулову и вызывает нас туда по телефону. Мы приезжаем, Дункан приезжает вслед за нами. Через другой ход мы сбежали домой — она приезжает за нами домой. Звонки! Звонки! Соседи ей говорят, что нас нет. Прислушиваемся — тихо, ушла.

Мне было ужасно жалко ее тогда, Изадора ведь была намного старше нас. Женщина она была замечательная, умная, образованная. И. в конце концов победила Есенина. Примерно месяца через два он совсем переехал на Пречистенку к Дункан.»

Поэт Элизабет Стырская предлагает свое нестандартное видение личности Есенина: ««Широкая русская натура» — понятие литературное. Как явление душевное — это карамазовщина. Поэт всегда одинок, а Есенин был поэтом. Друзья Есенина. На это он отвечал: «Средь людей я дружбы не имею.», а также многими другими строками своих стихов. Однако русский человек любит общество. Есенин боялся одиночества. Окруженный шумной толпой кажущихся друзей и собратьев по цеху поэтов, замкнулся в своем одиночестве. Больше, чем женщин, больше, чем родину, больше, чем семью, Есенин любил славу. И не хотел ни с кем ее делить. Он относился к ней с недоверием. Он был ее рабом.

Он дрожал над ней. Он готов был для нее на жертвы. Он хотел всегда купаться в славе.

А у Дункан была слава, шумная, немеркнущая мировая слава. Эта слава гипнотизировала Есенина. И к ней он ревновал Айседору. А с кем делила славу она? На столе у нее стоял портрет Гордона Крэга. На патетическом французском языке Дункан объясняет одному из гостей, что Гордон Крэг — гений. Из всей этой тирады Есенин понял только слово «гений». Есенин в ярости, он смотрит на портрет и тотчас же решает удалиться. Это не ревность любовника. Есенина любят, Гордона Крэга любили. Есенин молод, Гордон Крэг — стар. Это соперничество в славе. Есенин не выносил чужой славы. Поэт вообще не любил ничего чужого. Чужое — враждебно. Чужое — непонятно.

Чужое кажется ему смешным. И это тоже — по-русски. Айседора Дункан — чужая. Любимая, но чужая. Все чужое нужно победить и положить у ног своих. Все чужое нужно обуздать. Это идет еще с татарских времен.

Так начались великие русские мучения Айседоры Дункан. Но все имеет свои границы. Айседора терпела. Айседоралюбила.

Россия 1921 года была храмом, двери которого были открыты для всех верующих. Пафос революции реял над миром, как чудовищный пропеллер, несущий с собой загадку. Ожидали воскрешения человечества. Презиравшая дремотное состояние европейской сцены, Айседора Дункан, великая энтузиастка своего искусства, устремилась в Россию. Ей чудились московские площади, на которых массы разыгрывали гигантские мистерии своего освобождения. Она хотела видеть детей рабочих и крестьян, танцующих танец свободы. Она хотела научить их. Она знала, что арена освобожденного искусства там, где свобода. Все это она написала русскому революционному правительству. И получила исполненный пафоса короткий ответ на языке революции: «Только русский революционный народ может понять Вас. Приезжайте к нам, мы дадим Вам возможность жить и работать». Она ответила кратко: «Согласна». И она поехала».

По мнению многих и многих друзей и знакомых Есенина, после знакомства с Айседорой Дункан поэт словно отравился ядом. Вот как белый эмигрант Петр Моргани описывает последний роман Айседоры и ее приятеля: «Польщенный и обвороженный поначалу, Сергей стал тяготиться скоро назойливой страстью стареющей женщины. Близость срывает драгоценную вуаль таинственности, за которой женщина может казаться иной, чем она есть на самом деле. Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айседора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно-сентиментальное. Под влиянием момента она способна была на все. Но не думаю, что ее переживания носили глубокий и длительный характер». По словам Моргани, Сергей однажды сказал следующее: «Каюсь, сделал неосторожный шаг, превратив мечту в действительность. Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны».

По мнению исследователей творчества Есенина, историков литературы Станислава и Сергея Куняевых, «схожие чувства, когда близость срывает вуаль таинственности, очень скоро стал испытывать и Есенин, но выражал его далеко не столь изысканно. Привычно радостный шум гостей и приятелей могла прорезать бешеная матерная тирада. Все радостно замирали. Только Айседора радостно всплескивала руками, как бы наслаждаясь вспышкой есенинского гнева и необычным русским лексиконом, который она тут же начинала перенимать. Все это еще больше бесило поэта, и он то начинал прилюдно издеваться над своей возлюбленной, то еще с большим угрюмством принимался пить водку, то заставлял Айседору танцевать.

В разговорах с приятелями Есенин говорил о своих чувствах к

Дункан весьма пространно: «Любит меня. Чудная какая-то. Добрая. Славная. Да все у нее как-то. не по-русски.»

Максим Горький вспоминал: «Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен, — растроганно говорила она. — Такой — ух! Не бывает.

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими».

Существует лиричная любовная записка Айседоры к Есенину, которую она продиктовала секретарю Шнейдеру в начале знакомства в ноябре 1921 года:

«Если существует опьянение от вина, то существует ещё и другое — я сегодня была пьяна. Потому что ты подумал обо мне. Если Бахус окажется не сильнее Венеры, то приходи сегодня со своими друзьями ко мне на спектакль».

Матвей Ройзман, поэт, писатель, мемуарист, говоря, в общем-то, об обмане со стороны Айседоры проявляет понимание причин такого её поступка: «Правильный год рождения Дункан 1878, Шнейдер поправил эту цифру на 1884, то есть омолодил Дункан на шесть лет, и по паспорту ей было всего тридцать восемь. (Она и выглядела не старше!) Влюбленный в Айседору Сергей торжествовал, понимая, что его мечта о сыне сбудется.

Конечно, можно возразить, что Есенин все-таки знал, сколько лет Айседоре. От кого он мог это узнать? Он был настолько тактичен, что никогда не задал бы подобного вопроса любимой женщине. (И какая женщина, особенно артистка, ответит на это правдиво, да еще влюбленному поэту, который на много лет моложе ее?) Понятно, что по той же причине у друзей и знакомых справок Сергей тоже не наводил. И зачем это нужно, когда есть официальный точный документ — паспорт?»

Французский скульптор Эмиль Антуан Бурдель с восхищением вспоминает об Айседоре: «Айседора — воплощение пропорции, подчиненной стихийному чувству; она смертна и бессмертна, и оба ее лика представляют закон божественного начала, который дано человеку постигнуть и слить со своей жизнью.

Музы, изваянные мной на фасаде театра (Театра Елисейских полей.), родились в моем сознании, пока я следил за пламенным танцем Айседоры — она была главным моим источником.

Вы ведь узнали Айседору Дункан на моем фризе рядом с задумчивым Аполлоном, чья лира вдохновила ее волшебный

танец.

За что судьба обрушила свой удар на ее любящее материнское сердце, поразив двух детей, в которых она мечтала увидеть продолжателей своего искусства?

«Я танцую в душе», — признавалась она; ее величие еще возрастет. Искусство — это вечная борьба. Айседора страдает за всех, гений несет ей трагедию, извечный удел поэтов».

Элизабет Стырская: «Глаза Айседоры были похожи на мыльные пузыри. Но играющие всеми цветами радуги мыльные пузыри. Величиной с миндалину рот, прямой нос римлянки с крутыми ноздрями великой грешницы, немного тяжелые плечи, высокая шея, полноватый корпус и легкая гармоничная походка танцовщицы. Большой, холодный лоб и массивная нижняя челюсть отличали современную женщину, думающую, беспокойную, энергичную. Она сняла со своих шелковых туфель мягкие калоши, форма которых меня сильно удивила, и кокетливо повесила их у вешалки на торчащий из стены гвоздь. На ней был короткий расстегнутый жакет из соболей, вокруг шеи необыкновенно прозрачный длинный шарф. Сняв жакет, она осталась в строгой греческой тунике красного цвета. Коротко остриженные волосы были медно-красного цвета. Привыкнув к античным позам, она полулежа расположилась на софе. И сразу же этот уголок расцвел всеми красками осени».

Илья Шнейдер, журналист и директор-администратор балетной школы-студии Дункан, вспоминает: «На письменном столе Айседоры лежали «Эмиль» Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик «Мыслей» Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась.

Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшим на нее с картины, висевшей на стене.

Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину: Айседора утверждала, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое.

А Есенин, сидя в комнате Айседоры, за ее письменным столом, в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груше, погасил ее».

Элизабет Стырская в диалоге с Есениным обнажает противоречивость чувств, которые ещё до женитьбы уже терзали поэта:

«— Что с тобой, Сергей, любовь, страдания, безумие?

Он посмотрел на меня исподлобья и сказал тихо, запинаясь и

тяжело вздыхая:

— Не знаю. Ничего похожего с тем, что было в моей жизни до сих пор. Айседора имеет надо мной дьявольскую власть. Когда я ухожу, то думаю, что никогда больше не вернусь, а назавтра или послезавтра я возвращаюсь. Мне часто кажется, что я ее ненавижу. Она — чужая! Понимаешь, совсем чужая. Смотрю на нее, и мне почти смешно, что она хочет быть моей женой. Она?! На что мне она? Что я ей? Мои стихи… Мое имя… Ведь я Есенин… Я люблю Россию, коров, крестьян, деревню. А она любит греческие вазы… ха... ха... ха. В греческих вазах мое молоко скиснет. У нее такие пустые глаза. Чужое лицо. жесты, голос, слова — все чужое!..

И все-таки я к ней возвращаюсь. Она умна! Она очень умна! И она любит меня. Меня трогают ее слезы, ее забавный русский язык. Иногда мне с ней так хорошо! По-настоящему хорошо! Когда мы одни. Когда мы молчим. или когда я читаю ей стихи. Не удивляйся, я прочел ей много стихов, она понимает их, ей-Богу, понимает. Своей интуицией, любовью. Она меня очень любит. Не думай, что я из-за денег, из-за славы!.. Я плюю на это! Моя слава больше ее! Я — Есенин! Денег у меня было много и будет много, что мне нужно — ее?! Все это мерзкие сплетни! Это все завистники, желающие половить рыбку в мутной воде!

Все это меня оскорбляет. Я ко всем холоден! Она стара. ну, если уж. Но мне интересно жить с ней, и мне это нравится. Знаешь, она иногда совсем молодая, совсем молодая. Она удовлетворяет меня и любит и живет по-молодому. После нее молодые мне кажутся скучными — ты не поверишь».

Анна Абрамовна Берзинь, журналист и близкий друг поэта Есенина, не стесняется даже грубых слов по отношению к танцовщице Айседоре Дункан. С беспощадностью, присущей исключительно молодости, Берзинь описывает заключительный номер Дункан: «То ли я была плохо настроена, то ли я ничего не поняла. Но от выступления Дункан я ждала большего, и насколько большего! Я видела и старую опустившуюся грудь, и излишне жирные, дрожавшие при каждом движении ляжки, и скованную порывистость, которая не могла быть и легкой, и изящной, — годы брали своё. Да и публика посмеивалась, отпуская далеко не лестные замечания, впрочем, меня это только сердило. Я привыкла уважать таланты».

Советский писатель Максим Горький, чье отношение к поэзии Есенина было то восхищенным, то равнодушным, в тон Анне Абрамовне остался разочарован очередным выступлением Айседоры Дункан:

«Её пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста

Дункан с насилием её тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых увядших цветов, а на толстом лице её застыла ничего не говорящая улыбка. Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов в Европе, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом явилась совершеннейшим олицетворением всего, что было ему не нужно».

Интересными, во многом неожиданными являются воспоминания журналистки и переводчицы Лолы Кинел: «Полная, средних лет женщина в неглиже цвета семги грациозно полулежала на кушетке. У нее была маленькая головка с тициановскими кудрями, красивый, но жестокий рот и сентиментальные глаза; при разговоре она проглатывала или комкала слова. Когда она поднялась и стала двигаться по комнате, я увидела, что она вовсе не полная и не средних лет: она была прекрасна, непостижимая природная грация сквозила в каждом ее движении. Это была Айседора.

Через некоторое время из соседней спальни вышел молодой человек в белой пижаме. Он выглядел как русский танцовщик из американского водевиля: тускло-золотые вьющиеся волосы, наивные глаза васильковой голубизны, сильное мускулистое тело. Это был Есенин. Позднее я обнаружила, что он отнюдь не наивен. Он был достаточно лукав, подозрителен и инстинктивно умен. Впечатлительный, как ребенок, полный противоположностей, крестьянин и поэт — вместе».

А вот таким ей запомнилось чтение стихов Есениным: «Там же, в Брюсселе, я впервые услышала, как Есенин читает публике. До этого мне уже приходилось слышать, как он декламировал что-нибудь из своих стихов. Это было время, когда мы с трудом пробирались по одной из книжек его лирики, которые издавались в Берлине. Мне кажется, он читал, чтобы испытать меня. Он пристально всматривался при этом в мое лицо, следя за малейшим его изменением. Не очень-то доверяя впечатлениям других, он имел необыкновенную способность уяснять все самостоятельно. Его глаза суживались, превращаясь в голубые щели, и он пристально следил за собеседником, задавая наивные вопросы и разыгрывая из себя простачка.

Иногда он вдруг обращался ко мне с каким-нибудь пустячным вопросом. Спрашивал, например, о моих литературных вкусах, а

потом, в разгар беседы, хватал лист бумаги и читал, все время наблюдая за мной. Читал он хорошо, в совершенстве владея голосом, интонацией, выражением.»

Искусствовед М.В. Бабенчиков живо и красочно, но достаточно беспощадно описывает встречу с семейной парой: «После ужина он согласился по просьбе Айседоры почитать. Он ушел в дальний угол комнаты, повернулся к нам лицом и начал. Он взял отрывки из своей драматической поэмы «Пугачев» — этого рассказа о знаменитом казачьем мятежнике. «Пугачев» считается наиболее важной работой Есенина и представляет собой незаконченную драму в восьми сценах. Мы сидели молча. Долгое время никто из нас не мог поднять рук для аплодисментов, потом они разразились вместе с диким шумом и криком. Только я один знал русский и мог понять смысл, почувствовать мелодичность его слов, но все остальные восприняли силу переживаний и были потрясены до глубины души. Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали, на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта.

По-русски Дункан знала всего несколько слов: «красный карандаш», «синий карандаш», «яблоко» и «Луначарский», которые произносила, как ребенок, забавно коверкая и заменяя одну букву другой. Поэтому и разговор наш, начатый таким образом, велся ощупью, пока мы не догадались наконец перейти на французский язык. Дункан говорила вяло, лениво цедя слова, о совершенно различных вещах. О том, что какой это ужас, что она пятнадцать минут не целовала Есенина, что ей нравится Москва, но она не любит снег, что один русский артист обещал ей подарить настоящие petit traineau* и еще что-то, все в том же кокетливо-наивном тоне стареющей актрисы. Говоря, она полулежала на широкой тахте, усталая, разморенная заботами прошедшего дня и, как мне показалось, чем-то расстроенная».

Известная актриса Алиса Коонен как умная женщина и по роду своей профессии сумела разглядеть в поведении Дункан нарочитость и игру: «Она умела разыграть роль слабой и

отчаявшейся женщины, униженной русским гениальным дикарем и ради своей любви к нему прощающей все унижения». Алиса Коонен вспоминает, как однажды она и Таиров, только что приехав вечером в Берлин, подымались по лестнице отеля «Кайзерхоф». Сверху вниз по ступеням пронесся вниз в цилиндре и в крылатке Есенин, а наверху в коридоре они увидели босую, в халате плачущую Дункан, тихо повторявшую то ли для себя, то ли для других: «Сережа меня не любит!»

Возлюбленная Есенина А.Миклашевская встретилась с Дункан уже в пору её разрыва с Есениным: «Встречали Новый год у актрисы Лизы Александровой Мариенгоф, Никритина, Соколов (в то время — актер Камерного театра). Позвонила Дункан. Звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза ответила, что приехать не могут:

— Мы не одни, а ты не захочешь к нам приехать — у нас Миклашевская.

— Миклашевская? Очень хочу! Сейчас приеду!

Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, на ногах — золотые сандалии и кружевные чулки. На голове — зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах — не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то очень театральный король.

Она смотрела на меня и говорила:

— Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы!.. — И вдруг сорвала с головы чалму. — Произвела впечатление на Миклашевскую — теперь можно бросить!.. — И чалма полетела в угол.

После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна.

— Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш, и вдруг — первый раз запел про любоф — вам, нет, это мне! Там есть плохой стихотворень: «Ты такая ж простая, как все.» Это вам!

Болтала она много, пересыпая французские фразы русскими словами и наоборот. То как Есенин за границей убегал от нее. То как во время ее концертов (напевает Шопена), танцуя, она прислушивалась к его выкрикам, повторяя с акцентом русские ругательства. То как белогвардейские офицеры — официанты в ресторане — пытались упрекать его за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их: «Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности

молча».

Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая.

— Я не хочу уходить, мне некуда уходить. У меня никого нет. Я одна.»

Воспоминания поэта, прозаика, переводчика Рюрика Ивнева: «Я не успел еще прийти в себя, как Есенин, показывая на стройную даму, одетую с необыкновенным изяществом, говорит мне:

— Познакомься. Это моя жена, Айседора Дункан.

А ей он сказал:

— Это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам.

Айседора ласково посмотрела на меня и, протягивая руку, сказала на ломаном русском языке:

— Я много слышал и очень рада. знакомить.

Вслед за Дункан Есенин познакомил меня с ее приемной дочерью Ирмой и мужем дочери — Шнейдером.

Я всмотрелся в Есенина. Он как будто такой же, совсем не изменившийся, будто мы и не расставались с ним надолго. Те же глаза с одному ему свойственными искорками добродушного лукавства. Та же обаятельная улыбка, но проглядывает, пока еще неясно, что-то новое, какая-то небывалая у него прежде наигранность, какое-то еле уловимое любование своим «европейским блеском», безукоризненным костюмом, шляпой. Он незаметно для самого себя теребил свои тонкие лайковые перчатки, перекладывая трость с костяным набалдашником из одной руки в другую. Публика, находившаяся в кафе, узнав Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло ускользнуть от Есенина. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне:

— Ты еще не обедал? Поедем обедать? Где хорошо кормят?»

Ивлев в своих воспоминаниях предстает как человек тонкий и очень внимательный к людям и их характерам, это особенно проявилось в его воспоминаниях о б Айседоре: «Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один — образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображения, другой — образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.

Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных (мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски

Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем — Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе. Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:

— Она все понимает, все, ее не проведешь».

Жена Алексея Толстого Наталья Крандиевская-Толстая вспоминает: «Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание; говорят, что она никогда не ездила в поездах.

Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: «Большинство общественных бедствий оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений».

Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивая собеседника. Узнав, что я питу, она усмехнулась недоверчиво:

— Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства».

В воспоминаниях бельгийского поэта, друга Есенина Франца Элленса чувствуется неподдельная тревога за них обоих: «Я видел его каждый день то в небольшом особняке Айседоры на улице Помп, то в отеле «Крийон», где супружеская чета спасалась от сложностей домашнего быта. Если в «Крийоне» Есенин производил впечатление человека светского, нисколько не выпадающего из той среды, которая казалась столь мало для него подходящей, то в будничной обстановке маленького особняка он представал передо мной в своем более естественном облике, и, во

всяком случае, на мой взгляд, выглядел человеком более интересным и более располагающим к себе. Я имел также возможность с некоторым смущением наблюдать этот союз молодого русского поэта и уже клонившейся к закату танцовщицы, показавшийся мне сначала, как я уже говорил, почти чудовищным. Я думаю, что ни одна женщина на свете не понимала свою роль вдохновительницы более по-матерински, чем Айседора. Она увезла Есенина в Европу, она, дав ему возможность покинуть Россию, предложила ему жениться на ней. Это был поистине самоотверженный поступок, ибо он был чреват для нее жертвой и болью. У нее не было никаких иллюзий, она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко и грубо тот род любовной опеки, которой ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием».

Сложное отношение к поэту было у Максима Горького, что не мешало ему быть очень внимательным чисто по-человечески к Сергею Есенину: «Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий.

Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им.

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт, — сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню —

было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода».

Благодаря подробным воспоминаниям И. Шнейдера известны подробности бракосочетания Есенина с Дункан и первого их совместного полета на самолете: «Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней «полиции нравов», да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с М.Ф. Андреевой и А.М. Горьким только потому, что они не были «повенчаны».

Ранним солнечным утром мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков.

Загс был серенький и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию — «Дункан-Есенин». Так и записали в брачном свидетельстве ивих паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта — она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую «филькину грамоту». На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей.

— Теперь я — Дункан! — кричал Есенин, когда мы вышли из загса на улицу.

Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский «паспорт».

— Не можете ли вы немножко тут исправить? — еще более смущаясь, попросила она.

Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся — передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер.

Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью.

— Ну, тушь у меня есть. — сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. — Но по-моему, это вам и не нужно.

— Это для Езенин, — ответила она. — Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана. и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу

другой.

Я исправил цифру.

Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролетать.

Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час.

Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами:

— Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится.

В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм, Дункан отказалась.

Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием: в случае ее смерти наследником является ее муж — Сергей Есенин-Дункан.

Она показала мне текст.

— Ведь вы летите вместе, — сказал я, — и если случится катастрофа, погибнете оба.

— Я об этом не подумала, — засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан», — поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.

Наконец супруги Дункан-Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне (там были большие окна) показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу.

Оказалось, забыли корзину с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным».

Поэт-авангардист Морис Мендельсон большое место в своих воспоминаниях уделяет вызывающему безразличию Есенина к Америке: «Но все же не в обстоятельствах личной жизни Есенина таились главные причины столь удивившего меня вызывающего отсутствия интереса поэта к Америке. Да и точно ли это было равнодушие?

Ответить на мучивший меня вопрос я не имел возможности на протяжении долгого времени. Я мог только удрученно строить догадки, которые сам же был вынужден позднее признать не вполне обоснованными. Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды.

Всю правду я понял только позднее. Но это уж не моя заслуга — вскоре после возвращения из США Есенин опубликовал в «Известиях» цикл очерков, дав ему поразительное по глубине и силе мысли название — «Железный Миргород». Читая их, я понял, что поэт был далек от безразличия к самой крупной на земном шаре арене собственнических страстей. Скорее наоборот, он был потрясен увиденным — и вовсе не просто как вчерашний крестьянин, попавший в царство машин (бытовала в свое время и такая версия). Нет, это было иное чувство — яростная неприязнь к миру буржуазной бездуховности, где человек становится жертвой индустриального кризиса и вызывающей рекламы.

Конечно, это ясно всякому читателю «Железного Миргорода». Но я, смею думать, ощутил пафос этой книги с особенной остротой — ведь я видел Есенина в Америке».

«Бурлюк, не понимая, в чем дело, снова и снова, как бы беря на себя обязанности полномочного представителя Америки, что-то повторял о достопримечательностях, а Есенин всё явственнее раздражался. И когда Давид Давидович в который раз повторил: «Так что же Сергей Александрович желал бы увидеть в своеобразнейшем городе Нью- Йорке?», Есенин наконец-то взорвался. «Он вскочил с места, пробежал по комнате, затем в неожиданно категорической форме — от первоначальной куртуазности не осталось почти следа — объявил: никуда здесь он не хочет идти. Ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем».

Поэт и политический деятель Лев Повицкий, близкий товарищ Сергея Есенина, также уделяет этой теме место в своих воспоминаниях: «Блестящая внешность капиталистической Америки не ввела в заблуждение Есенина.

В «Известиях» в№ 187 за 1923 год Есенин окрестил эту страну доллара и бизнеса «Железным Миргородом», как символ убогого бескультурья и духовного застоя. В своем беспощадном обличении пустоты и гнилости американского частнособственнического мира Есенин полностью стал на позиции Горького и Маяковского».

Удивление наблюдается и в воспоминаниях Ивлева на эту тему «.24 августа 1923 года, задолго до назначенного часа, народ устремился к Политехническому музею. Здание музея стало

походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты. Участники пробирались с не меньшим трудом.

Но вот вечер наконец начался.

Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью-Йорке.

Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на его внешнее спокойствие. Публика встретила его появление на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая-то неясная, но глубокая тревога».

Франц Элленс, уникальная личность в литературной среде Бельгии, посвятил немало строк своих воспоминаний взаимоотношениям Сергея Есенина и Айседоры Дункан, и особенно личности Сергея Александровича, по меткому замечанию Горького, «не столько человеке, сколько органе, созданным природой исключительно для поэзии»: «В 1922 году во время пребывания Есенина в Париже я познакомился с этим странным молодым человеком, угадать в котором поэта можно было лишь после длительного наблюдения. Тривиальное определение «молодой человек» не подходит к нему. Вы видели изящную внешность, стройную фигуру, жизнерадостное выражение лица, живой взгляд, и казалось, что все это изобличает породу в самом аристократическом значении этого слова. Но под этим обликом и манерой держать себя тотчас обнаруживалась подлинная натура этого человека, та, что выразилась в «Исповеди хулигана». В резких жестах руки, в модуляциях голоса, временами доходящих до крика, распознавался табунщик, мальчик нецивилизованный, свободный, полный безотчетных влечений, которого с трех лет отпускали в степь. Он мне рассказывал, как однажды его дядя, вместе с которым он жил, сел верхом на лошадь, посадил и его тоже верхом на кобылу и пустил ее вскачь. Свою первую верховую прогулку поэт совершил галопом. Вцепившись в гриву лошади, он с честью выдержал испытание.

В этом весь Есенин. Человек и поэт.

Есенина надо искать в самих его истоках, в корнях его

родины. Когда я впервые увидел его, его элегантность в одежде и совершенная непринужденность в манере держать себя на какой-то миг ввели меня в заблуждение. Но его подлинный характер быстро раскрылся мне. Эта элегантность костюма, эта утонченная изысканность, которую он словно бы нарочно подчеркивал, были не более чем еще одной — и не самой интересной — ипостасью его характера, сила которого была неотделима от удивительной нежности. Будучи кровно связан с природой, он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия. Думается, можно сказать, что в равной степени подлинными были оба лика Есенина. Этот крестьянин был безукоризненным аристократом.

Впрочем, он сам с удовольствием подчеркивал этот контраст, или, лучше сказать, единство, и охотно хвастался в стихах, что ходит «в цилиндре и лакированных башмаках», но тотчас возвращался к своим валенкам и шапке.

Это было в то время, когда я вместе со своей женой переводил его стихи.

В.С. Чернявский, один из ближайших друзей Есенина петроградского периода, встретился вновь с другом, уже женатым на очень непростой, необычной женщине: «Мое недоверчивое удивление по поводу его близости с Айседорой Дункан вызвало с его стороны целый ряд теплых и почти умиленных слов об этой женщине. Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, и нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень — поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном.

— Ты не говори, она не старая, она красивая, прекрасная женщина. Но вся седая (под краской), вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала.

Но безграничные безумства Дункан, ревнивой и требовательной, не отпускавшей от себя Сергея ни на минуту, утомили его, он говорил, что, как вор, бежал от нее на океанском пароходе, ожидая погони, чувствуя, что не в силах более быть с нею больше под одной крышей.

Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один. Есенин и Дункан в Берлине. Айседора задумывает большую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившейся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают — веселой большой компанией — с места до места в автомобилях. Наутро — завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц: легонький флирт. Айседора, заметив это, встает, вся красная, и объявляет повелительно: «В Афины не едем. Все — в

автомобили, едете назад». Так Сергей и не побывал в Греции.

Поэт и прозаик, эмигрант Ирина Одоевцева была шокирована поведением экстравагантной пары. Она вспоминает страшный кутеж Дункан и Есенина в Берлине, с деревенскими частушками, дикими танцами и финальной пьяной бранью Сергея Александровича в сторону Айседоры: «Весело? Нет, здесь совсем невесело. И не только невесело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из занавешенных бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически среди дыма от папирос».

Современный французский биограф Дункан Морис Левер написал о запутанных отношениях русского поэта и западной танцовщицы: «Частная жизнь Айседоры и Сергея в Берлине немногим отличается от той, которая была в Москве: насилие, нежность, любовь, ненависть, объятия, слезы, побои, раскаяние. Осознают ли они сами, что делают? Благодаря алкоголю они живут вне правил и норм. Избегают друг друга, ищут друг друга, сталкиваются друг с другом, как два дрейфующих плота. Сергей всегда выходит победителем из их жестоких стычек лишь потому, что он чувствует себя беспредельно любимым и не боится мести со стороны своей жертвы. Инстинктивно он понимает, что на его грубость ему ответят любовью, а каждый его удар кулаком будет оплачен ласками и подарками. Как опытный осквернитель, как поэт, видящий невидимое, он рассчитывал на радость униженного. И не ошибался».

Литературовед Валентина Пашинина выдвигает свою оригинальную трактовку отношений Сергея Есенина и Айседоры Дункан: «Айседора всегда была поборницей свободной любви. В молодые годы не связала себя браком даже с теми мужчинами, от которых имела детей. Отцом дочери Айседоры Дункан Дейдре был Гордон Крэг. Патрик был сыном «короля» швейных машин Париса Зингера (во Франции эта фамилия как Санже).

«Я поклялась, что никогда не позволю себя унизить (браком) и довести до этого постыдного состояния. Я свято сдержала эту клятву, хотя это стоило мне разрыва с матерью и всеобщего осуждения».

Зачем потребовалось ей теперь, в России, поступиться своими убеждениями? Разве не понимала, что подвергнет себя осуждению, насмешкам? Скажут: в старости нужна опора. Да разве Есенин годился для этой роли? Нет, Айседора сама для Есенина стала опорой. Брак нужен был Есенину. Этот документ давал ему возможность осуществить заграничное путешествие, и Айседора пошла на жертву ради Есенина.

Подтверждение можно найти в письме Дункан Ивану Старцеву:

«Не думайте, что во мне говорит влюбленная девчонка, нет — это преданность и материнская заботливость».

Такие слова часто можно было слышать от нее. Разве Айседора не понимала, как она выглядит рядом с юным Сергеем, что думают другие, глядя на их пару?» Вспоминает Любовь Белозерская-Булгакова:

«Я сидела рядом с Дункан и любовалась ее руками. И вдруг, совершенно внезапно, она спросила меня по-французски:

— Мы вместе смешная пара?

Мне показалось, что я ослышалась, до того в ее устах вопрос был невероятен. Я ответила:

— О, нет, наоборот.

Так иногда совершенно чужого легче спросить о чем-то интимном, чем самого близкого, тем более если думаешь, что никогда с ним больше не встретишься».

Через год Айседора, принявшая советское гражданство, пишет Ирме из Берлина в Москву: «Я не могу добиться паспорта в здешнем посольстве. Пожалуйста, сделай все, что необходимо, чтобы добыть этот паспорт для меня, а также развод от Сергея Александровича, — Бог да благословит его, но для мужа он не годится».

Она давно убедилась, что гении не годятся в мужья: «Крэг плохой муж, плохой супруг. Крэг пишет, пишет, работает, работает (.) плохой муж. Крэг — гений».

Она часто повторяла: «Есенин — гений». Айседора спасала гения. Окружала его трогательной заботой, была нежна, терпелива. По свидетельству М. Бабенчикова, «понимала поэта и своеобразно пыталась облегчить заметно росшее в нем состояние отчаяния». «Думается, встреча Есенина с Дункан не была пустым романом, а судя по многому, она оставила глубокий след в жизни поэта».

Айседора объясняла:

«Когда двое граждан Советской России хотят жить вместе, они при желании только расписываются в книге записей гражданских актов, причем эта подпись ни к чему никого не обязывает, и каждый из них волен в любой момент идти куда ему угодно.

Вот только такой брак является единственно мыслимым, на который согласится свободомыслящая женщина, и это единственная форма брачного контракта, под которой я когда-либо дала бы свою подпись».

Ни в малой степени не оскорбляя Есенина, Айседора дала

понять, что никогда не рассчитывала на длительные, серьезные отношения, что брак этот никого ни к чему не обязывал».

Сказанное подтверждает и Мери Дести: «Айседора знала, что есть единственный способ вывезти его (Сергея) из России, а именно: поступиться своими убеждениями относительно брака и стать его женой».

Илья Шнейдер пишет Есенину письмо (очевидно, в 1923 году, после возвращения из-за границы), упрекает его в неблаговидных поступках, в безнравственности и неблагодарности. Да что там неблагодарности! Слишком мягко сказано! Просто хамском отношении к Айседоре. Среди прочих упреков есть такой:

«А с какими жертвами и ужасными трудностями она вывезла тебя во Францию, Италию и Америку.

Я имел возможность видеть все, что Изадора для тебя сделала, но я не вижу, что твоя так называемая любовь сделала для нее.

Изадора защищала тебя везде, я читал замечательные статьи, написанные ею в твою защиту».

Из статьи Айседоры Дункан:

«Я вывезла Есенина из России, где условия его жизни были чудовищно трудными, чтобы сохранить его гений для мира.

Он возвращается в Россию, чтобы сохранить свой рассудок, и я знаю, что многие сердца по всему миру будут молиться со мной, чтобы этот великий и наделенный богатым воображением поэт был бы спасен для своих будущих творений, исполненных Красоты, в которой мир столь нуждается». «Поведение Айседоры, при всей сложности обстоятельств ее отношений с Есениным, характеризовалось преданностью, терпимостью.»

Из воспоминаний о времени заграничного европейского путешествия Дункан и Есенина особый интерес представляют заметки Лолы Кинел — переводчицы, сопровождавшей семейную пару в их европейском турне. Кинел можно назвать человеком, тонко чувствующим других. Она передает атмосферу напряженности, какого-то надрыва в отношениях. Причиной служит сильное желание Айседоры «привязать» к себе Сергея Александровича, то есть желание быть с ним постоянно вместе, что вызывает у поэта обратный эффект — он рвется из этих пут, грубо и решительно. Вот, например, один из эпизодов семейной жизни, подтверждающий это: «Разговор, в котором мне пришлось принять участие на следующее утро, был самым ужасным из всей моей переводческой практики. Едва я вошла в комнату, как тотчас поняла, что идет серьезная беседа, и Айседора с Есениным на этот раз никуда не собираются. Есенин сразу же обратился ко

мне с явным чувством облегчения:

— А, вот и мисс Кинел. Переведите! — И он откинулся на спинку стула с деловитой готовностью. — Когда мы приедем в Париж, я хочу иметь свой собственный ключ. Хочу уходить и приходить когда мне вздумается, гулять в одиночестве, если мне захочется.

— В чем дело? — спрашивала Айседора.

Я переводила, избегая ее взгляда, смотря прямо перед собой.

— Никаких этих чертовых приказов. Я не больной и не ребенок. Скажите ей это.

Я переводила с некоторыми видоизменениями. Айседора молчала. Есенин немного помолчал, потом продолжал:

— Я не собираюсь ходить вокруг да около, обманывать… Я хочу полной свободы, других женщин — если вздумается. Если она хочет моего общества, я останусь у нее в доме, но не потерплю вмешательства.

Именно тут я пришла в отчаяние и закричала:

— Я не могу ей так говорить, Сергей Александрович! Пожалуйста.

— Вам придется! Это ваша работа!

— Не буду!

Айседора, озабоченно:

— Чего он еще хочет?

— Он просто ненасытен, ему все мало. он и половины этого не имеет в виду. он хочет. делать все, что ему нравится, когда будете в Париже.

Я знаю, что выглядела виноватой, смущенной; Айседора заметила, что я многое недоговариваю. Но в этот раз она и не настаивала, она просто следила за лицом Есенина. А он продолжал отстаивать себя:

— Я не собираюсь сидеть взаперти в отеле как раб. Если я не смогу делать что хочется, я — уйду. Я могу сесть здесь на пароход и уехать в Одессу. Я хочу уехать в Россию.

Айседора уловила слово «Одесса», и глаза ее наполнились страхом. Есенин увидел это и откинулся на спинку стула с удовлетворенным видом. Тут он одержал верх. Это было видно. Он мог добиться чего угодно, если грозился уйти. Несколько минут он казался погруженным в собственные мысли: лоб наморщен, лицо сосредоточено. Потом медленно улыбнулся и задумчиво произнес:

— Будет любопытно. Эти француженки. Я так много о них слышал.

И все это, как маленький мальчик, которому предстоят необыкновенные удовольствия».

В воспоминаниях Лолы Кинел, видевшей не парадный, а каждодневный быт пары, просматривается иногда возникающее у Есенина желание обидеть, задеть и даже оскорбить Дункан:

«Есенин и Айседора беседовали как-то об искусстве. Есенин сказал:

— Танцовщица не может стать великим человеком, ее слава живет недолго. Она исчезает, как только умирает танцовщица.

— Нет, — возразила Айседора. — Танцовщица, если это выдающаяся танцовщица, может дать людям то, что навсегда останется с ними, может навсегда оставить в них след, ведь настоящее искусство незаметно для людей изменяет их.

— Но вот они умерли, Айседора, те люди, кто видел ее, и что? Танцовщики — как и актеры: одно поколение помнит их, следующее читает о них, третье — ничего не знает.

Я переводила, а Айседора слушала, как всегда полная внимания и симпатии к Есенину. Он медленно поднялся, прислонился к стене и, сложив руки — была у него такая привычка при разговоре, — нежно посмотрел на нее и сказал:

— Ты — просто танцовщица. Люди могут приходить и восхищаться тобой, даже плакать. Но когда ты умрешь, никто о тебе не вспомнит. Через несколько лет твоя великая слава испарится. И — никакой Айседоры!

Все это он сказал по-русски, чтобы я перевела, но два последних слова произнес на английский манер и прямо в лицо Айседоре, с очень выразительным насмешливым жестом — как бы развеивая останки Айседоры на все четыре стороны.

— А поэты — продолжают жить, — продолжал он, все еще улыбаясь. — И я, Есенин, оставлю после себя стихи. Стихи тоже продолжают жить. Такие стихи, как мои, будут жить вечно.

В этой насмешке и поддразнивании было что-то слишком жестокое. По лицу Айседоры пробежала тень, когда я перевела его слова. Неожиданно она повернулась ко мне, и голос ее стал очень серьезен:

— Скажите ему, что он неправ, скажите ему, что он неправ. Я дала людям красоту. Я отдавала им душу, когда танцевала. И эта красота не умирает. Она где-то существует. — У нее вдруг выступили на глаза слезы, и она сказала на своем жалком русском: — Красота ни умирай!

Но Есенин, уже полностью удовлетворенный эффектом своих слов, — оказывается, у него часто появлялось нездоровое желание причинять Айседоре боль, унижать ее, — стал сама мягкость. Характерным движением он притянул к себе кудрявую голову Айседоры, похлопал ее по спине, приговаривая:

— Эх, Дункан.

Айседора улыбнулась. Все было прощено».

Воспоминания переводчицы Кинел также полно и красочно передают и накал страстей ревнивцев. Импульсивные, осознающие свою неординарность, живущие чувством, и Есенин, и Дункан были очень ревнивы, что часто являлось причиной их семейных скандалов. Случаи эти почти анекдотичны, но с оттенком трагичности:

«Он резко повернулся и ушел. Он ревновал. Ревновал и мучался подозрениями. И это выглядело нелепо: они были такими безобидными парнями, такими преданными поклонниками великой Айседоры. Наслаждаться ее славой, быть рядом с ней составляло им величайшее удовольствие.

А потом — всего через несколько дней — отношение к ним Есенина резко переменилось. Это было очевидно. Он даже стал улыбаться им. Разговаривать с Есениным они не могли, потому что ни одного русского слова не знали. Они просто изучали Есенина — белокурого, ладного русского поэта, изучали со своеобразным курьезным любопытством — не очень явно, конечно, потому что были хорошо воспитаны. Что же касается его, так он даже по-свойски, одобрительно посмеивался над ними. На следующий день — накануне молодые люди весь день провели с нами — он встретил меня в холле и таинственно кивнул.

— С этим все в порядке, — произнес он шепотом, и я сразу же поняла, о ком он говорит.

— Конечно, с ними в порядке, — ответила я.

— Я обнаружил это только сегодня. Пойдемте, хочу вам показать!

Он прошел вперед. Осмотревшись и убедившись, что вокруг никого нет, он остановился у двери. Это была комната молодых людей.

Есенин осторожно нажал ручку. Она подалась, Он приоткрыл чуть скрипнувшую дверь, заглянул, велел заглянуть и мне. Полная непонятного, необъяснимого любопытства, я осмотрела комнату — маленькая спальня отеля, единственная кровать, умывальник, стол со стулом. Озадаченная, я повернулась к Есенину.

— Одна кровать, — показал он. — Понятно?

— Возможно, молодые люди не так богаты, — сказала я с сочувствием.

— Как бы не так, черт их побери! Они всегда берут номер с одной кроватью. Жанна мне говорила.

— Но почему?.. — наивно спросила я.

Есенин ухмыльнулся.

— Ох... ох... — спохватилась я.

Есенин перестал ревновать».

«Это произошло в Дюссельдорфе, на третий день после моего прихода к ним. Большой отель. Три часа ночи. Я спала в своей комнате, примыкающей к комнате Айседоры. Кто-то постучал. Я проснулась и спросила:

— Кто тут?

— Это я, Айседора, впусти меня.

Я встала и открыла дверь. Айседора ворвалась в мою комнату, бросила взгляд на постель и сказала:

— Есенин исчез.

— Вы уверены? — спросила я.

— Он ушел, и я нигде не могу его найти, — сказала она.

— Может быть, он в туалете?

— Нет, — сказала Айседора с горькой усмешкой. — Я посмотрела. — И она вышла так же стремительно, как и вошла.

Подхватив свое кимоно, я последовала за ней, так как тревога передалась и мне.

Энергичным шагом она прошла в другой конец холла, где находилась небольшая спаленка Жанны. Жанна была личной служанкой Айседоры. Айседора постучала, и когда Жанна открыла дверь, она, пользуясь правом хозяйки, вошла. Она посмотрела на кровать и сказала по-французски:

— Monsieur est disparu[3]

— Mais non, madame![4] — сказала Жанна, испуганно взглянув на нее.

Айседора резко повернулась и вышла. Мы — за ней. Мы прошли в большой салон Айседоры и принялись совещаться. Айседора считала, что нужно вызвать консьержку и приняться за поиски. Она была очень взволнована. Я возражала ей, так как, на мой взгляд, не было достаточных оснований для таких поисков. Потом, повинуясь какому-то неожиданному порыву, я вышла на середину комнаты и громко позвала по-русски:

— Сергей Александрович, где вы?

— Я здесь, — неожиданно раздался его голос.

Мы бросились на голос. Скрытый тяжелой портьерой, Есенин в пижаме стоял на небольшом балкончике и дышал свежим воздухом.

Мир и покой были восстановлены, и все мы разошлись по своим уютным спальням, и только когда я уже укутывалась в свое одеяло, я вдруг с удивлением подумала: «Почему Айседора, как только вошла ко мне, бросила взгляд на постель, почему заглянула и в постель Жанны? Забавно.» И потом вдруг: «О боже!» Ну конечно же, я с ними всего три дня. И Айседора не знает меня.

а я — я не знаю Есенина.

Потом был еще случай, объясняющий многое. Айседора готовилась к выступлению в одной из европейских столиц. Каждое утро приходил пианист, и они репетировали. Его приводили к ней в комнату, и они запирали дверь, чтобы их никто не беспокоил.

Есенину не нравилась закрытая дверь. Иногда он забывался, подходил, дергал за ручку и обнаруживал, что заперто. Вскоре он стал даже ворчать по этому поводу.

— Зачем они запираются? — как-то спросил он у меня после очередного налета: я встретила его в зале около двери.

— Ш-ш-ш, не разговаривайте так громко. Айседора репетирует, — ответила я.

— Черт с ней, с репетицией. Мне просто нужна книга. Им совершенно ни к чему запираться для репетиций.

— Пожалуйста, Сергей Александрович. не разговаривайте так громко.

В этот момент открылась дверь, и вышла Айседора в сопровождении пианиста. Увидев сердитое лицо Есенина, она тотчас поняла причину и с очаровательным жестом произнесла на своем русско-китайском жаргоне:

— Пожалиста не обращайт внимание. Пожалиста не волнитесь. Он — педераст».

«Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уландштрассе, — сказал он весело. — Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлотенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки.

Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон

разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— Quittez ce bordel immédiatement, — сказала она ему спокойно, — et suivez-moi[5]

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «Мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов».

Литературный секретарь и переводчик Айседоры Дункан И.Шнейдер описывает эпизод из совместной жизни Есенина и Дункан, который подтверждает особое, нежное, трепетное и сильное чувство Дункан к поэту, а взамен противоположное — безразличное, если не сказать грубое, отношение мужа к жене.

«С Есениным иногда было трудно, тяжело.

Вспоминаю, как той, первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке.

Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно-взволнованная.

— Смотрите, — вытянула руку. На ладони заблестели золотом большие мужские часы. — Для Езенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!

Айседора ножницами придала нужную форму своей маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку.

Есенин был в восторге (у него не было часов). Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь.

— Посмотрим, — говорил он, вытаскивая часы из карманчика, — который теперь час? — И удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее, шутливо шепча: — А тут кто?

А через несколько дней, возвратившись как-то домой из Наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части.

Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка.

Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза.

— Вот какая чертовщина. — сказал он, расчесывая пальцами волосы, — как скверно вышло. А где Изадора?

Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография.

Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айседоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами.

— Холодной водой? — Она подняла на меня испуганные глаза. — Он не простудится?

Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина».

В воспоминаниях Натальи Крандиевской-Толстой достаточно подробно описаны три встречи Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Автор не только характеризует отношения Сергея и Айседоры, но и выявляет некоторые неожиданные, даже пикантные подробности.

Первая встреча в Берлине описана с нескрываемым сочувствием к Дункан, потерявшей детей, что доступно только женщине с тонкой натурой и имеющей своего ребенка:

«Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника.

Только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тротуарах Курфюрстендама.

На Есенине был смокинг, на затылке — цилиндр, в петлице — хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол.

Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди

шарахались в сторону.

— Есенин! — окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

— Ух ты. Вот встреча! Сидора, смотри кто.

— Qui est-ce?[6] — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились все больше, наливаясь слезами. — Сидора! — тормошил ее Есенин. — Сидора, что ты?

— ОЬ, — простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты. — ОЬ, оЬ!.. — И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого, — фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянный.

— Сидора, — кричал он, — подожди! Сидора, что случилось?

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет тому назад».

Вторая встреча, описанная в воспоминаниях Крандиевской-Толстой, состоялась в ее доме. Среди гостей был и Горький:

«В этот год Горький жил в Берлине. Было решено устроить завтрак в пансионе «Фишер», где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой, с балконом на Курфюрстендам, накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были: Айседора Дункан, Есенин и Горький.

Айседора пришла, обтекаемая огромными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она казалась спокойной, слегка усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.

Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака.

Первое — это чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженными рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет как мальчик. Горький

присматривается к нему. Третье беспокойство внушал хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры (рюмок для этого напитка она не признавала). Следы этой хозяйской беспечности были налицо.

— За русский ревоюсс! — шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан. — Ecoutez[7] Горки! Я буду тансоват seulment [8] для русски революсс. С est beau[9] русски революсс!

Алексей Максимович чокнулся и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:

— Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал — удачную премьеру. Это она — зря. — Помолчав, он добавил: — А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.

Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола,

Горький попросил Есенина прочесть последнее написанное им.

Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспоминала вечер в Москве, на Молчановке.) Горькому стихи понравились, я это видела. Они разговорились. Я глядела на них, стоящих в нише окна. Как они были не похожи! Один продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой шел как слепой, на ошупь, спотыкаясь, — растревоженный и неблагополучный.

Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он как тенеь всюду следовал за Есениным в Берлине.

Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину шарфов своих, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная менада. Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?»

Гораздо резче вспоминает об этой встрече Максим Горький. В частности, он пишет с явной неприязнью к спутнице поэта Есенина: «А второй раз видел я его в Берлине у А.Н. Толстого, была с ним старая, пьяная Айседора Дункан, он великолепно прочитал монолог Хлопуши, а потом ударил Дункан ногою в ее интернациональный зад и сказал ей: «Стерва». Я человек

сентиментальный, я бесстыдно заплакал при виде столь убийственного соединения подлинной русской поэзии с препрославленной европейской пошлостью. И вновь явилась та же урюмая мысль: где и как жить ему, Есенину? Вы сообразите безумнейшую кривизну пути от Клюева к Дункан! Был в тот вечер Есенин судорожно, истерически пьян, но на ногах держался крепко. Да и пьян-то он был, кажется, не от вина, а от неизбывной тоски человека, который пришел в мир наш, сильно опоздав или — преждевременно.»

Третья встреча неожиданно шокировала Наталью Васильевну. Она знала о непростых отношениях Дункан и Есенина, но такого выражения любви не ожидала.

«День решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош.

Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.

— Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-rwa. [10] — лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя.

— Любит, чтобы ругал ее по-русски, — не то объяснял, не то оправдывался Есенин, — нравится ей. И когда бью — нравится. Чудачка!

— А вы бьете? — спросила я.

— Она сама дерется, — засмеялся он уклончиво.

— Как вы объясняетесь, не зная языка?

— А вот так: моя — твоя, моя — твоя. — И он задвигал руками, как татарин на ярмарке. — Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?

За столиком в ресторане Луна-парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак».

Быстрые смены настроений Сергея Александровича, неожиданную тягу к роскоши этого когда-то простого рязанского парня и нарастающий кризис в отношениях Есенина и Дункан тонко подметил в своих мемуарах поэт, писатель, переводчик Рюрик Ивнев: «Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто-то бежит за извозчиками, и через несколько минут у дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айседора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем-то еще. В третий Есенин и я.

По дороге в «Эрмитаж» разговор у нас состоял из отрывочных

фраз, но некоторые из них мне запомнились. Почему-то вдруг мы заговорили о воротничках.

Есенин:

— Воротнички? Ну кто же их отдает в стирку?! Их выбрасывают и покупают новые.

Затем Есенин заговорил почему-то о том, что его кто-то упрекнул (очевидно, только что, по приезде в Москву) за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его.

— Все это выдумки — я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары. Мариенгофу тоже посылал доллары.

После паузы добавил:

— И тебе посылал, ты получил?

Я, хотя и ничего не получал, ответил:

— Да, получил.

Есенин посмотрел на меня как-то растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему.

По приезде в «Эрмитаж» начались иные волнения.

Надо решить вопрос: в зале или на веранде? Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик падет наш выбор.

— Где лучше, где лучше? — поминутно спрашивал Есенин.

— Сережа, уже все равно, где-нибудь сядем, — говорил я.

— Ну хорошо, хорошо, вот здесь, — решает он, но когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет: — Здесь свет падает прямо в лицо.

Мы волей-неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику.

Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко. Наконец мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забраковать столик.

Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего-нибудь особенного, а «особенного» как раз и не было.

С официантом он говорил чуть-чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по-русски.

Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной

прежний, «питерский» Есенин.

Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Айседорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях назревает перелом.

Вскоре после обеда в «Эрмитаже» я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пречистенке, где помещалась студия Дункан (во время отсутствия Дункан студией руководила Ирма). Айседора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже».

Всё труднее и труднее было вместе, всё обиднее становилось поведение каждого. Трещина в отношениях увеличивалась, и ревность, сопровождающая этот союз с самого начала, играла, несомненно, большую роль в этом, также и желание Дункан обладать Есениным всеобъемлюще.

Лола Кинел: «Это случилось знойным июльским днем, после обеда. В номере гостиницы было жарко и душно. Есенин объявил, что он пойдет погулять. Айседора попросила подождать, пока она переоденется.

— Но я иду один, — сказал Есенин.

Айседора странно на него посмотрела, и я была удивлена, услышав, как она довольно твердо сказала:

— Нет. Возьми с собой Жанну или мисс Кинел.

У Есенина взгляд сделался сердитым.

— Я иду один. Мне хочется побыть одному. Мне просто хочется побродить в одиночестве.

Все, конечно, по-русски. Я переводила. Есенин в это время сидел на кровати и начал надевать ботинки. Его желание пойти на прогулку казалось таким непосредственным, а задетая гордость из-за того, что ему предписывали, как непослушному ребенку, была настолько очевидна, что я, забыв роль секретаря, повернулась, к Айседоре и, переведя его слова, добавила;

— О, Айседора, пожалуйста, отпустите его. Должно быть, такужасно постоянно находиться в одной клетке с нами, тремя женщинами. Всем хочется иногда побыть в одиночестве.

Айседора повернула ко мне лицо, полное волнения:

— Я не пущу его одного. Вы не понимаете. Вы не знаете его. Он может сбежать. Он сбегал в Москве, И потом женщины.

— Ах, Айседора! Ему надоели женщины. Ему просто хочется побыть одному, просто побродить. И как он может убежать? У него нет денег, он в пижаме, он не знает итальянского.

Вместо ответа Айседора подошла к двери и встала у нее с видом человека, заявляющего: «Только через мой труп!»

Есенин наблюдал за нашим разглагольствованием по-английски сердитыми, налитыми кровью глазами, губы его были

плотно сжаты. Ему не нужен был перевод. После такого продолжительного напряженного состояния он неожиданно сел на стул и очень спокойно сказал:

— Скажите ей, что я не иду.

Айседора отошла от двери и вышла на балкон. Она плакала, плакала как ребенок, слезы текли по ее щекам. Я обняла ее — беспомощную, удрученную, упрашивала не плакать, хотя чувствовала, что она не права. Она громко всхлипывала, перед каждым вздохом бормоча что-то о своей любви. Есенин встал со стула и бросился лицом вниз на кровать. Он еще не надел носков и ботинок, и голые розовые пятки, торчащие из белых пижамных брюк, были очень круглыми и какими-то детскими. Айседора оттолкнула меня, встала на колени возле кровати и стала целовать эти круглые розовые пятки. Я посчитала это за сигнал выйти и покинула комнату».

Литературоведы, исследователи жизни и творчества Есенина Станислав и Сергей Кунаев так описывают скандальный случай, произошедший с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан в берлинском кафе: «Он вошел в зал впереди Айседоры. Она — за ним. Все заметили, что муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора в красном платье с глубоким вырезом. Аплодисменты смешались с неодобрительным гулом. Произошло замешательство, потому что среди публики были и сторонники, и противники Есенина. Вдруг ни с того ни с сего один эмигрант-неврастеник заорал во всё горло, обращаясь к Айседоре и размахивая руками: «Да здравствует “Интернационал,!» Айседора с нелепой улыбкой помахала рукой в сторону кричавшего и крикнула: «Да здравствует!» Замешательство усилилось. Какая-то часть присутствующих вразнобой запела «Интернационал», тогда - официальный гимн РСФСР, другая часть тут же начала свистеть, кричать: «Долой, к черту!»

А вот как описывает этот же случай писатель Глеб Алексеев, живший в Берлине в то же время, когда туда приехали Дункан и Есенин:

«И тотчас оба вошли в зал. Женщина в фиолетовых волосах, в маске-лице — свидетеле отчаянной борьбы человека с жизнью. Слегка недоумевающая, чуть-чуть извиняющая — кого? — но ведь людям, так много давшим другим людям, прощается многое. И рядом мальчонка в вихорках, ловкий парнишка из московского трактира Палкина с чижами под потолком, увертливый и насторожившийся. Бабушка, отшумевшая большую жизнь, снисходительная к проказам, и внук — мальчишка-сорванец. Кто-то в прорвавшемся азарте крикнул: «Интернационал!» — пять

хриплых голосов неверно ухватили напев, и тогда свистки рванулись, а робкие. будто свистали, пробуя. Склеенная жидким гуммиарабиком «любви к искусству» толпа раскололась — намотавшиеся в кровь политические комья оказались сильнее крохотных шариков этого самого искусства, а ими жонглировать не умели. Еще какой-то армянин, сгибаясь к чужому лицу, сказал «сволочь», — потные лица дам, фиолетовые от пудры и настороженные лица мужчин сдвинулись ближе к столу, за которым сидели Дункан и Есенин, белый, напряженный до звона в голове, готовый броситься — еще мгновение. И вот я видел, как он победил.

— Не понимаю, сказал он громко, — чего они свистят. Вся Россия такая. А нас. Он вскочил на стул. — Не застращаете! Сам умею свистать в четыре пальца.

И толпа подалась, еще захлопали, у вешалки столпились недовольные, но Есенин уже успокоился: оставшиеся жадно били в ладоши, засматривая ему в глаза своими, рыбьими и тупыми, пытаясь приблизиться, пожать ему руку. Уходя, я вспомнил его словечко.

Этих он подмял. Ушедшие от деревни: помещики ли, разночинцы, поповичи — они не дошли до города, каким он вырос на Западе.

Но перед Городом — он сам озорной мальчонка, застенчиво опускающий с колен задранные ноги, не страшный возле зашнурованных в железо клеток кассиров, возле клеток, в которых так плавно и размеренно течет обособившийся и сложившийся быт».

Ссоры, вспышки страсти, взаимные обиды, «радости» семейной жизни. Хотелось убежать от всего этого. И то один, то другой пытаются разорвать отношения. По воспоминаниям Л.О. Повицкого:

«Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез.

Айседора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск: «Айседора серьезно больна, и ей необходимо курортное лечение».

Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки — Ирма хозяйничала, собирая Айседору в дорогу.

Айседора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений.

Я объявил «моим дамам», что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выедут в Минеральные Воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью: как и

где разыскать Есенина? Не знаю, было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней, найдя комнаты опустевшими и узнав, что Айседора где-то на Кавказе. Но главное было в другом: ведь Есенина, собственно говоря, не уберегли.

Мы, люди, жившие так близко рядом с Есениным, мы, конечно, понимали, что он большой, выдающийся поэт, но всего величия Есенина, всего его будущего значения для всей русской литературы мы еще не осознавали. Повторяю — слишком близко общались с ним, а «большое видится на расстояньи.». Но интуитивно не только такие рядовые люди, как я, но и такие, как Маяковский, всегда старались как-то оградить его, уберечь. Так же было и в этом случае.

Я попросил дворника, швейцара и завхоза помочь мне и разослал их во все места, где только мог быть Есенин, дав задание во чтобы то ни стало привезти его.

Дамы ничего об этом не знали и продолжали укладываться. Ирма заявила мне, что если Есенин и появится, Айседора не должна его видеть. Айседора молчала, по-видимому, соглашаясь и с этим тяжелым требованием.

Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточки и подперев лицо кулаками.

— Нашел. Тверезый. — И, опустившись на корточки, удовлетворенно добавил:

— Сейчас будут, — после чего последовал длинный выдох и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд.

Я пошел посмотреть, что делает Айседора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин.

Айседора метнулась в комнату Ирмы, и та тотчас же заперла за ней дверь. Но она забыла о двери из «гобеленового коридора».

Я встретил Есенина в вестибюле. Он выглядел взволнованным.

— Айседора уезжает, — сказал я ему.

— Куда? — нервно встрепенулся он.

— Совсем... от вас.

— Куда она хочет ехать?

— В Кисловодск.

— Я хочу к ней.

— Идемте.

Я тихо нажал бронзовую ручку и так же тихо отворил дверь. Айседора сидела на полукруглом диване, спиной к нам.

Она не услыхала, как мы вошли в комнату.

Есенин тихо подошел сзади и, опершись о полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан.

— Я тебя очень люблю, Изадора. очень люблю, — с хрипотцой прошептал он».

Американские репортеры с чрезвычайным любопытством писали о роскошных нарядах Айседоры и внешности Есенина. «Нью-Йорк Уорлд» сообщала своим читателям: «Вскоре появился муж мадам Дункан, юноша, похожий на мальчика. По внешним данным он мог бы стать отличным полузащитником в любой футбольной команде — рост 5 футов 10 дюймов, белокурая, коротко остриженная голова сидит на паре широких плеч. У него узкие бедра и ноги, способные преодолеть 100 ярдов за 10 секунд.

Классическая Айседора несколько оживилась, когда группа поднялась на верхнюю палубу. Мистер Есенин заулыбался, как студент, когда его попросили позировать в обнимку с женой. Его смущение очень развеселило мадам Дункан. Она поцеловала его перед фотокамерой. Поэт улыбался и курил, недоверчиво вдыхая дымок американской сигареты. Они предполагают оставаться здесь до февраля, а потом уедут обратно в Россию, где Айседора организовала школу».

«Нью-Йорк Таймс» подробно рассказывала о том, как на прогулочной палубе «Парижа» Айседора «полулежала на кушетке, красиво обвивая левой рукой шею мужа. Притянув его белокурую напудренную голову к своему плечу, мадам Дункан сказала, что он молодой поэт-имажинист. Его называют вторым великим поэтом после Пушкина».

«Несмотря на то что Айседора была разгневана на чиновников, — писала газета «Нью-Йорк Геральд», — ее муж, молодой яркий блондин, русский поэт, кажется, воспринял этот случай как обыкновенный и несерьезный. Ее муж (стройный, атлетического сложения, широкоплечий, с тонкой талией) объясняется с Айседорой в основном через ее секретаря. Он выглядит моложе своих 27 лет и по одежде не отличается от обычного американского коммерсанта — простой серый костюм из твида. Не владея английским, он, стоя рядом с женой, кивает с одобрительной улыбкой, подтверждая все, что она говорит репортерам. Оба производят впечатление искренне влюбленных и не стараются скрывать свои чувства от посторонних. Айседора показала томик стихов своего мужа в свободном переводе на французский.

Виды Манхэттена ошеломили молодого русского поэта, и он пообещал непременно написать об этом. Ему нравится воспевать бродяг и скитальцев, хотя сам не похож ни на тех, ни на других. О

нем говорят, что он грустный, но кажется, что это самый веселый большевик, который когда-либо пересекал Атлантику.»

Мери Дести пишет: «Во время поездки Айседоры по Америке начал проявляться безрассудный нрав Есенина. Он решил, что Америка встретила его не так, как подобает, и злился за это на Айседору, по всякому случаю оскорбляя ее и ее страну. В газетах было много скандальных сообщений, более или менее преувеличенных, но в них было достаточно правды, чтобы сделать жизнь совершенно невыносимой».

12 ноября 1922 года Есенин возмущенно написал из Нью-Йорка ближайшему другу Анатолию Мариенгофу: «Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься». Видно, что Есенин затосковал по дому. Он разочаровался в американцах: «Никак не желаю говорить на этом проклятом английском языке», — добавляет он. На английском Есенин не желал говорить из принципа, говорил, что «боится испортить и забыть русский язык».

Имажинист Александр Кусиков чуть позже получил еще более отчаянное послание: «Я расскажу тебе об Америке позже. Это самая ужасная дрянь. Я полон смертной, невыносимой тоски. Я чувствую себя чужим и ненужным здесь, но когда я вспоминаю Россию, вспоминаю, что ждет меня там, я не хочу возвращаться.» Кусикову же были написаны ставшие уже знаменитыми строки: «Тоска смертельная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию. Не могу! Ей-богу, не могу! Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу. Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое и веселое, как друг». В письме издательскому работнику А.М. Сахарову Сергей Александрович также прямолинеен, выражая свой ужас перед заграницей: «Родные мои! Хорошие! Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать, самое высшее — музик-холл.»

Критик и литературовед М. Менедельсон в своих воспоминаниях рассуждает о причинах отторжения Есениным Америки: «Впрочем, гораздо чаще мне случалось видеть в Америке Есенина, глубоко ушедшего в свои тайные и какие-то очень горькие думы. И желание понять их суть, как и узнать причины столь активного стремления поэта, которое я заметил во время первой встречи с ним, — подчеркнуть, что у него нет никакого интереса к Америке, не давало мне покоя. Разумеется, мне трудно было понять тогда, что отношение Есенина к Америке

отчасти объяснялось двусмысленностью его положения в этой стране. Большинство американцев, если они и узнали из газет о приезде русского поэта, думали о нем лишь как о муже их соотечественницы. А сколько тягостного и даже оскорбительного было для Есенина в его тщетных попытках добиться издания его стихов на английском языке, в провале надежд на то, что наконец-то он предстанет перед американцами человеком творческим, а не просто молодым спутником Айседоры Дункан, неизвестно на что расходующим свои дни».

Ближайший друг Сергея Есенина Лев Повицкий вспоминает, как посетил поэта в сложнейший момент его жизни, позже ставшим переломным в отношениях с Дункан: «Я вернулся в Москву к моменту приезда Есенина и Дункан из-за границы и отправился к нему на свидание в отведенный Дункан особняк на Пречистенке. Я его застал среди вороха дорожных принадлежностей, чемоданов, шелкового белья и одежды.

Мы обнялись, и он крикнул Дункан. Она вышла из соседней комнаты в каком-то широчайшем пестром пеньюаре. Он меня представил ей:

— Это мой друг Повицкий. Его брат делает Bier! [11] Он директор самого большого в России пивоваренного завода.

Я с трудом удержался от смеха: вот так рекомендация. Позднее я понял смысл этих слов. Для Дункан человек, причастный к производству алкоголя, представлял, по мнению Есенина, огромный интерес. И он, по-видимому, не ошибался. Она весело потрясла мне руку и сказала:

— Bier очень хорошо! Очень хорошо!..

Вид этой высокой, полной, перезрелой, с красным грубоватым лицом женщины, вид бывшего барского особняка — все вызывало у меня глухое раздражение. Как это все непохоже на обычную есенинскую простоту и скромность.

Когда она ушла, я зло проговорил:

— Недурно ты устроился, Сергей Александрович.

Он изменился в лице. Глаза потемнели, брови сдвинулись, и он глухо произнес:

— Завтра уезжаю отсюда.

— Куда уезжаешь? — не понял я.

— К себе на Богословский.

— А Дункан?

— Она мне больше не нужна. Теперь меня в Европе и Америке знают лучше, чем ее.

И действительно, через несколько дней он оставил Дункан и переехал к себе, в свою более чем скромную комнату в доме № 3 по Богословскому переулку.

Я его не расспрашивал о заграничных его впечатлениях, но однажды он сам заговорил:

«— Мы сидели в берлинском ресторане. Прислуживали мужчины. Почти все они были русские, с явно офицерской выправкой. Один из них подошел к нам.

— Вы Есенин? — обратился он ко мне. — Мне сказали, что это вы. Как я рад вас видеть! Как мне хочется по душе поговорить с вами! Вы ведь бежали из этого большевистского пекла, не выдержали? А мы, русские дворяне, бывшие русские офицеры, служим здесь лакеями. Вот наша жизнь, вот до чего довели нас большевики.

Я нежно поглядел на него и ответил:

— Ах, какая грусть! Плакать надо. Но знаете что, дворянин! Подайте мне, мужику, ростбиф по-английски, да смотрите, чтоб кровь сочилась!

Офицер позеленел от злости, отошел и угрожающе посмотрел в нашу сторону.

Я видел, как он шептался с двумя рослыми официантами. Я понял, что он собирается взять меня в работу. Я взял Дункан под руку и медленно прошел мимо них к выходу. Он не успел или не посмел меня тронуть».

«— Да, я скандалил, — говорил он мне однажды, — мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения — это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава и честь! О, меня они теперь лучше помнят, чем Дункан».

Оставившая после себя обширные воспоминания Галина Бениславская, близкая подруга Есенина на протяжении долгих лет, женщина, любившая знаменитого русского поэта, так описывает события, разворачивающие после отъезда Дункан на Кавказ и в Крым:

«После заграницы Дункан вскоре уехала на юг (на Кавказ и в Крым). Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда. Факт то, что почти ежедневно он получал от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму: «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду.

Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин».

Дал прочесть мне. Я заметила — если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п. Переделал: «Я люблю другую. Женат и счастлив. Есенин». И послал.

Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок (а Сергей Александрович жил уже на Брюсовском), не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграмм из Крыма: «Писем, телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться. Бениславская».

Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро.

Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание, и только. Но к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Поэтому телеграмма, по рассказам, вызвала целую бурю и уничтожающий ответ: «Получила телеграмму, должно быть, твоей прислуги Бениславской. Пишет, чтобы писем и телеграмм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю. Изадора».

Сергей Александрович сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект и вывела окончательно из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, что это последняя телеграмма от нее.

Но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвется к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня.

— Вы ее не знаете, она на все пойдет, — повторял он».

Бениславская страстно желала быть с Есениным, ее воспоминания написаны любящей рукой и поэтому в достаточной степени предвзяты.

Судя по воспоминаниям друга поэта Сергея Коненкова, широкоизвестное стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу.» было навеяно расставанием с Айседорой Дункан и общим разочарованием в жизни.

С. Коненков: «В голодном двадцать первом году в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Приехала, чтобы основать в Советской России школу пластического танца. На вечеринке у художника Якулова Дункан встретилась с Есениным. Вскоре они поженились.

Под школу-студию отвели дом балерины Балашовой на Пречистенке. Дункан поселилась в одной из раззолоченных

комнат этого богатого особняка. Есенин проводил меня туда.

Меня глубоко интересовало искусство Айседоры Дункан, и я часто приезжал в студию на Пречистенку во время занятий. Несколько раз я принимался за работу. «Танцующая Айседора Дункан» — это целая сюита скульптурных портретов прославленной балерины.

В первых числах мая 1922 года Дункан увезла Есенина в Европу, а затем и в Америку. Вернулся он в августе 1923-го.

Появившись у нас на Пресне, сразу же спросил:

— Ну, каков я?

Дядя Григорий без промедления влепил:

— Сергей Александрович, я тебе скажу откровенно — забурел.

И в самом деле, за эти полтора года Есенин раздобрел, стал краситься и пудриться, и одежда на нем была буржуйская.

Но очень скоро заграничный лоск с него сошел, и он стал прежним Сережей Есениным — загадочным другом, российским поэтом.

Стояли последние жаркие дни недолгого московского лета. Большой шумной компанией отправились купаться. На Москве-реке, в Филях, был у меня заветный утес, с которого любо-дорого прыгнуть в воду. Повеселились вволю. По дороге к дому Есенин, вдруг погрустневший, стал читать неизвестные мне стихи:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком.

Тяжелая тоска послышалась мне в его голосе. Я перебил его:

— Что ты? Не рано ли?

А он засмеялся.

— Ничего, — говорит, — не рано.

И опять Есенин пропал из моего поля зрения. На этот раз — навсегда».

Благодаря воспоминаниям писателя Н.Н. Никитина известна картина последней встречи Дункан и Есенина: «На берега Невы приехал А. Я. Таиров с Камерным театром. Он позвонил мне из гостиницы «Англетер» и сказал, что ждет меня к обеду, на котором будет и Айседора Дункан. Мне очень захотелось пойти. Я никогда в жизни ее не видел. Но у меня сидел Есенин, и я сказал Таирову об этом.

— Хочешь прийти с ним? Ради бога, не надо. Не зови его,

будет скандал. Изадора и он совсем порвали друг с другом.

Между прочим, все близкие Дункан, и Есенин тоже, всегда называли ее Изадорой. Это было ее настоящее имя.

Есенин, сидевший рядом с телефоном, очевидно, слышал весь мой разговор с Таировым и стал меня упрашивать взять его с собой. Я протестовал. Но в конце концов все вышло так, как он хотел.

В номере Таирова Есенин не подошел к Айседоре Дункан. Этому способствовало еще то, что кроме Таирова, А. Е. Коонен и Дункан за обеденным столом сидели некоторые актеры и актрисы Камерного театра. Среди них и затерялся Есенин.

Я смотрел на Дункан. Передо мной сидела пожилая женщина, как я понял впоследствии — образ осени. На Изадоре было темное, как будто вишневого цвета, тяжелое бархатное платье. Легкий длинный шарф окутывал ее шею. Никаких драгоценностей. И в то же время мне она представлялась похожей на королеву Гертруду из «Гамлета». Есенин рядом с ней выглядел мальчиком. Но вот что случилось. Не дождавшись конца обеда, Есенин таинственно и внезапно исчез. Словно привидение. Даже я вначале не заметил его отсутствия. Неужели он приезжал лишь затем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Изадорой?»

Это была их последняя встреча в жизни.

Узнав о гибели любимого, Айседора телеграфировала в парижские газеты: «Известие о трагической смерти Есенина причинило мне глубочайшую боль. У него была молодость, красота, гений.

Он уничтожил своё юное прекрасное тело, но дух его вечно будет жить в душе русского народа и в душе всех, кто любит поэтов. Между нами никогда не было никаких ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».

Невыносимая боль утраты, усталость от борьбы с невзгодами, всё обрушивающимися на неё, повлекли за собой признание Дункан, во многом оказавшееся пророческим: «Я была потрясена смертью Сергея, но я оплакивала его и рыдала о нем столько долгих часов, что, кажется, истощила свои человеческие способности к страданию. Я сама прохожу через период столь продолжительных бедствий, что меня часто соблазняет мысль последовать его примеру».

Айседора Дункан погибла в Ницце 14 сентября 1927 г. Вот как описал её трагическую смерть Матвей Ройзман: «Осенью 1927 года, обмотав шею длинным пурпурным шарфом с вытканными на нем солнечной птицей и лазоревыми цветами, она села в свой

небольшой гоночный автомобиль и поехала. Закинутый за спину шарф сперва, трепеща, летел за ней, потом, при торможении, порхнул вниз, попал в колесо, намотался на него и с силой выдернул за шею Айседору Дункан из мчавшейся машины на мостовую, потащив ее, задушенную, за собой.»

Трагично, эффектно, мгновенно, как и подобает актрисе, ушла из жизни почти следом за своим Дарлингом Айседора Дункан.

Так закончилась сказочная история любви Поэта и Танцовщицы, за целый век не потерявшая своей притягательной силы.

Литература

Куняев С.Ю. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. — М.: Молодая гвардия, 1995.

Голикова Н. Ю. Сергей и Айседора / Нонна Голикова. — М.: Вагриус, 2005.

Есенин глазами женщин: Антология. — СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2006.

Воспоминания о Сергее Есенине. — М.: Московский рабочий, 1965.

РойзманМ.Д. Все, что помню о Есенине. — М.: Советская Россия, 1973.

МариенгофА.Б. Роман без вранья. — СПб.: Азбука-классика, 2010.

С.А. Есенин в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1986.

Шнейдер И.И. Встречи с Есениным. Воспоминания. — М.: Советская Россия, 1974.

Пашинина В.С. Неизвестный Есенин: Лит. факта и док. / Пашинина Валентина Семеновна / Сыктывкар: Коми респ. тип., 2000 — 329 с. ил.; 20 см — ISBN 5900280-74-8

Стырская Е. Поэт и танцовщица. Воспоминания о Сергее Есенине и Айседоре Дункан, «Знамя», 1999, № 12.

Маквей Г. Сергей Есенин и Айседора Дункан, Русский альманах, Париж, 1981.

notes

Примечания

1

Девятая симфония Millionen Umschlingen.

2

Свадьба. (фр.)

3

«Исчез муж». (фр.)

4

«Не может быть, мадам!» (фр.)

5

Покиньте немедленно этот публичный дом. и следуйте за мной. (фр.)

6

Кто это? (фр.)

7

Слушайте. (фр.)

8

Только. (фр.)

9

Это прекрасно. (фр.)

10

Скажи мне, сука, скажи мне, стерва. (смесь фр. с русск.)

11

Пиво (нем.).